ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[6] 2010

РОМАН **АННЫ КАВАН** “ЛЕД”

МИЛОРАД ПАВИЧ В РУБРИКЕ “IN MEMORIAM”

Основан в 1955 году

[6]
2010

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

3 Анна Каван *Лед.* Роман. Перевод с английского и вступление Д. Симановского

119 У. С. Мервин *"ни единого лика в небе".* Стихи. Перевод с английского и вступление Ольги Волгиной

129 Ольга Токарчук *Бегуны.* Фрагменты книги. Перевод с польского Ирины Адельгейм

Из будущей книги

186 Жоашен Дю Белле *Сонеты из книги "Сожаления".* Переводы с французского. Вступление Марины Бородицкой

Писатель и общество

201 Андрей Шарый *Мы как герои, герои как мы. Опыт возвращения в несоветское детство*

In memoriam

229 Игорь Кузнецов *Человек по имени Милорад*

235 Лариса Савельева *Встречи с Милорадом Павичем*

239 Милорад Павич *Избранник.* Рассказ. Послесловие Владимира Пиштало. Перевод с сербского Василия Соколова

Carte blanche

247 Леонид Гиршович *Новое сообщение Броуди, сделанное им во французском Лионе на литературном симпозиуме, посвященном интриге*

Ничего смешного

253 *Что вы за писатель?* Экспресс-тест. Перевод с немецкого и вступление Н. Васильевой

Среди книг

258 Алексей Бартошевич *Великое дело – контекст*

БиблиофИЛ

263 *У книжной витрины* с Михаилом Визелем

266 *Новые книги Нового Света* с Мариной Ефимовой

280 *По материалам зарубежной прессы.* Подготовили Евгения Лакеева и Ника Бажанова

Авторы номера

© "Иностранная литература", 2010

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года — "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

О. Д. Дробот
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция:

Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина"

Анна Каван

Лед

Роман

Перевод с английского и вступление Д. Симановского

"Лед" принято относить к шедеврам жанра слипстрим (slipstream). Термин этот через двадцать лет после первой публикации романа в 1967 году ввел в обращение американский писатель-киберпанк Брюс Серлинг, определив его как "...произведение, вызывающее весьма странные ощущения; известные, впрочем, любому человеку, живущему в XX в. и обладающему определенным уровнем восприимчивости".

Роман Анны Каван действительно изобилует странностями. У героев, как у участников пантомимы, нет имен. Протагонист подвержен галлюцинациям садистского толка, которые без предупреждения врываются в текст и так же неожиданно рассеиваются. Нет ни географических названий, ни времен года, что исключает любые попытки точно локализовать действие во времени или пространстве. Подобно оракулу, предвещающему конец света, Каван, как правило, транслирует лишь суть событий, пренебрегая деталями. Надо отметить, что в своем стремлении не засорять эфир частными подробностями Каван была последовательна. Незадолго до смерти она уничтожила все свои письма и дневники, существенно затруднив работу исследователей и в то же время предоставив им полную свободу интерпретаций. Но как бы тщательно Анна Каван ни скрывала обстоятельства частной жизни, достаточно краткой биографической справ-

© Anna Kavan 1967
© Д. Симановский. Перевод, 2010

ки, чтобы понять, что в своем творчестве, вершиной которого является роман "Лед", писательница отразилась как в зеркале.

Анна Каван, в девичестве Элен Эмили Вудс, родилась в Каннах в 1901 году. Еще в младенчестве родители отослали ее в Англию с французской кормилицей, от которой девочка с молоком впитала отвращение к холоду — так, во всяком случае, объясняла свою неспособность переносить низкую температуру сама Каван. Мать Элен была женщиной состоятельной, эффектной и болезненно властной; отец умер, когда ей было тринадцать, предположительно покончив с собой. Воспользовавшись первой же возможностью вырваться из-под материнской опеки, Элен вышла замуж за инженера Дональда Фергюсона и отправилась с ним в Бирму. В 1929 году за подписью Элен Фергюсон в Лондоне вышел ее первый роман "Заколдованный круг". Это вполне реалистическая книга про двух сестер, безуспешно пытающихся вырваться из затхлой английской провинции. Через год был опубликован ее второй роман "Оставь меня в покое", посвященный противостоянию юной сироты, насильно выданной замуж, и ее мужа, требующего, чтобы она отказалась от стипендии на обучение в Оксфорде. Роман стал реакцией Каван на первый год совместной жизни и обозначил еще один ключевой мотив в ее творчестве. Мужчина, желающий безраздельно обладать женщиной исключительно ради самого факта обладания, — персонаж, который распознается и в главном герое "Льда", и в его альтер эго. В этот вполне реалистический роман пробралась одна существенная странность, проявиться которой суждено было позднее, — главную героиню "Оставь меня в покое" зовут Анна Каван.

Семь лет спустя, на волне эмоционального срыва, вызванного разводом со вторым мужем, Хелен пыталась покончить с собой и попала в швейцарскую психиатрическую клинику, опыт пребывания в которой она изобразила в "Доме умалишенных" (1940) — первой книге, подписанной новым именем. Выйдя из лечебницы, она не только кардинально изменила литературный стиль, но, решив полностью отгородиться от прошлого, присвоила себе имя (не псевдоним — все документы были переоформлены) своего же персонажа. Пожалуй, это первый и до сих пор единственный случай в мировой литературе.

Неоднократные попытки суицида, как и периодическое лечение в психиатрических клиниках, как правило, связываются с ее зависимостью от героина. Видимо, Каван пристрастилась к наркотикам еще в середине 20-х, когда вращалась в среде профессиональных автогонщиков, и употребляла их до конца дней. И хотя напрямую тема героина раскрыта только в книге "Джулия и базука" (базукой Каван называла шприц), вышедшей уже после ее смерти, манера автора перемещать героев из одной плоскости повествования в другую, не пользуясь ни курсивом, ни отбивкой, ни красной строкой, напоминает наркотические видения, которыми можно управлять произвольно, игнорируя внешние раздражители. Существует соблазн и "Лед" посчитать метафорой белого порошка, раствор которого Каван вкалывала себе ежедневно в течение десятилетий. Однако это было бы по-

пыткой запихнуть большой роман на полку с аддиктивной субкультурой, к которой Анна Каван имеет лишь опосредованное отношение.

Несмотря на зависимость от героина и психическую неуравновешенность, Каван была человеком чрезвычайно деятельным. Она издала двенадцать книг, занималась живописью, фотографией, выращивала бульдогов, была успешным дизайнером интерьеров. Каван всю жизнь путешествовала и подолгу жила в США, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Швейцарии, Бирме. Отсюда, надо полагать, и мотив бесприютного, не вполне осмысленного скитания, так ярко обозначенный в романе "Лед". А удивительная худоба и редкий цвет волос героини — несколько гипертрофированные черты автопортрета той, что хотела стать "одним из самых оберегаемых секретов в мире". Через год после публикации своей главной книги Анна Каван скончалась от сердечной недостаточности (или передозировки) в возрасте 67 лет.

При жизни ее сравнивали с Вирджинией Вулф и называли сестрой Кафки. Книги Каван были переведены на испанский, итальянский, французский, голландский, датский и японский языки. Однако широкая известность и признание пришли лишь в конце прошлого века, когда несколько предвосхитивший время корпус ее произведений оброс достаточным объемом литературной массы, чтобы претендовать на отдельный жанр.

Возвращаясь к понятию слипстрим, интересно вспомнить, что в литературу оно пришло из авиации, где обозначает воздушный вихрь, создающийся за винтом в процессе полета. Таким образом, наиболее точным переводом этого апофеоза странности в литературе будет "завихрение". Это литература фантазийного волюнтаризма, где причинно-следственные связи держатся на волоске, а обостренные до предела чувства несравнимо важнее логики. Вполне реалистичное изображение вдруг подергивается мелкой рябью, и из глубины подсознания всплывают на поверхность совершенно неожиданные образы и картины. В одном из рассказов Каван так описала источник своего вдохновения: "...это плазма чудно́го сна, текущая вдоль жизненного пути, но по совершенно независимой от него траектории".

В отличие от фантастики или киберпанка, слипстрим не подразумевает псевдонаучных объяснений. Влияние науки, технический прогресс проявляются в подспудном напряжении, вызванном тотальной зависимостью от технологий, которыми каждый из нас пользуется, но мало кто представляет, как они работают. Когда функции осознания добровольно переданы, а кому — неизвестно, когда то, что сейчас под контролем, может в любой момент обернуться тотальным хаосом, ситуацией, где старые правила не работают и нужно придумывать новые.

Не зацементированные критерии жанра позволяют отнести к слипстриму многие произведения литературы, кино и прочего. К нему относят "Быть Джоном Малковичем" сценариста Чарли Кауфмана, американский телесериал "Остаться в живых" и английский — "Жизнь на Марсе", фильм "Слипстрим" Энтони Хопкинса. Первым русским слипстримом можно на-

звать "Нос" Н. В. Гоголя. Все эти произведения объединяет сюжетообразующее допущение, внятно разъяснить которое не в состоянии и сам автор и корни которого — в подсознании.

В конце 1980-х была предпринята попытка создать новую рыночную нишу и, обозначив ее как слипстрим, поместить туда "странные" книги, не вписывающиеся в устоявшиеся рамки фантастики и мейнстримовой литературы. Превратить жанр в маркетинговую категорию, чтобы в книжных магазинах между полками с фэнтези и любовными романами был стенд со слипстримом, не получилось, однако термин прижился, по крайней мере в англоязычной критической литературе, и вместе с одним из главных романов этого направления заживет, надеюсь, и в русском языке.

Один

Я потерялся, смеркалось, я был за рулем уже много часов, и бензин был на исходе. Перспектива обсохнуть среди безлюдных холмов ночью пугала, поэтому, заметив указатель и съезд к заправке, я вздохнул с облегчением. Воздух снаружи, когда я опустил окно, чтобы поговорить с заправщиком, оказался таким холодным, что пришлось поднять воротник. Заливая бак, он заговорил о погоде. "Не припомню, чтоб в это время стоял такой холод. А синоптики говорят, еще и не так подморозит". Большую часть жизни я провел за рубежом: служил в армии или исследовал труднодоступные территории; я только что вернулся из тропиков и не слишком понимал, насколько сейчас должно быть холодно, так что его зловещий тон изумил меня. Мне не терпелось двинуться дальше, и я спросил у него дорогу до нужной мне деревни. "В темноте вам ее ни за что не найти. Дорога туда разбита и обледенела. А гололед на горных дорогах очень опасен". Похоже, он намекал, что при сложившихся обстоятельствах в такой путь мог пуститься только безумец, что меня весьма раздосадовало. Оборвав его путаные объяснения, я расплатился и уехал, не ответив на его предостерегающий окрик: "Поосторожней там на льду!"

Скоро совсем стемнело, я заплутал и заплутал безнадежно. Я понимал, что надо было послушаться заправщика, и в то же время сожалел, что вообще заговорил с ним. Его слова почему-то меня растревожили, превратившись в дурное предзнаменование для всей экспедиции, и я начал сожалеть, что вообще в это ввязался.

Сомнения относительно данного предприятия были у меня с самого начала. Я приехал только вчера и должен был заняться делами в городе, а не отправляться к друзьям в деревню. Я сам не понимал своего навязчивого желания увидеть девушку, которая владела моими мыслями все время, пока я отсутствовал, хоть вернулся я и не ради нее. Я приехал, чтобы выяснить, что скрывается за слухами о надвигающейся на эту часть света катастрофе. Но, как только я здесь оказался, мысль о девушке стала преследовать меня неотступно, я должен был увидеть ее немедленно, все остальное не имело значения. Естественно, я осознавал, что желание это сугубо иррационально. Как и моя теперешняя тревога - едва ли на родине со мной может что-то случиться, и, тем не менее, чем дальше я ехал, тем сильнее обуревало меня беспокойство.

Реальность всегда была для меня чем-то вроде неизвестной величины. Иногда это раздражало. Например, сейчас. Я уже навещал эту девушку и ее мужа и сохранил живые воспоминания о мирных и благодатных краях, где находился их дом. Но по мере того как я продвигался в темноте по совсем необжитой дороге, воспоминания эти таяли и, утрачивая реальность, становились все менее убедительными и различимыми. На фоне темного неба неухоженные живые изгороди казались черными, и, когда фары высвечивали придорожные строения, они тоже казались черными, необитаемыми и в той или иной степени разрушенными. Все выглядело так, будто в мое отсутствие весь этот район подвергся опустошению.

Я начал сомневаться, можно ли вообще найти ее в этой пустыне. С тех пор как неизвестное бедствие опустошило деревни и обрушило фермы, сколько-нибудь упорядоченная жизнь здесь не представлялась возможной. Насколько я мог видеть, никаких попыток возобновить нормальное существование не предпринималось. Ни восстановительных, ни земельных работ, ни скота на полях видно не было. Дороге требовался срочный ремонт, канавы задыхались от сорняков, проросших под запущенными живыми изгородями; все вокруг выглядело покинутым.

В лобовое стекло ударила пригоршня белых камушков, заставив меня подпрыгнуть. Я так давно не проводил зиму на севере, что не сразу сообразил, что это. Град скоро обернулся снегом, видимость ухудшилась, вести стало труднее. Я страшно замерз, и мне пришло в голову, что все возрастающая во мне тревога связана с этим. Заправщик сказал, что не припомнит, чтобы в это время бывали такие холода,

я же думал, что для снега и льда уж тем более еще не время. Внезапно тревога стала такой острой, что мне захотелось развернуться и поехать назад в город; но дорога была слишком узкой, и я был вынужден следовать по ее бесконечным изгибам, подъемам и спускам сквозь безжизненную мглу. Дорога стала еще хуже — размякшей и скользкой одновременно. От непривычного холода разболелась голова — пришлось высунуться, чтобы, напрягая глаза, с трудом объезжать обледеневшие лужи, на которых машину заносило. Периодически фары выхватывали из темноты силуэты развалин, каждый раз заставая меня врасплох, но все исчезало прежде, чем я мог убедиться, что действительно что-то видел.

Живая изгородь зацвела неземным белым цветом. Я мельком заглянул в брешь между кустами. На мгновение луч выхватил из темноты обнаженное девичье тело, по-детски худое, цвета слоновой кости на фоне мертвенно-белого снега, с волосами, блестевшими, как стеклянные нити. В мою сторону она даже не взглянула. Она, не отрываясь, смотрела на медленно надвигающиеся на нее, окружающие ее стены сверкающего, гладкого, плотного льда. Ледяные пики высоко над ее головой отсвечивали ослепительными вспышками; внизу лед уже подобрался к ней, обездвижил, как бетоном залив ступни и щиколотки. Я наблюдал, как лед поднимается все выше, покрывая колени и бедра, видел ее открытый рот — черную дыру на белом лице, слышал тоненький душераздирающий крик. Мне не было жаль ее. Напротив, глядя, как она страдает, я испытывал неописуемое наслаждение. Я упрекал себя в таком бессердечии, но ничего не мог с собой поделать. Оно сформировалось под влиянием различных обстоятельств, не являющихся, впрочем, смягчающими.

Когда-то я сходил по ней с ума, хотел жениться. По иронии судьбы тогда моей целью было защитить ее от грубости и бессердечия этого мира, которые, как магнитом, притягивали ее робость и хрупкость. Она была сверхчувствительна, чрезвычайно напряжена, боялась людей и жизни; ее личность была сломлена садисткой матерью, державшей ее в состоянии постоянного страха и покорности. Мне пришлось завоевывать ее доверие, я всегда был мягок, добр и осторожен, сдерживал проявления своих чувств. Она была такая тоненькая, что, когда мы танцевали, я боялся причинить ей боль слишком крепкими объятиями. Ее косточки казались хрупкими, а выступающие запястья очаровывали меня больше всего. У нее были потрясающие волосы — серебряно-бе-

лые, как у альбиноса, блестящие, как лунный свет, как подсвеченное луной венецианское стекло. Я относился к ней так, будто она сделана из стекла; иногда мне с трудом верилось в ее реальность. Постепенно она перестала меня бояться, по-детски привязалась ко мне, но осталась застенчивой и ускользающей. Казалось, я уже доказал, что мне можно доверять, и готов был ждать. Она уже почти приняла меня, однако ее незрелость мешала мне оценить искренность ее чувств. Возможно, ее привязанность не была притворством, но она, тем не менее, совершенно неожиданно бросила меня и ушла к мужчине, за которым и была теперь замужем.

Все это — в прошлом. Однако последствия той травмы до сих пор проявлялись: я страдал бессонницей и мигренями. От прописанных лекарств мне снились кошмары, в которых она всегда фигурировала в роли беспомощной жертвы, изломанное хрупкое тело в синяках. Видения снами не ограничивались, и, что прискорбно, я стал получать от них удовольствие.

Видимость улучшилась: ночь не стала светлее, но снегопад прекратился. На вершине крутого холма виднелись развалины форта. От него почти ничего не осталось, кроме башни, пустые окна которой зияли разверстыми черными ртами. Место это было мне смутно знакомо, развалины чего-то, что я с трудом припоминал. Я вроде бы узнал его, как будто уже видел раньше, но уверенности не было, поскольку я был здесь летом, когда все выглядело иначе.

Я приехал по приглашению ее мужа, хотя и сомневался в его искренности. Он был художник — но не серьезный, так — дилетант; из тех, у кого всегда полно денег, хотя они ничего вроде бы и не делают. Возможно, у него было состояние: но я подозревал, что он не тот, за кого себя выдает. Теплота приема поразила меня, он был дружелюбнее некуда. И все же я был настороже.

Девушка почти не разговаривала, стояла возле него, украдкой поглядывая на меня большими глазами сквозь длинные ресницы. Ее присутствие сильно на меня подействовало, хотя я с трудом понимал, как именно. Мне было сложно разговаривать с обоими сразу. Дом стоял посреди букового леса, и вокруг было так много высоких деревьев, что казалось, будто мы находимся на уровне крон: в окна ломились волны густой зеленой листвы. Я подумал о практически исчезнувшей популяции больших поющих лемуров, называемых индри, обитавших на деревьях далекого тропического острова. Мягкий, нежный нрав и странные мелодичные голоса этих почти легендарных существ произвели на меня глубокое впечат-

ление, и я, забыв обо всем, стал с увлечением о них рассказывать. Ему, судя по всему, было интересно. Она, ничего не сказав, оставила нас, чтобы позаботиться о ланче. Стоило ей выйти, как мы разговорились.

Была середина лета, стояла жара, листва за окнами прохладно шелестела. Мужчина был все так же доброжелателен. По-видимому, я был несправедлив к нему, и теперь стеснялся своей подозрительности. Он сказал, что рад моему приезду, и завел разговор о девушке. "Она такая застенчивая и нервная, ей полезно видеться с людьми из внешнего мира. Здесь она слишком часто бывает одна". Я гадал, что ему известно обо мне, что она ему рассказала. Придерживаться оборонительной тактики было глупо, но его любезность настораживала.

Я пробыл у них несколько дней. Она держалась от меня подальше. Мы ни разу не оставались наедине. Она носила короткие, легкие, очень простые платья, обнажавшие плечи и руки, и детские сандалии на босу ногу. Волосы ослепительно блестели на солнце. Я понимал, мне уже не забыть ее. Она сильно изменилась, стала значительно уверенней в себе. Чаще улыбалась, и однажды я слышал, как она пела в саду. Когда муж звал ее, она прибегала немедленно. Я впервые видел ее счастливой. Только вот в ее разговоре со мной по-прежнему чувствовалась какая-то напряженность. Ближе к концу моего визита он спросил, удалось ли нам поговорить наедине. Я ответил, что нет. Он сказал: "Непременно поговорите перед отъездом. Прошлое беспокоит ее; она боится, что сделала вас несчастным". Выходит, он знал. Видимо, она рассказала ему обо всем, что между нами было. Впрочем, рассказывать особо было не о чем. Но все равно я не желал обсуждать это с ним, и потому ответил уклончиво. Он тактично сменил тему, но позднее снова к ней вернулся. "Я надеялся, что вы успокоите ее. Я дам вам возможность поговорить наедине". Я не понимал, как он собирается это сделать, ведь вечером следующего дня я должен уехать.

Утро выдалось жарче прежних. Парило, в воздухе чувствовалась гроза. Уже во время завтрака жара стояла нестерпимая. К моему удивлению, они предложили прогуляться. Не мог же я уехать, не повидав одну из местных достопримечательностей — про холм, с которого открывается потрясающий вид, я слышал. Когда я сослался на предстоящий отъезд, мне сказали, что добираться туда совсем не долго, и по возвращении у меня будет еще предостаточно времени. Я понял, что настроены они решительно, и согласился.

Мы взяли корзину с продуктами, чтобы устроить пикник возле руин старинного форта, построенного в те далекие времена, когда люди боялись вторжения. Дорога кончалась в лесу. Мы вышли из машины и пошли пешком. Жара все нарастала, я не стремился поспевать за ними, отстал, а когда увидел, что лес кончается, присел в тени. Он вернулся за мной. "Пойдемте! Вот увидите, место того стоит". Заразившись его энтузиазмом, я поспешил за ним по крутому солнечному склону на вершину, где должным образом насладился видом. Но этого ему показалось мало, и он потребовал, чтобы я осмотрел окрестности с вершины развалин. Вел он себя странно, был возбужден до крайности. В пыльной темноте я последовал за ним по лестнице, вырубленной в стене башни, его массивная фигура перекрывала мне свет, я ничего не видел и рисковал сломать шею, оступившись. Наверху перил не было, мы стояли среди груды камней, между нами и краем не было преград; размахивая руками, он указывал на расстилавшийся внизу пейзаж. "Эта башня веками служила ориентиром. Отсюда видна вся гряда холмов. Вон там море. Это — шпиль собора. Голубая линия за ним — устье реки".

Меня больше занимало то, что было ближе: груды камней, витки проводов, бетонные блоки и прочие материалы, которыми можно было бы воспользоваться, случись катастрофа. В надежде обнаружить что-нибудь подходящее, я пододвинулся ближе к краю и глянул вниз в разверзшуюся у моих ног бездну.

"Осторожней! — предостерег он, засмеявшись. — Здесь легко поскользнуться и потерять равновесие. Это место всегда представлялось мне идеальным для убийства. — Его смех прозвучал так странно, что я обернулся. Он подошел ко мне со словами: — Представьте, что я слегка подтолкну вас... вот так... — Я успел вовремя сделать шаг в сторону, но, оступившись, споткнулся и удержался только благодаря небольшому выступу в стене. Его смеющееся лицо повисло надо мной на фоне жаркого неба. — Падение было бы чистой случайностью, не так ли? Никаких свидетелей. Поведать о случившемся смог бы только я. Посмотрите, как непрочно вы держитесь на ногах. Похоже, высота вас пугает". Когда мы снова оказались внизу, я весь взмок и покрылся в пылью.

Девушка разложила еду на траве в тени орехового дерева. Речь ее, как обычно, была крайне скупа. Я не жалел о том, что мой визит подходит к концу; в воздухе чувствовалось слишком высокое напряжение, ее близость слишком беспокоила меня. Пока мы ели, я все посматривал на нее, на серебряное пламя волос, на бледную, почти прозрачную кожу, на

хрупкие выдающиеся косточки запястий. У мужа возбуждение сменилось угрюмостью. Он взял этюдник и удалился. Я не мог понять смены его настроений. Вдалеке появились тяжелые тучи; в воздухе почувствовалась влажность, приближалась гроза. Моя куртка лежала рядом в траве; я сделал из нее что-то вроде подушки, прислонил к стволу и устроился поудобнее. Девушка растянулась на лужайке возле меня, руками защищая лицо от солнца. Она лежала не двигаясь, не говоря ни слова, и под ее поднятыми руками виднелись легкие тени едва шероховатых бритых подмышек, в которых, словно иней, поблескивали капельки пота. Сквозь тонкое платье видны были контуры ее детского тела: я заметил, что под платьем у нее ничего не было.

Она лежала скрючившись, чуть ниже по склону холма, и плоть ее была почти такой же белой как снег. Огромные ледяные глыбы обступили ее со всех сторон, мерцая флуоресцентным светом, холодным, плоским, не отбрасывающим тени, ледяным. Ни солнца, ни теней, ни жизни, мертвящий холод. Мы были посреди сужающегося круга. Я должен был попытаться ее спасти. Я закричал: "Иди сюда – быстрее!" Она повернула голову, но с места не двинулась, в плоском свете, как потускневшее серебро, блеснули волосы. Я подошел к ней со словами: "Не надо так бояться. Я спасу тебя, обещаю. Нам надо подняться на башню". Она, казалось, не поняла, а может, просто не расслышала, что я говорю, в грохоте и треске надвигающегося льда. Я схватил ее и потащил вверх по склону: это было легко, она почти ничего не весила. Остановился возле развалин, придерживая ее рукой, огляделся и сразу понял, что забираться выше не имеет смысла. Башня вот-вот рухнет, обвалится и мгновенно рассыплется под тяжестью миллионов тонн льда. Лед был так близко, что холодный воздух обжигал легкие. Ее била крупная дрожь, плечи были ледяными. Я прижал ее к себе и покрепче обнял обеими руками.

Времени оставалось совсем немного, но, по крайней мере, нас ждет одна и та же участь. Ледяная лавина уже поглотила лес, последние ряды деревьев ломались в щепки. Я почувствовал ее серебряные волосы у себя на губах, она прижалась ко мне. И тут я потерял ее; руки не могли ее больше найти. Вырванный ствол дерева плясал высоко в небе, подкинутый на сотни футов ледяным ударом. Потом была вспышка, все зашаталось. Мой наполовину упакованный чемодан лежал на кровати. Окна комнаты были по-прежнему открыты настежь, занавески задувало внутрь. За окном качались кроны деревьев, небо темнело. Дождя слышно не было,

но гром перекатывался и отдавался эхом, а когда я выглянул, сверкнула молния. Температура упала на несколько градусов по сравнению с утренней. Я поспешил надеть куртку и захлопнуть окно.

И все-таки я был на верном пути. Пройдя сквозь сросшиеся в подобие тоннеля живые изгороди, дорога запетляла по темному буковому лесу и привела к дому. Свет нигде не горел. Дом выглядел брошенным и необитаемым, как и все дома, мимо которых я проезжал. Я посигналил несколько раз и стал ждать. Было поздно, они могли уже спать. Если она здесь, я должен ее увидеть, это собственно и было моей целью. Через некоторое время подошел муж и впустил меня. На этот раз он явно не был рад меня видеть, что было объяснимо, если я поднял его с постели. Похоже, он был в халате.

Электричества в доме не было. Он пошел вперед, светя фонариком. Камин в гостиной слегка согревал воздух, но я все равно остался в пальто. В свете лампы я с удивлением отметил, как сильно он изменился, пока я был за границей. Он отяжелел, стал жестче и суровей; былого гостеприимства как не бывало. И был он совсем не в халате, а в какой-то шинели, отчего казался совершенно незнакомым человеком. Ожили мои прежние подозрения; передо мной был человек, который не преминет воспользоваться надвигающейся бедой еще до того, как она пришла. Выражение его лица явно не было дружелюбным. Я извинился за столь поздний визит, объяснив, что заблудился. Я застал его за выпивкой. Маленький столик был уставлен бутылками и стаканами. "Ну, тогда за ваш приезд". В его манерах не было и следа радушия, как и в тоне, в котором сквозили непривычные сардонические нотки. Он налил мне выпить и сел, длинная шинель прикрывала его колени. Я посмотрел, не оттопырен ли карман, не выпирает ли где ствол, но под шинелью ничего заметно не было. Мы сидели и выпивали. Я рассказывал о своих путешествиях и ждал, когда же появится девушка. Ее не было; из дома не доносилось ни звука. Он не обмолвился про нее ни словом, и по злобному вызывающему взгляду было понятно, что делает он это намеренно. Комната, которую я помнил милой и уютной, теперь была неприбранной и грязной. С потолка осыпалась штукатурка, в стенах виднелись глубокие трещины, как после взрыва, судя по темным пятнам, кое-где протекала крыша; в доме чувствовалось то же опустошение, что и снаружи. Когда терпению моему пришел конец, я спросил, как она поживает. "Она умирает. — Потом злобно осклабился и ответил на мое испуганное восклицание: — Как и все

мы". Это была шутка. Я понял, что он намерен помешать нашей встрече.

Я просто должен был ее увидеть; это было важно, жизненно важно. Я сказал: "Я сейчас уйду и оставлю вас в покое. Но не могли бы вы дать мне чего-нибудь поесть? Я ничего не ел с полудня". Он вышел и грубым властным тоном велел ей принести еду. Разрушение, царившее повсюду, передавалось, как зараза, поражало все, включая их отношения и облик комнаты. Она принесла поднос с хлебом, маслом и ветчиной, я внимательно вгляделся в нее, стараясь понять, изменилась ли она. Она выглядела еще тоньше, чем прежде, еще прозрачнее. Она не проронила ни звука, вид у нее был напуганный и замкнутый, как в ту пору, когда мы только познакомились. Мне нестерпимо хотелось поговорить с ней, остаться наедине, но такой возможности у меня не было. Муж, продолжая пить, все время следил за нами. Опьянев, он стал агрессивен; когда я отказался от стакана, рассердился и явно вознамерился со мною повздорить. Я понимал, что пора уходить, но у меня так разламывалась голова, что не было сил двинуться. Я не отводил руку ото лба и глаз. Очевидно, девушка это заметила, вышла из комнаты и, принеся что-то в ладошке, пробормотала: "Аспирин, от головы". Он заорал, словно уличный забулдыга: "Что ты там ему нашептываешь?" Я был тронут ее вниманием и хотел бы сделать для нее нечто большее, чем просто поблагодарить; но он уставился на меня с такой злобой, что я поднялся.

Провожать меня он не стал. Пробравшись в темноте, на ощупь, вдоль стен, я отыскал входную дверь и вышел на слабо поблескивающий снег. Мороз был такой, что я поспешил залезть в машину и включить обогревание. Оторвав взгляд от приборной панели, я услышал, как она негромко выкликнула фразу, из которой я понял лишь "обещай" и "не забудь". Я включил фары и увидел, что она стоит в дверях, обхватив себя тонкими руками. На лице — привычное выражение жертвы, что, конечно, имело психологическую природу и было результатом полученных в детстве травм; мне это виделось тончайшей тенью побоев на невозможно нежной, гладкой, белой коже у глаз и уголков рта. Образ этот имел для меня свою неодолимую привлекательность. Я едва успел выхватить ее взглядом, как машина тронулась; я машинально жал на стартер, не ожидая, что она сразу заведется на таком морозе. В ту же секунду, как бывает лишь во сне, темная внутренность дома вытянулась, превращаясь в черную руку, которая, схватив ее, рванула с такой бешеной силой, что побелевшее от ужаса лицо увлекаемой во мглу девушки треснуло и рассыпалось на части.

После того как их отношения испортились, я уже не мог оставаться в стороне. Пока она была счастлива, я готов был исчезнуть, самоустраниться. Но теперь я снова ощущал свою вовлеченность и нашу с ней связь.

Два

Я услышал, что девушка внезапно ушла из дома. Никто не знал, где она. Муж говорил, что она могла уехать за границу. Но это было лишь предположение. Точной информации у него не было. Я был взволнован и без конца задавал вопросы, ответы на которые ничего не проясняли. "Я знаю не больше, чем вы. Она просто испарилась, полагаю, коли ей так захотелось, имеет право — она свободная, белая, ей двадцать один год". Он взял манеру говорить со мной шутливо, и я не был уверен в его искренности. Полиция ничего не заподозрила. Считать, что она стала объектом насилия или ушла не по доброй воле, оснований не было. Она была достаточно взрослой, чтобы решать за себя. Люди исчезали постоянно; сотнями уходили из дома, и больше их не видели, среди них много несчастливых в браке женщин. Было известно, что их союз распался. Теперь ей, скорее всего, полегчало и хотелось, чтобы ее оставили в покое. Дальнейшее расследование вызвало бы подозрения и только бы осложнило ситуацию.

Такая позиция была им удобна и оправдывала бездействие. Но для меня она была неприемлемой. С раннего детства она воспитывалась в условиях строгого повиновения, любые проявления независимости систематически подавлялись. Я не верил в ее способность по собственной воле пойти на решительный шаг: возможно, ее к этому подтолкнули. Мне очень хотелось поговорить с кем-нибудь, кто хорошо ее знал, но у нее, по-видимому, не было близких друзей.

Ее муж прибыл в город по какому-то таинственному делу, и я пригласил его отобедать в моем клубе. Мы проговорили два часа, но осведомленнее я не стал. Он упорно представлял все в легкомысленном свете, уверял, что даже рад, что она ушла. "Ее неврастения чуть не свела *меня* с ума. Я сделал все возможное. К психиатру она идти отказывалась. В итоге, она покинула меня, не сказав ни слова. Без объяснений. Без предупреждения. — Он говорил так, будто сам был потерпевшим. — Она пошла своим путем, обо мне не подумала, поэтому и я о ней не беспокоюсь. Ясно только одно — она не вернется". Пока он был в отъезде, я, воспользовавшись возможностью, поехал к ним домой посмотреть вещи в ее ком-

нате, но не нашел ничего, что могло бы навести на ее след. То был обычный набор трогательных пустяков: фарфоровая птичка, порванная нитка искусственного жемчуга, любительские фотографии в старой коробке из-под шоколада. Один из снимков — отражение ее лица и сияющих волос на идеально ровной поверхности озера — я спрятал в бумажник.

Как бы то ни было, я должен был ее найти; факт оставался фактом. Я испытывал то же навязчивое влечение, что заставило меня поехать к ним сразу же по возвращении на родину. Рационального объяснения этому не существовало, просто я был не в состоянии с собой справиться. Желание стало непреодолимым и требовало удовлетворения.

Я забросил дела. Ее поиски — стали моим основным занятием. Остальное не имело значения. По-прежнему существовали потенциальные источники косвенной информации. Парикмахеры. Клерки, занимающиеся бронированием билетов. Обслуживающий персонал. Я стал посещать места, где подобная публика бывает регулярно, слонялся возле игровых автоматов, пользуясь любой возможностью поговорить. Помогли деньги. И интуиция. Я старался распутать любую ниточку, какой бы тонкой она ни была. Надвигающееся бедствие лишь подстегивало меня. Я не мог думать ни о чем другом. Не все из того, что я помнил о ней, я видел собственными глазами. Во время моего первого визита мы сидели в гостиной и беседовали об индри, рассказывать о них мой конек. Мужчина слушал. Она ходила туда-сюда, расставляя цветы. Повинуясь какому-то странному побуждению, я сказал, что они похожи на лемуров — дружелюбная, очаровательная, счастливая пара, обитающая среди деревьев. Он засмеялся. Она с ужасом взглянула на меня и выбежала в застекленную дверь, мелькнув серебряной гривой и бледными голыми ногами. Уединенный тенистый сад, спрятанный в укромном тихом месте, был приятным убежищем от летней жары. Вдруг неестественно, прямо-таки пугающе похолодало. Густая листва обернулась тюремной стеной, неприступной круговой стеной зеленого льда, которая, сужаясь, надвигалась на нее. За секунду до того, как лед сомкнулся, я поймал ее полный ужаса взгляд.

Зимним днем она позировала ему в студии обнаженная, с грациозно поднятыми руками. Долго держать их в таком положении, должно быть, очень непросто, и я поражался, как ей удается сохранять такую позу, пока не увидел, что ее запястья и лодыжки связаны. В комнате было холодно. Окна покрыла густая изморозь, а снаружи на подоконниках лежал снег. На нем была длинная шинель. Ее трясло. Когда она

спросила: "Можно мне отдохнуть?" — голос ее душераздирающе дрожал. Он нахмурился, посмотрел на часы и положил палитру. "Ладно, на сегодня хватит. Можешь одеваться". Он развязал ее. От веревок на белой коже остались красные отметины. Она замерзла, отчего движения стали медленными и неуклюжими, она неловко сражалась с пуговицами и подвязками. Его это, по-видимому, раздражало. Он неприязненно отвернулся. Она нервно поглядывала на него, руки и губы дрожали.

В другой раз оба сидели в холодной комнате. На нем, как обычно, был длинный плащ. Стояла морозная ночь. У него в руках была книга, она сидела просто так. Закутанная в тяжелое серое полупальто с подкладкой в красно-синюю клетку она выглядела замерзшей и совершенно несчастной. В комнате было тихо и очень напряженно. Чувствовалось, что уже довольно долго никто из них не проронил ни слова. За окном, на трескучем морозе, хрустнула ветка, словно кто-то хлопнул в ладоши. Он отложил книгу и поднялся поставить пластинку. Она тут же запротестовала. "О, нет! Только не это жуткое пение, ради Бога!" Он не обратил на ее слова никакого внимания. Заиграл проигрыватель. То была песня лемуров, записанная мною на пленку и подаренная им. Мне необычная музыка джунглей казалась прекрасной, таинственной, волшебной. Для нее же слушать ее, очевидно, было пыткой. Она прикрыла уши руками, вздрагивала на высоких нотах, явно теряя над собой контроль. Когда пластинка закончилась, он тут же поставил ее снова, а она закричала, как будто он ударил ее: "Нет! Я больше не могу это слушать", — и, бросившись к проигрывателю, остановила его так резко, что голоса оборвались зловещим стоном. Он сердито посмотрел на нее. "Какого черта ты тут устраиваешь? Совсем спятила?" — "Ты же знаешь, что я не выношу эту жуткую пластинку. — Она была вне себя. — Ты ставишь ее только потому, что я ее ненавижу..." Слезы лились ручьями, она небрежно смахивала их рукой.

Сверкнув глазами, он сказал: "Неужели я должен часами сидеть в тишине только потому, что ты и рта открыть не соизволишь? — Сердитый голос был полон искреннего возмущения. — Да и вообще, что с тобой последнее время? Почему ты не можешь вести себя по-человечески? — Не ответив, она прикрыла лицо ладонями. Слезы сочились меж пальцев. Он с отвращением посмотрел на нее. — Я тут с тобой, как в одиночной камере. Но предупреждаю, больше мириться с этим я не намерен. С меня довольно. Осточертело. Возьми себя в руки, или же..." Бросив на нее грозный взгляд, он вышел, хлоп-

нув дверью. Она осталась в наступившей тишине, как потерявшийся ребенок с мокрыми от слез щеками. Потом она бесцельно бродила по комнате, подошла к окну, отодвинула занавеску и вскрикнула от неожиданности.

Вместо тьмы она увидела ошеломляющий небесный пожар, невероятный ледяной мираж. Холодные пульсирующие всполохи радужного огня пронизывали сверкающие монолиты громоздящихся вокруг ледяных гор. Вокруг дома закованные в лед деревья, словно сверхъестественные алмазные призмы, переливаясь и сверкая, отражали яркие переменчивые каскады льющегося сверху света. Северное полярное сияние превратило привычное ночное небо в холодный искрящийся свод, под которым землю со всеми ее обитателями сковали непреодолимые сверкающие ледяные барьеры. Мир превратился в арктическую тюрьму, откуда невозможно вырваться, все живое, как и деревья, уже безжизненные под смертоносной блестящей броней, было надежно приковано к земле.

В отчаянии она огляделась по сторонам. Со всех сторон ее окружали огромные, пронизываемые ослепительными вспышками света ледяные стены, непрерывно движущиеся, изменяющиеся потоки льда, стремительные лавины, как океаны, погребали под собой обреченный мир. Куда б она ни взглянула — всюду леденящее душу кружение, парящие прозрачные пики, нависающее кольцо холодных, огненных громад, волн, готовых обрушиться на нее в любую секунду. Замороженная смертным холодом, ослепленная сверканием кристального ледяного света, она чувствовала, как становится частью полярного миража, сливается со льдом и снегом. Она приняла мир льда, ослепительного, блистающего, мертвенного, как свою судьбу; она покорилась триумфу ледников и гибели мира.

Мне было жизненно важно найти ее без промедлений. Ситуация складывалась тревожная, атмосфера накалялась, катастрофа была неизбежна. Ходили разговоры о тайной агрессии иностранной державы, но никто не знал, что происходит на самом деле. Правительство скрывало факты. Меня по секрету проинформировали о резком скачке радиоактивного загрязнения, указывающем на взрыв ядерного устройства, вид и происхождение которого остались неизвестны, отчего сколь-либо точно предсказать последствия представлялось невозможным. Предполагалось, что произошло смещение полюсов, что, в свою очередь, привело к существенным изменениям климата, вызванным преломлением солнечной энергии. Если мягкие антарктические льды не

растопятся теплыми Тихим и Атлантическим океанами, образуется огромный массив льда, который будет отражать солнечные лучи и посылать их обратно в космос, лишая планету тепловой энергии. В городе царили хаос и неразбериха. Новости из-за границы подвергались цензуре, но выехать было еще можно. Сумятица усугублялась целым потоком директив, часто противоречащих друг другу, а также непредсказуемостью, с которой их издавали и отменяли. Единственное, что могло прояснить картину, это всеобъемлющий анализ мировых событий, но это было невозможно из-за решения политиков блокировать все заграничные новости. У меня создалось впечатление, что власти просто потеряли голову, не понимая, как противостоять надвигающейся опасности, и надеясь продержать население в неведении относительно реального положения вещей, пока не будет разработан хоть какой-то план.

Люди, безусловно, проявили бы бóльшую озабоченность, с большим рвением стремились бы получить информацию о происходящем в других странах, если бы дома им не приходилось бороться с дефицитом топлива, перебоями в электроснабжении, развалом транспортной системы и черным рынком, куда стремительно перекачивалось все жизненно необходимое.

Ожидать, что аномальные морозы прекратятся, не приходилось. В моем номере было сравнительно тепло, но даже в отелях отопление свели к минимуму, а перебои в снабжении и развал инфраструктуры препятствовали моим поискам. На реке уже несколько недель стоял лед, доки были полностью парализованы, что стало серьезной проблемой. Все товары первой необходимости были в дефиците; введение карточек, по крайней мере на продовольствие и топливо, уже нельзя было откладывать, несмотря на нежелание власть имущих прибегать к непопулярным мерам.

Все, у кого была возможность, уезжали в поисках лучшей жизни. Билетов не было ни на суда, ни на самолеты; на все рейсы выстраивались огромные очереди. Доказательств, что девушка уже за границей, у меня не было. Вообще-то представлялось маловероятным, что ей удалось покинуть страну, но, с другой стороны, какие-то шансы, что она могла оказаться на каком-нибудь судне, все-таки оставались.

Порт находился довольно далеко, добираться до него было долго и сложно. Я опаздывал, гнал туда всю ночь и прибыл за час до отплытия. Пассажиры и провожающие уже поднялись на борт и толпились на палубах. Первым долгом следовало поговорить с капитаном. Он оказался раздражаю-

ще словоохотлив. Я постепенно терял терпение, а он все продолжал сетовать на власти, на перегрузку судна пассажирами: это-де небезопасно для корабля, несправедливо по отношению к нему, к компании, к самим пассажирам, да и к страховщикам тоже. Это де его прерогатива. Как только я получил разрешение самостоятельно передвигаться по судну, я предпринял методичный осмотр всех его частей, но не нашел и следа той, которую искал.

В конце концов я сдался и вернулся на палубу. Подавленный и бесконечно усталый я встал у перил, будучи не в состоянии пробиться сквозь толпы суетящихся на палубе людей и испытывая страстное желание бросить всю эту затею. Ведь у меня не было ни одного довода в пользу того, что девушка именно на этом корабле. Продолжать поиски на основании лишь смутной догадки показалось мне вдруг не только бессмысленным, но и безумным; тем более при моем неопределенном отношении к предмету поисков. Я подумал, что настоятельная потребность отыскать ее, словно она была утраченной частью меня самого, больше похоже не на любовь, а скорее на некое умопомрачение, слабость, которую необходимо изжить, вместо того чтобы позволять ей властвовать над собой.

В этот момент мимо меня проплыла большая черноспинная чайка, почти коснувшись кончиком крыла моей щеки, будто нарочно привлекая мое внимание и взгляд на шлюпочную палубу. И тут я увидел ее, она стояла там, где до этого никого не было, и смотрела куда-то в сторону; все, о чем я только что думал, улетучилось из головы, смятенное волной возбуждения, непреодолимая тяга к ней вернулась. Даже не разглядев ее лица, я был уверен, что это она. Ни у одной девушки в мире не было столь ослепительных волос, ни одна не была такой худенькой, что ее хрупкость можно было разглядеть сквозь грубое серое пальто. Я просто должен был до нее добраться, ни о чем другом я думать не мог. Завидуя свободно парящим чайкам, я ринулся в разделявшую нас густую человеческую массу. Времени не оставалось, корабль вот-вот должен был отчалить. Провожающие покидали палубу, пришлось продираться сквозь идущих навстречу людей. Пока не поздно, надо было попасть на шлюпочную палубу. В своем рвении, я, должно быть, страшно толкался. Слышались возмущенные возгласы, кто-то грозил кулаком. Я старался объяснить, что страшно спешу, но меня не слушали. Трое молодых людей угрожающего вида, сцепив руки, грубо преградили мне путь. Я никого не хотел обидеть и едва соображал, что делаю. Я думал только о ней. Неожиданно кто-то

из команды прокричал в громкоговоритель: "Всем провожающим сойти на берег. Трап поднимется через две минуты". Воздух прорезал оглушительный гудок. Началась давка. Противостоять рвущимся к трапу людям было практически невозможно. Толпа в паническом бегстве утянула меня с корабля на причал.

Стоя у кромки воды, я увидел ее высоко над собой, но теперь уже значительно дальше. Корабль отчалил и с каждой секундой набирал скорость, а полоса воды, отделявшая меня от него, была уже слишком широкой, чтобы перепрыгнуть. В отчаянии я закричал и замахал руками, стараясь привлечь ее внимание. Безнадежно. Вокруг колыхалось целое море рук, бесчисленные голоса выкрикивали что-то невразумительное. Я видел, как она обернулась сказать что-то человеку, который только что подошел к ней и тут же натянул ей на голову капюшон, чтобы не было видно волос. Сомнения обуревали меня, и чем дольше я смотрел, тем более они крепли. В конце концов, наверное, это просто не та девушка; эта слишком уж владела собой. Но полной уверенности не было.

Судно уже начинало разворот в сторону устья гавани, оставляя за собой изгиб спокойной воды, похожей на полоску скошенной травы. Я стоял, глядя ему вслед, хотя холод уже прогнал пассажиров с палуб, и надежды узнать ее не осталось. О чем я думал за секунду до того, как увидел ее, припомнилось смутно, как сон. Мною снова овладела потребность безотлагательно продолжить поиски; я был полностью поглощен этой навязчивой идеей, как будто утратил важную часть собственного существа. Кроме этого, все в мире казалось мне несущественным.

Люди уходили с пристани, притоптывая ногами от холода. Я не заметил, как остался один. Мне даже не пришло в голову отойти от кромки воды, я продолжал вглядываться в уменьшающееся судно. Как же я сглупил. Я страшно злился на себя, что дал отплыть кораблю, так и не установив личность девушки на борту. Теперь я никогда не узнаю наверняка, она это была или нет. И если это она, как мне теперь ее найти? Послышался унылый гудок — судно вышло из защищенной гавани в открытое море и стало исчезать за серой массой волнующегося горизонта. Корабль выглядел до смешного маленьким, совсем как игрушечный. И вот он пропал из виду, мои глаза уже не могли его отыскать. Пропал безвозвратно.

Что я остался один, а все ушли, я заметил, только когда ко мне строевым шагом приблизились двое полицейских и

указали на знак: "Праздношатание на причалах строго запрещается указом Министерства обороны". "Ты что здесь шатаешься? Что, читать не умеешь?" В то, что я не заметил надписи, они поверить, разумеется, отказались. Высоченные в своих шлемах, они встали по обе стороны от меня так близко, что дула автоматов уперлись мне в бока, и потребовали предъявить документы. Таков порядок. Ничего личного. Как бы то ни было, мое поведение показалось им подозрительным, и они решили записать мое имя и адрес. Я снова повел себя по-дурацки – привлек к себе лишнее внимание. Теперь, когда им известно мое имя, я попаду в сводки; вся полиция будет знать обо мне и контролировать все мои передвижения. Это может стать серьезной помехой в моих поисках.

Пока двое полицейских выталкивали меня за ворота, что-то заставило меня посмотреть вверх, где на стене рядком неподвижно сидели большие черноспинные чайки; держа клювы против ветра и указывая на море, они напоминали чучела, прикрепленные, чтобы подать какой-то сигнал. В этот момент я решил покинуть страну, пока мои визы не закончились или их не аннулировали. У меня не было предпочтений относительно места, откуда начинать поиски, все было одинаково малообещающим. А вот пытаться вести поиски отсюда, находясь под подозрением, означало бы обречь себя на неудачу.

Уезжать нужно было немедленно, пока не распространились полицейские сводки. По обычным каналам это было уже невозможно. Прибегнув к альтернативным способам, я умудрился сесть на грузовое судно с несколькими пассажирами, направляющееся на север. Я забронировал одно место до конца путешествия. Корабельный казначей готов был за вознаграждение уступить свою каюту. На следующий день я вышел, чтобы понаблюдать за прибытием судна в первый порт следования. Увидев на нижней палубе толпу готовящихся сойти на берег людей, я вспомнил жалобы, которые мне пришлось выслушать относительно переполненности судна. Официально на нем разрешалось перевозить двенадцать пассажиров. Сколько же их здесь на самом деле, думал я.

Стужа была лютая. По зеленой воде скользили отколовшиеся куски льдин. Очертания берега едва угадывались в туманной дымке. Пристань была уже довольно близко, но здания в конце мола казались бесформенными, призрачными. Облокотившись о перила, чуть поодаль от других пассажиров, стояла девушка в тяжелом сером пальто с капюшоном.

Ветер раздувал полы, обнаруживая клетчатую стеганую подкладку. Мое внимание привлекло именно пальто, хотя я прекрасно знал, что с начала холодов такие пальто стали чуть ли не женской униформой и увидеть их можно было повсюду.

Дымка поднималась и постепенно рассеивалась, вот-вот должно было взойти солнце. Изрезанное побережье изобиловало бухтами и острыми скалами, дальше виднелись заснеженные горы. Вокруг было много островков, некоторые, поднимаясь вверх, оказывались облаками, другие сгустками тумана опускались и вставали на якорь в море. Внизу белоснежный ландшафт, туманно-белый полог сверху — все смутно, как в восточной живописи. Город, казалось, состоял из одних развалин, беспорядочно обрушившихся друг на друга строений, город песочных замков, разрушенный приливом. Мощная городская стена, некогда защищавшая его, была во многих местах проломлена и, следовательно, бесполезна, оба ее конца уходили под воду. Некогда это был большой город. И хотя его укрепления веками лежали в руинах, он все еще представлял некоторый исторический интерес.

Внезапно все затихло. Двигатели остановились. Корабль продолжал двигаться по инерции. Я слышал легкий шелест воды о борт, заунывные крики морских птиц, этот печальный северный звук. Больше никаких звуков не было. С земли не доносились ни шум машин, ни колокола, ни людские голоса. Разрушенный город под нависшими скалами застыл в полной тишине. Я думал о длинных и узких древних кораблях, награбленном добре, хранившемся в трюмах, крылатых шлемах, рогах для вина, тяжелых украшениях из золота и серебра, грудах окаменелых костей. Это был город из прошлого, город мертвых.

С моста раздался крик. На пристани как из-под земли выросли вооруженные мужчины с угрюмыми лицами. Они были вооружены и в форме: подбитые ватой черные кители, крепко перетянутые ремнями, высокие сапоги, меховые шапки. Когда они двигались, ножи на поясе пускали солнечных зайчиков. Вид был нездешний, даже угрожающий. Я слышал, как кто-то сказал, что это люди правителя, что для меня ничего не значило; я об этом правителе ничего не слышал. Тем не менее их присутствие меня удивило, поскольку частные армии были запрещены законом. С бортов сбросили концы, мужчины поймали их и пришвартовали корабль. С грохотом опустился трап. Пассажиры зашевелились, подняли багаж, вынули паспорта и бумаги и начали, шаркая, медленно продвигаться к выставленному барьеру.

Девушка в сером пальто и не собиралась сходить на берег, даже позу не изменила. По мере того как пассажиры удалялись и вокруг нее не оставалось ни души, мой интерес возрастал, я не мог отвести от нее глаз. Больше всего меня поражала ее полная неподвижность. Такая пассивная позиция, предполагающая одновременно смирение и сопротивление, для молодой девушки была не вполне естественной. Она была настолько неподвижна, словно ее накрепко привязали к перилам, и я подумал, как легко спрятать веревки под этим широким пальто.

Яркая прядь блестящих светлых, почти белых волос выбилась из-под капюшона и развевалась от ветра; я почувствовал внезапное воодушевление; но тут же напомнил себе, что среди северян часто встречаются блондины. Тем не менее меня охватило неодолимое любопытство, мне необходимо было увидеть ее лицо. Чтобы это случилось, ей надо было посмотреть вверх, в мою сторону.

Движение пассажиров было прервано. На борт поднялись люди в форме и, властно покрикивая, растолкали толпу, требуя дать дорогу правителю. Проход освободили, и на борт поднялся высокий мужчина с соломенной шевелюрой, красивый особенной северной ястребиной красотой, ростом он был выше всех. Его надменность и полнейшее безразличие к остальным производили неприятное впечатление. Как будто почувствовав мое осуждение, он обратил на меня взор. Глаза у него были потрясающие — осколки ярко-голубого льда. Я видел, что он направляется к девушке в сером пальто — единственному человеку, который его не видел. Все остальные не сводили с него глаз. Когда он прокричал: "Чего ты здесь стоишь? Заснула что ли? — Девушка испуганно обернулась. — Поторопись! Машина ждет". Он подошел ближе и коснулся ее. Он улыбался, но в его голосе и поведении ощущалась угроза. Она отпрянула, явно не желая идти с ним. Он взял ее за руки, как будто дружески, но на самом деле стал силой тянуть ее за собой сквозь сбившихся в стадо, глазеющих на них пассажиров. Она так и не подняла глаз, и я не видел выражения ее лица, но вполне смог представить себе его стальную хватку на ее тонких запястьях. Они сошли на берег первыми, и их тут же увезла большая черная машина.

Я словно окаменел. И вдруг принял решение. Мне показалось, что стоит рискнуть. Хоть я не видел ее лица... в любом случае другого шанса у меня не было.

Я бегом спустился в каюту, послал за корабельным казначеем и сказал, что у меня поменялись планы. "Я сойду здесь".

Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. "Как вам будет угодно". Он безразлично пожал плечами, но не смог скрыть едва заметную ухмылку. Деньги свои он получил. Теперь сможет еще раз продать это место.

В спешном порядке я покидал в чемодан кое-что из вещей, которые уже успел распаковать.

Три

С чемоданом в руке я вошел в город. Тишина изрыгала сама себя. Какое-либо движение отсутствовало. Опустошение оказалось еще большим, чем виделось с корабля. Не осталось ни одного целого здания. Где раньше стояли дома, теперь грудились обломки. Стены осыпались; пролеты лестниц вели в пустоту. За арками зияли глубокие кратеры. Восстановительными работами никто не занимался. От завалов очистили только главные улицы, остальное пребывало в полном запустении. Меж развалин изгибались похожие на звериные тропки, только протоптаны они были людьми. Я так и не нашел никого, кто подсказал бы мне дорогу. Казалось, город совершенно опустел. Наконец гудок поезда указал мне направление к вокзалу — маленькой времянке, сложенной из собранных на развалинах материалов, напомнившей мне заброшенную съемочную площадку. Но и тут я не нашел никаких признаков жизни, хотя поезд, видимо, отошел только что. Трудно было поверить, что здесь действительно что-то происходит; что-нибудь функционирует. Я отдавал себе отчет в неопределенности окружающей реальности, как вокруг меня, так и внутри. Все вокруг было крайне непрочно, словно соткано из тумана и нейлона, за которыми ничего нет.

Я вышел на платформу. Чтобы проложить пути, они, должно быть, взорвали развалины динамитом. Одноколейка выходила из города, пересекала пустырь и скрывалась в еловом лесу. Такая хрупкая связь с миром особого доверия не вызывала. У меня было ощущение, что рельсы заканчиваются сразу за опушкой. За деревьями поднимались горы. Я крикнул: "Есть тут кто-нибудь?" Невесть откуда появился человек и показал кулак. "Проход запрещен — проваливай!" Я объяснил, что я только с корабля и ищу комнату. Он злобно, с подозрением уставился на меня и промолчал. Я спросил, как пройти на главную улицу. Он угрюмо пробурчал несколько слов, продолжая пялиться на меня, будто я с луны свалился.

С чемоданом в руке я вышел на площадь, по которой ходили люди. Мужчины в черных кителях, похожих на те, что я уже видел, почти все имели при себе холодное или огнестрельное оружие. Женщины тоже все были в черном, что производило тягостное впечатление. Их лица ничего не выражали, никто не улыбался. Но я обнаружил первые признаки того, что в некоторых зданиях по-прежнему кто-то живет, кое-где в окнах даже были стекла. На площади стояли лотки, работали магазинчики: деревянные хибары и пристройки заплатами пестрели на руинах. В другом конце площади работало кафе, был даже закрытый кинотеатр, чья потрепанная афиша рекламировала прошлогоднюю программу. Очевидно, это было живое сердце города; все остальное представляло собой останки мертвого прошлого.

Я пригласил хозяина кафе выпить в надежде установить с ним хорошие отношения, прежде чем спросить про комнату. Местные жители все как один представлялись мне людьми замкнутыми, подозрительными и враждебно настроенными по отношению к незнакомцам. Мы выпили местного сливового бренди, напиток крепкий и огненный, как раз для холодного климата. Это был крупный, сильный мужчина, настоящий крестьянин. Сначала мне и слова из него было не вытянуть, но после второго стакана он расслабился и спросил, зачем я приехал. "Сюда никто не приезжает; для чужестранцев у нас нет ничего привлекательного — одни руины". — "Ваши руины — знамениты на весь мир. Вот я и приехал посмотреть на них. Я провожу исследование для научного сообщества", — выдал я заранее подготовленный ответ. "То есть в других странах есть люди, которых это интересует?" — "Конечно. Ваш город — важный исторический объект". Он, как я и ожидал, был польщен. "Это верно. Нам есть что вспомнить". — "А еще и первооткрыватели. Не слыхали, недавно найдена карта, которая доказывает, что ваши длинные корабли раньше всех переплыли Атлантику и первыми открыли Новый Свет?" — "Вы рассчитываете найти этому доказательства в здешних руинах?" Это мне еще на ум не приходило, но я согласился. "Мне, конечно, нужно получить разрешение: все должно быть по правилам. Только вот я, к сожалению, не знаю, к кому обращаться". Он без колебаний ответил: "Нужно спросить правителя. Он здесь все контролирует". Вот она, неожиданная улыбка фортуны. "А как мне его найти?" Перед моими глазами стояло девичье запястье в его железной хватке, крушащей хрупкие острые косточки. "Это не сложно. Нужно пойти в мэрию и записаться на прием у одного из секретарей". Я был рад та-

кой удаче. Чтобы добраться до этого человека, я был готов долго выжидать удобного случая; и вот такая возможность представилась мне с самого начала.

Вопрос с комнатой также решился без проволочек. Удача сопутствовала мне во всем. И хотя сам хозяин не мог меня пристроить, у его сестры, живущей неподалеку, комната для меня нашлась. "Она вдова, ей, знаете ли, лишние деньги не помешают". Он пошел позвонить ей и, вернувшись после довольно долгого отсутствия, сказал, что все улажено. Обед и ужин мне будут подавать в кафе, завтрак — в моей комнате. "Вам ничто не помешает работать. Там очень тихо. Дом стоит в стороне от улицы, фасадом на воду, так что никто *туда* даже не ходит". Он мне очень помог, поэтому, чтобы поддержать разговор, я спросил, почему люди избегают ходить вдоль фьорда. "Потому что боятся живущего на дне дракона". Я решил было, что он шутит, но лицо его было совершенно серьезно, и произнес он это, как нечто само собой разумеющееся. Мне еще не приходилось встречать человека, который пользовался бы телефоном и верил в драконов. Это развеселило меня и добавило ощущения нереальности происходящего.

Комната оказалась темной, унылой, без удобств и довольно холодной. Тем не менее предметы первой необходимости — кровать, стол и стул — там присутствовали. Заполучить даже такое жилье было удачей, ведь других вариантов просто не было. Сестра хозяина кафе выглядела старше и куда менее ушлой, чем ее брат, которому, должно быть, пришлось долго уговаривать ее принять меня. Она с видимым неудовольствием впускала в дом, где жила одна, чужестранца; ее подозрительность и неприязнь чувствовались во всем. Во избежание неприятностей я, не торгуясь, заплатил запрошенную ей непомерную плату за неделю вперед.

Я попросил ключи, сказав, что нужно будет сделать дубликат для внешней двери — не хотел от нее зависеть. Она принесла два ключа, но выдала только один — от двери в комнату, зажав второй в ладошке. Я попросил, чтоб она дала его мне. Она отказалась. Я настаивал. Она заупрямилась и ретировалась в кухню. Я пошел за ней и силой отобрал ключ. Я обычно так себя не веду, но вопрос был принципиальный. Впредь не станет мне перечить.

Я вышел из дома и направился исследовать город: между бесформенными руинами беспорядочно протоптанные дорожки, развалины фортов, выступающие из тусклого лилового моря, плиты гигантской лестницы, развалившаяся на громадные куски крепостная стена. Сплошные руины, обру-

шившиеся фортификации, свидетели воинственного, кровожадного прошлого. Я поискал здания, построенные сравнительно недавно. Таковых не оказалось. Малочисленное население, точно крысы, ютилось на руинах былого военного могущества. Когда здание становилось непригодным для жилья, они просто переселялись в другое. Городское население постепенно вымирало, численность его сокращалась ежегодно. Имеющихся развалин вполне должно было хватить, чтобы протянуть до конца. Сначала было сложно отличить жилые здания от нежилых, но потом я научился выискивать приметы обитаемости — армированные двери, заколоченные окна.

Я записался на прием к правителю; похожее на массивную крепость здание мэрии возвышалось над городом, расположившись в самом высоком его месте. В назначенное время я забрался по единственной ведущей к нему крутой дороге. Снаружи здание больше походило на укрепленный форт с массивными, толстыми стенами, без окон, с узкими бойницами под самой крышей, предназначавшимися, по-видимому, для пулеметов. По обе стороны от входа стояли артиллерийские орудия, нацеленные на дорогу. Я было предположил, что они остались от какой-нибудь прошлой военной кампании, но выглядели они вполне боеспособными. С секретарем я разговаривал по телефону, теперь же меня встретили четыре вооруженных охранника в черных мундирах и повели по длинному коридору — по двое спереди и сзади. Было темно. Лишь сверху сквозь бойницы просачивались бледные пучки дневного света, смутно обозначая лестницы с похожими на мосты площадками, от которых на разных уровнях в разных направлениях расходились коридоры и галереи. Невидимый потолок, наверное, был невероятно высоко, под самой крышей, поскольку все эти едва различимые ответвления находились высоко над моей головой. Вдалеке что-то шевельнулось: девичья фигура. Я поспешил за ней, она стала подниматься по лестнице, и ее серебристые волосы покачивались, мерцая во тьме при каждом шаге. Короткая крутая лестница вела в единственную комнату. В большом с минимумом мебели пространстве покрытый лаком пол был гол, как танцплощадка. Меня поразила царившая здесь неестественная тишина, необычный шипящий звук в воздухе, в котором ее движения слышались, как мышиное царапанье. Ни звука не проникало сюда ни снаружи, ни из других частей здания. Это меня удивляло, пока я не сообразил, что комната звуконепроницаема, и что бы в ней ни происходило, за пределы четырех стен не проникало ни зву-

ка. И тут только до меня дошло, почему ей была отведена именно эта комната.

Она была в кровати, но не спала, ждала. Стоявший рядом ночник испускал слабый розоватый свет. Широкая кровать стояла на возвышении, как и ложе покрытое овчиной, напротив огромного зеркала почти во всю длину комнаты. Она была одна, никто ее не слышал и не *должен был* слышать; отрезанная от всяческих контактов, она была совершенно беззащитной, оставленной на милость того, кто входил сюда без стука, не говоря ни слова, и его холодные очень яркие глаза вонзались в ее отражение. Она неподвижно сидела на постели, уставившись в зеркало, словно зачарованная. Гипнотическая сила его глаз могла подавить ее волю, и без того ослабленную матерью, которая долгие годы непрестанно подчиняла ее себе. С детства вынужденная принять роль жертвы и в мыслях, и в поведении, она была беззащитна перед его агрессивной натурой, способной покорить ее, завоевать без остатка. Я видел, как это происходило.

Он неторопливо подошел к кровати. Она не шевелилась, пока он не наклонился к ней, она судорожно съежилась, будто пытаясь избежать удара, и уткнулась лицом в подушку. Он протянул руку, скользнул по плечу, сильные пальцы нащупали подбородок, схватили, потянули, силой подняли ее голову. Ужас охватил ее, бешено извиваясь, она стала яростно сопротивляться его превосходящей силе. Он же просто стоял, давая ей возможность побороться. Ее слабое сопротивление забавляло его, он знал, что долго это не продлится. Он молча, ухмыляясь, наблюдал, как она постепенно теряет силы, и медленно, спокойно, неотвратимо поднимал ее лицо к себе.

Вдруг она сдалась, выдохлась, признала поражение; она тяжело дышала, лицо было мокрым. Он слегка сжал ее подбородок, вынуждая смотреть прямо на него. Чтобы покончить с сопротивлением, он безжалостно вперил свой надменный сине-ледяной взгляд в ее расширенные глаза. То был момент ее капитуляции; она утонула в холодно-синих, гипнотических глубинах, сопротивление было сломлено. У нее больше не было собственной воли. Он мог делать с ней что угодно.

Он нагнулся, встал коленями на кровать, повалил ее на спину, схватив за плечи. Лишенная воли, она настолько подчинилась ему, что податливо подвинулась, чтобы ему было удобнее. Она была в полубессознательном состоянии и едва соображала, что с ней происходит. Его же интересовало только собственное наслаждение.

Потом она не шевелилась, не подавала признаков жизни, лежала обнаженная на скомканной постели, как на столе в морге. Сброшенные на пол простыни и одеяло прикрывали помост. В том, как ее голова свешивалась с кровати, было что-то ненатуральное, странный изгиб шеи предполагал насилие, белые волосы были скручены его руками в подобие каната. Он сидел, положив на нее руки, словно утверждая свое право на добычу. Когда он прошелся пальцами по ее обнаженному телу, задержавшись на бедрах и груди, ее охватила долгая болезненная дрожь; и она снова затихла.

Он одной рукой поднял ее голову, секунду вглядывался в лицо, потом отпустил, голова упала на подушку и осталась лежать в том же положении. Он встал, отошел от кровати; нога запуталась в покрывале, он отшвырнул его и двинулся к двери. С тех пор как он вошел в комнату, он не произнес ни слова, и вышел он без единого звука, если не считать слабого щелчка закрывающейся двери. Больше всего ее ужасало именно молчание, каким-то образом связанное с его властью над ней.

Интересно, куда это меня ведут, гадал я. Здание было колоссальное, за одним коридором каждый раз открывался новый коридор. Мы миновали люки подземных темниц, камеры, высеченные прямо в скале. По стенам этих клетушек сочилась вода, смешанная с какими-то зловонными выделениями. Опасные ступени вели вниз к еще более глубоким темницам. Мы прошли сквозь несколько створов огромных дверей, одни охранники отпирали их снаружи, другие с треском захлопывали за нашими спинами.

Комната, в которой принял меня правитель, выглядела не казенно. Она была просторной и правильных пропорций, деревянный пол отражал потускневшие старые канделябры. Окна смотрели не в город, а на напоминающие парк просторы, спускавшиеся к далекому фьорду. Его идеально скроенный мундир был сшит из великолепного материала, высокие сапоги блестели как зеркало. Он носил цветную нашивку какого-то не известного мне ордена. На этот раз у меня создалось более благоприятное впечатление; его надменный взгляд, который мне так не понравился, был не столь очевиден, хотя ясно было, что он рожден повелевать, что он сам себе закон и судить его обычной меркой нельзя. "Чем могу?" Он приветствовал меня с официальной вежливостью, смотря синими глазами прямо в лицо. Я поведал ему заготовленную историю. Он тут же согласился выдать и подписать все необходимые разрешения, заверив, что я получу их завтра же. По собственной инициативе предложил добавить

пункт, обязующий оказывать мне всяческую поддержку в исследованиях. Мне это показалось лишним. Он сказал: "Вы не знаете этот народ. Беззаконие у них в крови, плюс врожденная неприязнь к иностранцам, они живут по суровым древним обычаям. Я приложил много усилий, чтобы внедрить более современные отношения. Но это бесполезно, они замурованы в минувшем, как жена Лота в соляном столбе; их не отделить от прошлого". Я поблагодарил его, думая об охранниках — вряд ли они соответствовали его просвещенным взглядам.

Он заметил, что я выбрал странное время для визита. Я спросил почему. "Лед будет здесь очень скоро, гавань замерзнет, мы будем отрезаны от внешнего мира. — Он метнул на меня синий взгляд. Что-то осталось недосказанным. У него был трюк: он как-то так щурил свои очень яркие глаза, что казалось, они испускают языки синего пламени. Он продолжил: — Вы можете сесть здесь на мель и задержаться дольше, чем рассчитывали". И снова резкий взгляд, как будто он подразумевал нечто большее. Я ответил: "Я проведу здесь не больше недели. Не слишком рассчитываю найти что-нибудь новое. Мне, скорее, нужно проникнуться здешней атмосферой. — Несмотря на первоначальное неприятие, я вдруг ощутил, что между нами наладился контакт, что нас связывает что-то личное. Это чувство было настолько неожиданным и необъяснимым, что, смутившись, я добавил: — Пожалуйста, не поймите меня превратно", — сам толком не понимая, что имел в виду. Ему это, по-видимому, доставило удовольствие, и он тут же стал более дружелюбным. "Значит, мы говорим на одном языке. Отлично. Я рад, что вы приехали. Нашей стране необходимы связи с более развитыми народами. Это только начало". По-прежнему не совсем понимая, о чем мы с ним говорили, я встал, чтобы идти, и снова поблагодарил. Он пожал мне руку. "Приходите как-нибудь отужинать со мной. Если смогу быть чем-то еще полезен — дайте знать".

Я ликовал. Удача сопутствовала мне. Казалось, я уже почти добрался до цели, я был уверен — мне удастся увидеть девушку. Если у меня не будет возможности воспользоваться его приглашением на ужин, я всегда смогу прибегнуть ко второму предложению.

Четыре

Подписанные разрешения принесли на следующий день. Инициалы правителя стояли и под дополнительным пунк-

том, предписывающим оказывать мне всяческую поддержку. На хозяина кафе бумага произвела большое впечатление, и я решил, что с распространением данной информации он справится самостоятельно.

Я стал делать записи: мое поведение не должно было вызывать подозрений. Когда-то я смутно подумывал описать очаровавших меня поющих лемуров; теперь у меня появилась превосходная возможность сделать это, пока не стерлись воспоминания. Каждый день я понемногу писал о том, что меня окружало, но большую часть времени уделял лемурам. Поскольку делать больше было нечего, меня целиком захватило это увлекательное занятие, без которого я бы непременно затосковал. Время шло на удивление быстро. В некотором смысле я чувствовал себя даже лучше, чем дома. Становилось все холоднее, но в моей комнате было тепло, я наладил ежедневный подвоз дров. Здесь, вблизи обширных лесов, проблем с топливом не существовало. Думать о приближающемся с каждой минутой леднике было нестерпимо. Однако гавань по-прежнему была открыта, и время от времени туда заходили корабли, на которых мне иногда удавалось раздобыть какие-нибудь деликатесы в дополнение к моим обильным, но однообразным трапезам в кафе. По моей просьбе мне накрывали в нише, отделенной от основного зала, где меня не доставал шум и дым и где я мог рассчитывать на уединение.

Исследования, которыми я якобы занимался среди руин, позволяли мне наблюдать за Большим Домом, не привлекая излишнего внимания. Я ни разу не видел девушку, хотя несколько раз наблюдал выход правителя, всегда в сопровождении телохранителя. Как правило, он быстро садился в машину и отбывал куда-то на огромной скорости. Я объяснял подобные предосторожности угрозой со стороны политических оппонентов.

Через несколько дней терпение мое кончилось. Я ничего не мог узнать, а времени было в обрез. Она, по-видимому, никогда не покидала стен Большого Дома, а значит, мне следовало проникнуть туда самому. Однако приглашение все не приходило. Я уже начал придумывать повод снова обратиться к правителю, когда за мной явился один из его телохранителей с приглашением на обед. Он перехватил меня в полдень, на улице, когда я шел в кафе. Мне не понравилось ни то, что меня не предупредили заранее, ни само приглашение, более походившее на высочайшее повеление, особенно если учитывать способ доставки. Не приглашение — приказ. Я чувствовал себя обязанным воспротивиться и сказал, что у

меня едва ли получится присоединиться к правителю — нельзя же отменить обед, который уже приготовлен и ждет меня. Не удостоив меня ответом, охранник кого-то окрикнул. Откуда ни возьмись, появилось еще два черных мундира: одного послали объясняться с хозяином кафе, второй остался стоять рядом. Теперь у меня не было выбора, оставалось лишь проследовать с двумя конвоирами к правителю. Я, конечно, был рад, именно этого я и ждал. Но все же я предпочел бы более любезное обращение.

Правитель сразу повел меня в просторную столовую залу с длинным, на двадцать персон, столом. Он величественно занял место во главе, меня усадили одесную. Напротив меня стоял еще один прибор. Заметив мой взгляд, он сказал: "У меня гостит одна молодая особа, ваша соотечественница; я подумал, что вам было бы небезынтересно с ней познакомиться", — и пристально поглядел на меня, я же спокойно отвечал, что почту за честь. Внутри меня все ликовало; это казалось сном, невероятной удачей, избавляющей меня от необходимости просить встречи с нею, что, полагаю, было весьма рискованным предприятием.

Подали сухой мартини в замороженных стаканах. Сразу после этого вошел человек и, прошептав что-то, передал правителю записку. Когда он прочитал несколько слов, лицо его изменилось, он разорвал листок пополам, и еще пополам, и еще — на мельчайшие кусочки. "Молодой особе, оказывается, нездоровится". Пробурчав что-то вежливое, я постарался скрыть разочарование. Он сердито хмурился, никак не мог смириться с малейшим несоответствием его планам и желаниям. Его гнев накалил атмосферу. Он приказал убрать лишний прибор: бокалы, вилки и ножи исчезли со стола. Подали еду, однако он и не думал к ней прикасаться, молча сидел и перемалывал в сжатом кулаке в целлюлозу обрывки записки. Чем откровенней он меня игнорировал, тем больше я раздражался, учитывая безапелляционность, с которой было передано приглашение, его грубость за столом особенно возмущала. Мне хотелось встать и уйти, но я понимал, что разрывать отношения на этой стадии было бы безумием. Чтобы как-то развлечь себя, я стал думать о ней и решил, что сам, возможно, и стал причиной ее отсутствия; она, должно быть, догадалась, кто я, если не знала с самого начала. Я старался представить ее в одиночестве, в бесшумной комнате наверху. Но она рисовалась далекой, как мечта, недосягаемой и нереальной.

Правитель стал постепенно успокаиваться, хотя грозное выражение лица сохранилось. Не желая заговаривать первым, я ждал, когда он вспомнит о моем присутствии. Подали

великолепное каре ягненка, и, пока мы ели, он вдруг поинтересовался ходом моих исследований. "Я заметил, вы проводите их исключительно на руинах в непосредственной близости от моей резиденции". Я был обескуражен. Я не знал, что за мной следят. К счастью, у меня был заготовлен ответ. "Как вы знаете, в этом районе всегда располагались административные здания, поэтому и вероятность найти что-либо интересное именно здесь намного больше, чем где бы то ни было". Он ничего не сказал, но издал звук, какой можно услышать от шахматиста, когда его соперник делает сомнительный ход. Я так и не понял, удовлетворил ли его мой ответ.

Когда подали кофе, к моему удивлению все покинули столовую, оставив нас наедине. Мне было тревожно, я представления не имел, что он хочет сказать мне с глазу на глаз. Настроение его как будто еще больше испортилось; выражение лица было пугающе холодным и отстраненным. Сложно было даже представить, что когда-то он проявлял ко мне дружелюбие. И тут он произнес зловещим голосом: "Те, кто пытается обвести меня вокруг пальца, потом горько об этом сожалеют. Меня не так просто облапошить". Говорил он сдержанно и спокойно, но угроза, которую я почувствовал еще во время нашей первой встречи, теперь прозвучала открыто. Я сказал, что не понимаю, о чем он; что его подозрения беспочвенны. Он пронзил меня долгим пристальным взглядом, и я выдержал его с хладнокровием, которое далось мне с заметным усилием. Вокруг него сгущалась аура опасности и двусмысленности. Я был начеку.

Отодвинув чашку в сторону, он облокотился на стол, приблизил ко мне лицо и, не говоря ни слова, уставился на меня. Взгляд его был на удивление ясным, я чувствовал, что он старается подчинить меня своей воле, и мне стоило большого труда не отвести глаз. Он, наверное, практиковал когда-то гипноз: сопротивление ему требовало непрерывного напряжения всех сил. Я с облегчением вздохнул, когда он слегка отстранился и сказал напрямик: "Я хочу, чтобы вы кое-что для меня сделали". — "Что же я могу для вас сделать?" Я был поражен. "Послушайте. Это маленькая, бедная, отсталая страна, не имеющая никаких ресурсов. В критической ситуации без помощи крупных держав мы погибнем. К сожалению, мы для них слишком малозначительны и особого интереса не представляем. Я хочу, чтобы вы убедили свое правительство, что мы можем оказаться полезны хотя бы с точки зрения географического положения. Полагаю, вы обладаете необходимым влиянием?" Влияние, положим, было; но своей просьбой он застал меня врасплох, ничего подобного я не ожидал. Интуи-

тивно я был против этого. Я начал: "Такого рода консультации совершенно не мой профиль..." — но он нетерпеливо прервал меня: "Я всего-навсего прошу указать вашим политикам на преимущества сотрудничества с нами. Это не так уж сложно. Им нужно всего лишь посмотреть на карту. — Не успел я придумать, что ответить, как он снова принялся давить на меня с возрастающим нетерпением: — Так что, поможете?" Привычка повелевать и магнетизм его личности практически исключали всякую возможность отказа; и я, можно сказать невольно, хмыкнул утвердительно. "Хорошо. Это деловое соглашение. Вы, конечно, получите адекватное вознаграждение. — И, словно скрепляя сделку, он встал, протянул руку и добавил: — Лучше бы вам написать немедленно, чтобы подготовить почву". Он схватил маленький серебряный колокольчик, энергично позвонил, в комнату толпой ввалились люди, он пошел им навстречу, отпустив меня небрежным кивком. Мне было тревожно, он озадачил меня, и я был рад ретироваться. Такой поворот событий мне не понравился, складывалось впечатление, что удача от меня отвернулась.

Через пару дней его большая машина затормозила возле меня, он был в потрясающем меховом пальто. Он хотел поговорить со мной; не соглашусь ли я проехать с ним в Большой Дом? Я сел в машину, и она понеслась к главному входу.

Мы вошли в комнату, где было полно людей, и все хотели с ним поговорить: охрана раздвинула толпу, чтобы мы могли пройти в следующую комнату. Я расслышал, как он пробурчал, прежде чем отпустить своих людей: "Через пять минут я от него избавлюсь". Обращаясь ко мне, он произнес: "Полагаю, вы уже написали куда следует о нашей с вами сделке?" Я пробормотал что-то уклончивое. Резко переменив тон, он рявкнул: "Почтовая служба сообщает, что вы ни с кем не связывались. Я принял вас за человека слова; похоже, я ошибся". Чтобы избежать ссоры, я пропустил оскорбление мимо ушей и миролюбиво ответил: "Я по-прежнему не знаю, какую выгоду мне сулит эта сделка". Он коротко попросил меня выдвинуть свои условия. Я решил говорить откровенно, надеясь, что это несколько умерит его враждебность. "После подобного вступления моя просьба может показаться просто пустячной", — и я улыбнулся, как мне казалось, обезоруживающей улыбкой. "Все до банальности просто: я полагаю, ваша гостья — моя старая знакомая, и я хотел бы с ней встретиться, чтобы окончательно прояснить этот вопрос". Я постарался не проявлять слишком большой заинтересованности.

Он ничего не сказал, но за его молчанием чувствовалась внутренняя борьба. Его отношение к нашей встрече явно изменилось, с тех пор как он предложил познакомить нас за обедом. Теперь я был почти уверен, что он не согласится на эту встречу.

Я вдруг вспомнил о времени и посмотрел на часы. Пять минут почти истекли. Мне совсем не хотелось дожидаться, пока охрана, выполняя приказ, выкинет меня вон, и я стал пробираться к выходу. Он дошел со мной до двери и взялся за ручку, не давая мне выйти. "Она неважно себя чувствует, любая встреча ее волнует. Я спрошу, готова ли она с вами увидеться". Теперь-то я уже был уверен, он не допустит этой встречи. Я снова посмотрел на часы. Осталась одна минута. "Мне действительно пора. Я уже и так отнял у вас слишком много времени". Его неожиданный смех застал меня врасплох; он, должно быть, понимал, что происходит у меня в голове. Настроение его изменилось, он стал вести себя непринужденно. Я снова на мгновение испытал смутное чувство некой внутренней близости между нами. Он открыл дверь и что-то приказал стоящим за ней солдатам, те отдали честь и зашагали по коридору, стуча ботинками по полированному паркету. Он повернулся ко мне и, как бы демонстрируя свою добрую волю, произнес: "Если хотите, можем пойти к ней прямо сейчас. Но сначала мне нужно ее подготовить".

Он отвел меня в переполненную приемную, где на него тут же нахлынула толпа ожидающих аудиенции. Тем, кто поближе, он улыбался и говорил что-то доброжелательное, потом, повысив голос, извинился перед всеми за то, что заставил ждать, попросил потерпеть еще несколько минут и пообещал, что всех примет и должным образом выслушает. После чего прогремел на всю комнату: "А почему не слышно музыки? — и строгим тоном добавил, обращаясь к подчиненному: — Вам известно, что эти люди — мои гости. Уж если им приходится ждать, мы, по крайней мере, должны постараться их развлечь". Звуки струнного квартета начали заполнять пространство и, когда мы вышли, последовали за нами.

Он вел меня мимо стоящих вдоль стен охранников, быстро шагая по извилистым коридорам, бегом преодолевая лестничные пролеты. Я изо всех сил старался поспевать за ним. Он был в значительно лучшей форме, нежели я, и, оглядываясь, посмеивался, ускорял шаг, явно получая удовольствие от демонстрации физического превосходства. Я не слишком доверял его неожиданному добродушию. Но его крепкое, атле-

тическое тело, широкие плечи и гибкая узкая талия вызывали во мне восхищение. Коридоры, казалось, не кончатся никогда. Я выдохся, в итоге ему пришлось меня ждать, стоя на верхней площадке очередной короткой лестницы. Площадка была в глубокой тени, я смог различить прямоугольный проем двери и сообразить, что ступени ведут только в одну комнату.

Он велел подождать, пока он объяснится с девушкой, и добавил с недоброй ухмылкой: "У вас есть время немного отдышаться. — Взявшись за дверную ручку, он продолжил: — Надеюсь, вы понимаете, решение зависит исключительно от нее. Если она предпочтет не встречаться с вами, я ничего не смогу поделать". Он без стука открыл дверь и исчез внутри.

Я остался один, угрюмый и раздраженный. Он обвел меня вокруг пальца. Мне нечего было ждать от разговора с ней в его присутствии. Скорей всего, никакого разговора вообще не будет; либо она сама откажется меня видеть, либо он запретит ей. В любом случае я не хотел объясняться в его присутствии.

Я прислушался, сквозь звуконепроницаемые стены не доносилось ни звука. Через некоторое время я спустился и стал бродить по темным коридорам, пока мне не встретился слуга, указавший дорогу к выходу. Полоса везения, очевидно, закончилась.

Пять

Окно моей комнаты выходило на пустырь, где никто никогда не появлялся. Жилых домов не было, лишь развалины, унылые снега, воды фьорда, еловый лес, горы. Никаких красок, только однотонные оттенки — от черно-серого до мертвенно-белоснежного. Безжизненная в своем покое вода, повсюду ряды черных дерев, словно выстроившиеся солдаты в унылой униформе. Вдруг что-то мелькнуло, красно-синий крик в однотонной серой тишине. Я схватил пальто и, натягивая его на ходу, поспешил к двери; остановился, передумал, вернулся к наглухо закрытому окну. Мне удалось поднять раму, я вылез на улицу, встал на груду обломков, и, отдернув пальцы, захлопнул окно. Поскальзываясь на подмерзшей траве, побежал вниз по склону. Это был кратчайший путь, к тому же я не попался на глаза хозяйке, которая, подозреваю, следила за моими передвижениями. На узкой, идущей по краю фьорда тропинке не видно было ни души, но человек, за которым я

погнался, не мог уйти далеко. Тропинка уходила в лес. Под часто растущими деревьями, чьи черные ветви переплетались с густым подлеском, сразу стало темней и холоднее. Находись рядом со мной хоть двадцать человек, я бы их не заметил, но я прекрасно видел, как серое пальто призраком мелькало меж елей и порой проглядывала его клетчатая подкладка. Голова была непокрыта: светлые волосы поблескивали, как серебряный огонь, как ignis fatuus[1], мерцающий в лесу. Она спешила изо всех сил, желая поскорее выбраться из ельника. В лесу она всегда чувствовала себя неспокойно, он представлялся ей полным тайн и коварства. Растущие слишком близко друг к другу деревья лишали ее сил, превращаясь в сплошную стену. Было уже поздно, солнце село, она зашла в самую чащу – нужно поскорей возвращаться. Она попробовала разглядеть сквозь деревья фьорд и, не сумев, потеряла самообладание, испугалась внезапно и сильно; мысль о том, что ночь застанет ее в лесу, ужасала. Она жила в атмосфере, пропитанной страхом; если б когда-нибудь она познала доброе к себе отношение, все было бы иначе. Деревья, казалось, угрожали, таили злой умысел. Всю жизнь она воспринимала себя как приговоренную жертву, и вот лес стал злой силой, готовой ее истребить. В отчаянии она попыталась было бежать, но споткнулась о невидимый корень и чуть не упала. Ветки цеплялись за волосы, тянули назад и, отпуская, жестоко хлестали. Меж черных иголок сверкали ее серебряные вырванные пряди; они станут метками, по которым пойдут ее преследователи, следами, ведущими к жертве. Она наконец выбежала из леса, но лишь для того, чтобы упереться в поджидающий ее фьорд. От воды поднималась зловещая эманация, нечто первобытное, дикое, требующее жертв, жадное до человечины.

Абсолютная тишина и полное одиночество внушали такой ужас, что она на секунду замерла. С наступлением ночи пейзаж приобрел новые страшные черты. Со всех сторон укрепились многочисленные отряды деревьев, неприступная стена горы ощетинилась стволами. Внизу, превратившийся в невероятный ледяной вулкан фьорд, извергал губительный огонь поглощаемого солнца.

В сгущающихся сумерках можно было ожидать самого страшного. Страх охватил ее, она старалась не смотреть на поднимающиеся из воды призрачные фигуры, но, чувствуя, как они скользят к ней, в панике бросилась прочь. Одна из

1. Блуждающий болотный огонек (*лат.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

них нагнала ее и окутала, как эктоплазмой, мягкими, липкими путами. Подавив бешеный крик, она вырвалась и побежала слепо, наугад, неистово, задыхаясь. Сознание заблокировал кошмар, думать она не могла. В свете последнего угасающего луча она споткнулась о невидимые камни, поранив колени и локти. Шипы раздирали ее одежду, царапали лицо. Тонкий лед, окаймлявший берег фьорда, треснул, и она промокла в ледяной воде. Каждый вздох приносил боль, как будто в грудь вонзался острый нож. Она не осмеливалась ни на секунду остановиться или хотя бы замедлить бег, принимая громкие удары собственного агонизирующего сердца за шаги преследователей. Вдруг она поскользнулась на насте, не смогла удержаться, и упала лицом в сугроб. Снег забил рот, все кончено, она больше не встанет и уже никогда не побежит. Но судорожно напрягшиеся мускулы безжалостно вздернули ее на ноги, требуя продолжить борьбу за существование. Постоянные издевательства, которым она подвергалась, когда была более всего уязвима, исказили саму структуру ее психики, превратили в жертву, предназначенную к уничтожению, и не важно, обстоятельствами или людьми, фьордами или лесами — в любом случае избежать этого она не могла. Нанесенный ей непоправимый вред уже давно предопределил ее судьбу.

Вверху виднелась черная как смоль скала, холм, гора, неосвещенная крепость, подпираемая штыками черных елей. Ее слабые руки слишком сильно дрожали, чтобы справиться с дверью, но судьба затащила ее внутрь.

Растянувшись на своей кровати, она ощущала, что враждебный, чуждый, мерзлый мрак прижался к стене, как ухо подслушивающего врага. В полнейшей тишине и одиночестве она лежала, смотря в зеркало, и ожидала своей участи. Осталось уже недолго. Она знала, что в звуконепроницаемой комнате, куда никто не придет ее спасти, должно произойти страшное. Комната — ее враг, и так было всегда. Она всегда понимала, что стены не защитят ее, чувствовала их холодную враждебность, разлитую в воздухе. Она ничего не могла поделать, ей не к кому было обратиться за помощью. Ей, покинутой, беспомощной, оставалось лишь ждать конца.

В комнату без стука вошла женщина и остановилась в дверях; красивая, отталкивающая, одетая во все черное, высокая и грозная, как дерево, она вела за собой сонм неясных очертаний, которые держались в тени позади нее. Девушка сразу узнала своего палача, чью враждебность всегда ощущала, но не понимала; будучи слишком невинной, или же слишком погруженной в мир своих фантазий, она не могла пред-

положить очевидное. И вот теперь два холодных, ярких, безжалостных, нашедших свою жертву глаза отразились в прозрачных глубинах зеркала. *Ее* широко распахнутые глаза были черны от ужаса, два глубоких колодца страха, интуитивно предвидевшие кошмар. Потом сознание неотвратимости неизбежного победило; пережив регрессию, она снова стала покорным, забитым ребенком, запуганным постоянным дурным обращением. Оробевшая, она покорилась командному тону женского голоса, поднялась и нетвердыми шагами сошла с помоста. Лицо ее было бледнее бумаги. Ее схватили за руки, она вскрикнула, слабо забилась. Рот зажали ладонью, связали руки за спиной, со всех сторон подхватили, поволокли прочь из комнаты.

В лесу становилось все темнее, я уже не различал очертаний тропинки. В итоге я потерял дорогу и вышел в другом месте, ближе к стене. Ее прочность и отсутствие трещин произвели на меня впечатление. На стене темнели контуры часовых, двое из них двигались навстречу друг другу и должны были пересечься прямо надо мной. Я застыл в тени черных деревьев, рассчитывая остаться незамеченным. Они громко топали, лютый мороз усиливал звуки. Они встретились, щелкнули каблуками, обменялись паролем, разошлись. Я пошел дальше, и шаги их стали стихать. У меня возникло удивительное ощущение, что я живу одновременно в нескольких измерениях; и измерения эти, находя одно на другое, создавали невообразимую путаницу. Вокруг огромные, как дома, валуны, напоминавшие головы казненных великанов, лежали на том же месте, где когда-то остановились, скатившись с гор. Вдруг я услышал голоса, оглянулся, но никого не увидел. Звук, похоже, раздавался из-за валунов, и я пошел разведать. В синих сумерках желтым цветком расцвел источник света: передо мной был уже не кусок скалы, а деревянный дом. Внутри переговаривались люди.

Послышались крики, удары, испуганное ржание лошадей — все голоса сражения. Полетели стрелы, замолотили палицы, заскрежетало, забряцало железо. Странно одетые мужчины волнами пошли на приступ; ловкие, как гориллы, они взбирались на стену, цепляясь ногами и руками, держа сабли в зубах. Их были тысячи, и сколько бы ни сбрасывали их со стен, тут же подступала новая волна. Когда все защитники были истреблены и вторая линия обороны отброшена в глубь города, захватчики, оказавшиеся внутри, открыли ворота, и войско хлынуло, как океанский прилив. Жители забаррикадировались в своих домах, в городе царил хаос. На узких улицах шел рукопашный бой, свирепые, бессмыслен-

ные вопли, похожие на крики диких животных, эхом отдавались от стен. Пришельцы, заливая вино в глотки, носились по городу, как безумные, и рубили все, что им попадалось на пути — мужчин, женщин, детей, животных. Вино, смешиваясь с потом и кровью, струилось по лицам, делая их похожими на демонов. Пошел мелкий снег: это возбудило их еще больше, они смеялись как безумные, стараясь поймать ртами падающие снежинки. У всадников были длинные пики, украшенные вымпелами или перьями. На острие были насажены отрубленные головы, среди которых попадались детские и собачьи. Повсюду бушевали огромные костры, было светло, как днем. В воздухе пахло гарью, обуглившимся деревом и старой пылью. Людей выкуривали из домов и рубили саблями. Многие предпочитали погибнуть в огне.

Оружия у меня не было, и я стал искать, чем бы защититься. Я был на улице, перегороженной баррикадой из наваленных друг на друга лошадиных трупов, среди которых виднелся убитый всадник вместе с лошадью. Он не успел даже вытащить саблю из ножен, украшенных замысловатым узором, гравировкой тончайшей работы. Я потянул за эфес, но клинок заклинило, и я не сумел его вытащить. Трупы животных накиданы были в безумной спешке, от моих настойчивых усилий конструкция расшаталась; несколько тушь сползло, образовалась брешь. Не успел я восстановить баррикаду, как на улицу с громким топотом выскочил отряд всадников; они размахивали пиками, выкрикивая что-то бессмысленное. Я бросился навзничь, в надежде, что меня не заметят, но готовясь к худшему. Подскакав к баррикаде, один из них вонзил пику в мертвое тело всадника с такой силой, что труп свалился на меня, и, по всей вероятности, спас мне жизнь. Я лежал не шелохнувшись, пока всадники на бешено вращающих налитыми кровью глазами лошадях не пронеслись мимо.

Когда они скрылись, я скинул с себя труп и отправился на поиски девушки. Надежды найти ее было мало; участь девушек в разграбленном городе известна. Сабля высвободилась, я легко вынул ее. Я не умел обращаться с подобным оружием и потренировался на лежащих вокруг телах. Сабля была тяжелая и управиться с ней было непросто, однако я понемногу к ней приноровился, приобретя столь необходимую мне уверенность в собственных силах. На меня никто не нападал. Бои шли на нижних улицах вокруг фортов гавани, которые, видимо, еще держали оборону. Едва завидев кого-нибудь, я прятался, стараясь быть незаметным в общей суматохе. Большой Дом сгорел, остались только стены, от которых к небе-

сам вздымались языки пламени и клубы дыма, внутри все полыхало. Я подошел как можно ближе, но дым и нестерпимый жар заставили меня ретироваться. Пробраться внутрь было нереально. В любом случае в таком аду никто б и не выжил. Лицо мое было в ожогах, тлеющие в волосах искры я стряхивал руками.

Я наткнулся на нее по чистой случайности, она лежала ничком, лицом на камнях. Изо рта стекала тонкая струйка крови. Шея была неестественно выгнута; живая девушка не могла бы повернуть голову под таким углом — шею сломали. Ее тащили за волосы: от грязных рук скрутивших их в подобие каната, они потускнели, утратили свою серебристую яркость. На спине виднелись свежие пятна крови — влажные, ярко красные; кое-где на белой плоти чернела уже запекшаяся кровь. С особым вниманием я рассмотрел руку, на которой четко вырисовывались закругленные следы зубов. Предплечье было сломано, острые обломки костей проткнули кожу и торчали под прямым углом к запястью. Я почувствовал себя обкраденным: только я мог с нежной любовью крушить ее кости; лишь мне позволено было наносить ей увечья. Я нагнулся и прикоснулся к холодной коже.

Я подошел к коттеджу и заглянул в окно, стараясь, чтобы меня не заметили. В маленькой задымленной комнате собралась большая компания, красные отблески пламени камина на лицах напоминали средневековые изображения ада. Сначала я ничего не мог разобрать — все говорили одновременно. Я узнал одну женщину, она была необычайно высокой и отталкивающе красивой — я видел ее в Большом Доме. Она стояла рядом с мужчиной, которого называла отцом, он же сидел прямо на подоконнике, и, оттого что он был ко мне ближе всех, первыми я расслышал именно его слова. Он рассказывал легенду о фьорде: каждый год во время зимнего солнцестояния дракону, живущему в его глубинах, нужно было приносить в жертву прекрасную девушку. Когда он перешел к описанию самого ритуала, голоса постепенно смолкли. “Мы развязываем ее, как только доводим до скалы. Она должна слегка отбиваться, иначе дракон подумает, что мы хотим подсунуть ему мертвую девушку. Вода начинает бурлить и пениться. Появляется покрытое чешуей змеевидное тело чудовища. И тут мы скидываем ее вниз. Весь фьорд превращается в сплошной водоворот, во все стороны летят брызги крови и пена”.

Последовало живое обсуждение жертвоприношения, люди высказывали свое мнение с таким видом, будто речь идет о футбольном матче с командой соседнего городка. Кто-то

сказал: "У нас не так много симпатичных девушек, чтоб разбрасываться ими направо и налево. С какой стати мы должны приносить их в жертву дракону? Не лучше ли пожертвовать незнакомкой, девушкой-иностранкой, которая ничего не значит ни для кого из нас". Тон его предполагал, что он говорит о конкретном человеке, известном всем присутствующим. Отец стал возражать, но дочь заставила его замолчать, разразившись страстной тирадой, из которой я смог уловить лишь отдельные фразы. "Бледные девицы и такие чистые, будто сделаны из стекла... разбить их вдребезги... И я *разобью* ее..." В конце она прокричала: "Я сама скину ее со скалы, если ни у кого из вас не хватит на это духу!"

Я ушел оттуда в ужасе. Эти люди — хуже дикарей. Лицо и руки у меня занемели, я был на грани обморожения и никак не мог взять в толк, чего ради я так долго стоял и слушал их бредни. Появилось смутное ощущение, что со мной что-то не так, однако я не мог понять что именно. Я забеспокоился, но потом забыл об этом. В небе ярко сияла маленькая холодная луна, в подробностях освещая пейзаж. Фьорд я узнал, а вот берег нет. Прямо из воды росли высокие отвесные скалы, поддерживающие плоскую каменную платформу, похожую на вышку для ныряния. Показались какие-то люди, они тащили девушку со связанными руками. Когда они проходили мимо, я успел заглянуть в ее жалкое бледное личико: жертвенное дитя, запуганное и обманутое. Я рванул вперед, попытался добраться до нее, разрезать веревки. На меня набросились. Я отбросил одного, снова попытался приблизиться к ней, но ее утащили. Я поспешил за ними, крича: "Убийцы!" Но не успел, они уже тащили ее на скалы.

Я стоял рядом с ней на каменной платформе высоко над фьордом. Мы были одни, хотя едва различимый гул голосов подразумевал присутствие множества наблюдателей. Меня это не волновало. Мое внимание было сосредоточено на дрожащей скрюченной фигурке, покорно глядевшей вниз на темную воду. В свете луны ее волосы блестели, как алмазная крошка. Она не смотрела на меня, но я видел ее лицо, которое и всегда-то было бледным, теперь же выцвело до крайнего предела. Я заметил, как она исхудала, и подумал, что мог бы обхватить двумя ладонями ее грудную клетку, в которой еще билось сердце. Кожа была цвета белого шелка, в ярком лунном свете она почти не отбрасывала тень. Опоясывающие запястья отметины от веревок, при дневном свете красные, сейчас казались черными. Я представил, каково это схватить ее за запястья так, сжать ее тонкие косточки.

Нагнувшись, я тронул ее холодную кожу, неглубокую впадину на ее бедре. В ложбинку между грудей падал снег.

Подошли вооруженные мужчины, отпихнули меня, схватили ее за хрупкие плечи. Из глаз ее закапали крупные слезы, похожие на сосульки, на алмазы, но меня они не тронули. Они не были похожи на настоящие слезы. Да и сама она казалась ненастоящей. Бледная, почти прозрачная жертва, вид которой так возбуждал меня в моих грезах. Стоящие за мной люди ворчали от нетерпения. Мужчины не стали более ждать и скинули ее вниз, и ее жалобный крик полетел вслед. И ночь взорвалась, как бумажный пакет. Брызнули огромные струи, бешено забились волны, разлетаясь каскадами брызг. Не обратив внимания на окативший меня ледяной душ, я склонился над краем платформы и увидел всплывающие в бурлящей воде чешуйчатые кольца, в которых судорожно билось что-то белое, пока не лязгнули покрытые броней челюсти.

Я спешил вернуться домой. Стопы и пальцы уже занемели, лицо окоченело, от холода начинала болеть голова. Слегка оттаяв в своей комнате, я принялся писать. Основной моей темой, естественно, оставались индри, но я по-прежнему старался придерживаться версии о своем интересе к истории города, что-то записывая о нем. Я не думал, что люди из службы безопасности станут утруждать себя чтением моих записей, впрочем, ничто не мешало им делать это, пока меня нет дома. По-детски простая система кодирования, которой я пользовался, перемежая предложения, касающиеся лемуров, заметками про местные дела, по крайней мере, должна была запутать хозяйку, которая повсюду совала нос.

Описывая эти нежные таинственные поющие существа, я получал огромное удовлетворение и по ходу работы проникался к ним все большей симпатией. Их чарующие потусторонние голоса, их веселость, доброта, невинность стали для меня символом жизни, какой она могла бы стать, если б можно было изжить свойственные человеку жестокость, насилие, страсть к разрушению. Обычно я получал удовольствие от самого процесса письма, предложения складывались без усилий, будто самостоятельно составлялись в моей голове. Однако теперь все было иначе, я не мог найти нужных слов: я видел, что выражаюсь недостаточно ясно, что память меня подводит, и через несколько минут отложил ручку. Перед глазами всплыла картина собравшихся в дымной комнате людей, и я решил, что должен довести до сведения правителя все, что подслушал. В то же время воспоминания

об этой сцене были на удивление смутными, словно все это мне приснилась. Когда же у меня мелькнула мысль, что девушке, вполне возможно, угрожает реальная опасность, я не смог в это поверить. И, тем не менее, встал, чтобы пойти к телефону. Затем удерживаемый свойственными мне сомнениями, я вспомнил о женщине, которая, вероятнее всего, постарается подслушать каждое слово, и решил позвонить из кафе.

Когда я вышел из дома, ощущение нереальности стало непреодолимым. Все вокруг было видно, как днем, из-за яркого бесцветного свечения, источник которого я был не в состоянии локализовать. Еще больше я поразился, когда заметил, что в этом непонятном свете можно разглядеть детали, обычно невидимые невооруженному глазу. Шел легкий снег, и сложная структура каждой снежинки видна была с кристальной четкостью — хрупкие звезды и соцветия, различимые до мельчайших подробностей и яркие, как драгоценные камни. Я оглянулся, ожидая увидеть привычные руины, но их не было. Я уже привык к царившему здесь запустению, но теперь все было по-другому. От разрушенного города не осталось и следа; все распалось на части, которые уже успели разровнять, как будто пройдясь по ним гигантским паровым катком. Один или два вертикальных фрагмента оставили словно специально, чтобы подчеркнуть, что все остальное сровняли с землей. Как во сне я шел по городу, в котором не видно было ни живых, ни мертвых. Воздух был полон сладковатого, не без приятности запаха, которым уже пропахли мои руки и одежда, и я решил, что это какой-то газ. Меня удивило отсутствие пожаров; нигде ничего не горело, не было заметно и дыма. Только сейчас я обратил внимание на тонкие струйки белой молочной жидкости, которые, просачиваясь меж обломков, собирались в лужи. Белые озерца непрестанно ширились, по мере того как жидкость разъедала материю, поглощая все, к чему бы ни прикасалась; таким образом, утилизация всей массы обломков была уже делом времени. Я остановился, чтобы понаблюдать за процессом, зачарованный поразительной практичностью и тщательностью такого метода расчистки.

Я вспомнил, что нужно найти девушку и принялся искать ее меж камней. Мне показалось, я увидел ее далеко-далеко, крикнул, побежал; но она словно испарилась. И тут же возникла вдали, как мираж; и снова исчезла. Из развала дома торчала девичья рука; я взялся за запястье, мягко потянул; отделившись, она осталась у меня в руке. Неожиданно за моей спиной послышались какие-то звуки, я быстро развернулся и

разглядел живые существа, которые плавно скользили и издавали трели. Выглядели они необычно и, лишь отчасти напоминая людей, больше походили на мутантов из фантастических рассказов. Они не обратили на меня никакого внимания, и я поспешил убраться восвояси.

Я пошел туда, где повсюду лежали трупы, остановился, чтобы посмотреть, нет ли ее среди них. Тщательно рассмотрел ближайшее ко мне тело. Его невозможно было опознать, так как скелет и то, что осталось от плоти, теперь стали фосфоресцирующими. Разглядывать остальных было бессмысленной тратой времени, поэтому я удалился.

Шесть

Хозяйка слышала, как я проходил мимо ее комнаты и высунулась с недовольным видом. Я сделал вид, что не заметил ее, и поспешил дальше, но наружняя дверь не открылась, упершись в какое-то препятствие. Я толкнул посильнее, сталкивая навалившийся перед ней сугроб, и ледяной ветер пробрался внутрь дома, хлопнув чем-то за моей спиной. Раздался сердитый крик: "Смотри, что творишь!" — который я оставил без ответа.

Выйдя на улицу, я поразился количеству выпавшего снега. Это был другой город — призрачный и совершенно белый. В свете слабых фонарей видно было, как изменились под толстым покровом очертания руин, сгладились контуры, разрушения перестали бросаться в глаза. Из-за снегопада здания лишились материальности, массивности, конкретного расположения: у меня снова возникло впечатление, что все здесь сплошь из нейлона, за которым — ничего. Сначала в воздухе плавало только несколько снежинок, потом пролетел белый вихрь, сильный ветер погнал поземку. Я склонил голову под ледяным порывом и увидел, как маленькие сухие снежинки кружились вокруг моих ног. Снегопад усилился, мело уже непрестанно, воздух стал белым от снега; я уже не видел, где нахожусь. Изредка мне удавалось на секунду хоть что-то разглядеть, и места представлялись мне смутно знакомыми, но какими-то искаженными, нереальными. Нереальность внешнего мира казалась своеобразным продолжением моего собственного, пребывавшего в серьезном расстройстве сознания.

С трудом собравшись с мыслями, я вспомнил, что девушка в опасности и нужно ее предупредить. Я бросил попытки отыскать кафе и решил направиться прямо к правителю. На-

висающую над городом, похожую на крепость громадину его дома я еще мог различить.

Кроме главной площади, все улицы с наступлением темноты пустели, и я был крайне удивлен, увидев, что впереди меня на крутой холм взбирается немало людей. В следующую минуту я услышал разговор о каком-то банкете или праздновании в Большом Доме, которое очевидно должно было скоро начаться, но не придал этому особого значения. Ко входу я подошел с отставанием всего в несколько ступенек от ближайшей группы, чему был весьма рад, потому что без них я не был бы уверен, что пришел куда надо — под снегом все выглядело совсем иначе. Два холма по обе стороны могли оказаться артиллерийскими орудиями, но были вокруг и другие белые насыпи, объяснить происхождение которых я был не в состоянии. С фонаря возле громадной входной двери свисали грозди длинных острых, как сабли, сосулек, злобно искрящиеся в тусклом свете. Когда пропускали тех, кто был передо мной, я сделал шаг и вошел вместе с ними. Охрана, скорее всего, пропустила бы меня и одного, но я решил, что так будет проще.

Никто не обратил на меня ни малейшего внимания. Меня, должно быть, узнали, но никто не подал виду, и я тем больше терял контакт с действительностью, чем больше знакомых лиц проходило мимо, даже не взглянув на меня. В огромном мрачном пространстве было уже полно народу, группа, с которой я зашел, была, должно быть, одной из последних. Если это и был праздник, то чрезвычайно унылый. Лица у всех были как обычно суровые; никто не смеялся, не перебрасывался шутками. Если кто и разговаривал, то настолько тихо, что расслышать что-либо было невозможно.

Перестав разглядывать присутствующих, я стал размышлять, как добраться до девушки. Правитель довел меня однажды до двери в ее комнату, но я знал, что никогда бы не нашел ее без проводника. Мне нужен был помощник. Размышляя, к кому бы обратиться, я расхаживал из комнаты в комнату, пока не обнаружил себя в огромном сводчатом зале, где накрытые столы на козлах были заставлены кувшинами и бутылками с вином и прочим спиртным и огромными блюдами с мясом и хлебом. Стоя в темном углу, где никто не мог меня заметить, я смотрел, как слуги вносят новые блюда и расставляют их по столам. Несмотря на лихорадочную тревогу за девушку, вместо того чтоб пытаться ее разыскать, я стоял, не предпринимая ровным счетом ничего, ощущая странную раздробленность собственных мыслей и чувств.

Вспыхнули сотни факелов, осветив огромный зал, убранный для банкета в честь празднования победы. Я с одним из своих помощников пошел взглянуть на пленных. То была традиционная привилегия командующего, таков порядок. Женщины сгрудились за ограждением. Они и так старались держаться подальше от всех, но, увидев нас, умудрились буквально вжаться в стену. Они не казались мне привлекательными. Я не мог отличить одну от другой; от страданий они сделались все на одно лицо. В других концах зала было шумно, здесь же — тишина: ни мольбы, ни жалоб, ни проклятий; только уставившиеся на тебя глаза да красные блики от факелов на обнаженных руках и грудях.

Факелы, по нескольку в одной связке, как ракеты, крепились к огромным колоннам, поддерживающим высокий сводчатый потолок. Прислонившись к одной из колонн, чуть поодаль от всех стояла молодая девушка, и только блестящие волосы прикрывали ее наготу. Надежда умерла в ее душе, отчего белое лицо казалось абсолютно спокойным. Почти ребенок, она не видела нас; глаза ее были устремлены глубоко внутрь собственных грез. Руки, словно ободранные прутики, ниспадающие серебристые волосы... молодая луна среди туч... мне захотелось остаться и смотреть на нее. Но пришел эскорт, чтобы проводить меня в мэрию.

Его ослепительный золотой трон украшали выгравированные изображения героев, его предков, и их деяний. Его роскошная, подбитая соболем и вышитая золотом, мантия ниспадала на колени величественными и незыблемыми скульптурными складками. От факелов летели искры, согревая холодную бледность его длинных, тонких, беспокойных рук. Синий пламень глаз был той же породы, что и синие вспышки огромного перстня на его руке. Что это за камень, мне было не известно. И глаза, и руки находились в постоянном движении. Он не позволял мне отойти, и все время держал подле себя. Я привел армию к победе, за что он и наградил меня ослепительным орденом, который мне был ни к чему: их и так было у меня слишком много. Я сказал, что мне нужна только девушка. Все вокруг ахнули и застыли в ожидании. Я был спокоен. Полжизни я уже прожил и повидал ровно столько, сколько хотел. Война мне осточертела, мне надоело служить переменчивому и опасному хозяину, который любил лишь войну и убийства. В том, как он вел войны, было какое-то безумие. Ему недостаточно было просто победить. Он жаждал войны до полного уничтожения, враги должны были быть вырезаны все до последнего, чтоб ни один не остался в живых. Он хотел убить меня.

Но хотя он не мог жить без войны, спланировать сражение или взять приступом город он был не способен; это должен был делать я. Он не мог убить меня. Ему хотелось пользоваться плодами моего военного искусства, и ему хотелось видеть меня мертвым. Сейчас он бросил на меня убийственный взгляд, но от себя не отпустил, одновременно кивком головы подозвав всех, кто стоял вокруг. Тут же образовался узкий льстивый круг, и единственной прорехой в нем был я. Под моей рукой проскользнул, вклинился маленький человечек и поднял длинноносое лицо, готовый вцепиться, как злобный пес, рычащий в угоду хозяину. Круг замкнулся, но я все еще видел синие вспышки кольца, жестикуляцию беспокойных рук, тонкие белые пальцы с длинными острыми ногтями. Он как-то странно загнул пальцы, как упырь, синий камень держался на нижней фаланге. Он отдал приказы, которых я не смог расслышать. Еще недавно он расточал похвалы моей доблести и отваге, сулил немыслимые награды, я был его почетным гостем. Я достаточно хорошо его знал, чтобы представить себе, какую награду он предложит мне теперь. Я уже приготовился.

Шестеро гвардейцев притащили ее, завернутую в солдатский плащ. Их обучили не оставлять синяков. Я этому не учился, и теперь не мог понять, как это у них получается. Последовала секундная пауза. Может, в конце концов, он все-таки способен на великодушие... в подобных обстоятельствах это казалось вполне вероятным.

Потом я увидел, как он протягивает к ней руку, скрученные хищные пальцы, увенчанные синим пламенем. Когда огромное кольцо, зацепившись, выдрало ей несколько волос, она вскрикнула тихо, подавленно: то был единственный раз, когда я слышал ее голос. Затем ее бросили ему в ноги, послышался слабый лязг кандалов на щиколотках и запястьях. Я стоял не шелохнувшись, смотрел, и мое лицо ничего не выражало. Холодный, жестокий, безумный убийца; мягкое девичье тело и мечтательные глаза... как грустно, как жаль...

Я решил обратиться к одному из слуг, которые по-прежнему суетились вокруг длинных столов. Я наблюдал за деревенской девчушкой, она была моложе их всех, медлительная, неуклюжая, сразу видно — новенькая. Выглядела она напуганной, забитой, все ее дразнили, шлепали по заду, глумились, обзывали слабоумной. Она уже была готова разреветься, все время допускала ошибки, я видел, как она несколько раз что-то уронила. У нее, наверное, было плохое зрение. Я встал в дверях, через которые она ходила, схватил ее и оттащил в сторону, зажав рукой рот. К счастью, в кори-

доре никого не было. Пока я говорил, что не причиню ей зла, что только хочу помочь, она с ужасом смотрела на меня, и покрасневшие глаза ее наполнялись слезами. Она моргала, дрожала, казалось, она настолько глупа, что ей ничего невозможно растолковать. Времени не было, с минуты на минуту ее хватятся, но она молчала как рыба. Я то ласково ее уговаривал, то давил на нее, то встряхивал, то показывал пачку денег. Все без толку, абсолютно никакой реакции. Добавив еще денег, я сунул их ей под нос и сказал: "Вот твой шанс убежать от людей, которые так плохо к тебе относятся. С этой суммой в кармане ты долго сможешь не работать". Наконец, она сообразила и согласилась отвести меня в ту комнату.

И мы пошли, но она все медлила, и я стал подумывать, а знает ли она вообще дорогу. Нервы мои были на пределе, мне хотелось ее ударить, сдерживать себя становилось все труднее. Я боялся опоздать. Сказал, что должен говорить с правителем, что на празднике сделать это будет невозможно, и с облегчением услышал, что он никогда не приходит к самому началу, но появляется только часа через два, когда все уже поели и выпили. Наконец, я узнал те самые крутые ступени. Она указала на дверь, схватила деньги, которые я держал в руке, и метнулась обратно тем же путем, которым мы пришли.

Я поднялся и открыл единственную дверь. В звуконепроницаемой комнате было темно, лишь из алькова падал тусклый свет. Я увидел девушку, она лежала на кровати полностью одетая, рядом — книга; она читала и заснула. Я тихо произнес ее имя. Она начала подниматься, блестя волосами. "Кто это?" В голосе слышался страх. Я подвинулся так, чтобы тусклый свет падал мне на лицо. Она сразу узнала меня: "Что вы здесь делаете?" Я сказал: "Вы в опасности. Я пришел, чтобы забрать вас отсюда". — "Но почему я должна идти с *вами*?" Она была крайне удивлена. "Какая разница..." Звук мы услышали одновременно: на лестнице послышались шаги. Я сделал шаг назад, застыл, затаил дыхание. Слабый свет с лестницы погас. Спрятавшись в тени, я был в полной безопасности, если только она не выдаст меня.

Грубые мужские руки схватили ее. "Быстро надевай верхнюю одежду. Мы уезжаем. Прямо сейчас", — сказал он тихим безапелляционным тоном. "Уезжаем?" Она уставилась на него, он виделся ей тенью, чернеющей на темном фоне, холодные губы зашептали: "Зачем?" — "Не задавай вопросов. Делай, что говорят". Она покорно встала, поежилась от сквозняка из двери. "Как прикажешь найти что-нибудь в такой темноте. Свет мы можем включить?" — "Нет,

могут увидеть". Он сверкнул фонариком и, увидев, что она взяла гребень и стала расчесывать волосы, выхватил его. "Брось! Надевай пальто – живо!" Его раздражительность и нетерпение лишь провоцировали ее медлительность и неуклюжесть. Передвигаясь по комнате на ощупь, она нашла пальто, но не смогла надеть, так как держала вверх тормашками. Он злобно схватил его, перевернул, запихнул ее руки в рукава. "Идем! Только ни звука. Никто не должен знать, что мы ушли". – "Куда мы идем? Почему мы уходим так поздно?" Ответа она и не ожидала, и когда он пробурчал: "Это единственный шанс", – и добавил что-то про надвигающийся лед – засомневалась, правильно ли расслышала. Он схватил ее за руку, потянул за собой по комнате к лестнице. Луч фонаря, периодически пронзая кромешную тьму, высвечивал его непомерно разросшуюся, нависающую над ней тень, за которой она брела будто во сне через все разветвления огромного здания в ледяную снежную ночь.

Шел сильный снег, но на черной машине не было ни снежинки; кто-то ее явно только что почистил, хотя вокруг не было ни души. Поеживишись, она села в машину и молча ждала, пока он наспех проверял цепи на колесах. Под окнами девственно белый цвет пятнали желтые неправильной формы четырехугольники; в льющемся из дома свете снег превращался в золотой дождь. Беспорядочный шум из столовой залы, голоса, звон тарелок заглушал звук заводящегося мотора, и она спросила: "А как же люди, которые ждут тебя? Ты к ним не выйдешь?"

Он и так был в состоянии крайнего нервного напряжения, и этот вопрос вызвал у него взрыв раздражения, он оторвал руку от руля, замахнулся на нее. "Я велел тебе молчать!" Голос был страшен, глаза сверкали в темном салоне машины. Она отпрянула, чтобы избежать удара, но, оставаясь в пределах досягаемости, пригнулась и прикрылась рукой, а когда кулак по касательной задел ее плечо и вмял в дверь, не издала ни звука; а потом так и сидела, свернувшись клубочком, прячась от его молчаливой ярости.

Приглушенная снегом тишина снаружи; глухая тишина внутри. Он вел машину, не включая фар, его глаза, как у кошки, видели в снежной мгле. Машина-призрак, невидимая и беззвучная, летела прочь от города развалин. Древние фортификации становились все меньше, исчезая под снегом, проломленные стены остались позади. Впереди чернела живая стена леса, и призрачная белизна парила над его кронами, как пена, которую ветер сдувает с рассеченной волны. Она ждала, когда черная масса с грохотом обрушится на них,

но никакого грохота не было, только снег и безмолвный лес за бортом, а в машине — только его молчание, и ее дурные предчувствия. Он ни разу не заговорил, не посмотрел на нее, гнал мощную машину по замершей дороге, на скорости преодолевая препятствия, словно силой воли вписываясь в повороты. От резких маневров ее кидало в разные стороны; чтобы удержаться на сиденье ей не хватало веса. Когда ее бросило на него, то, невольно коснувшись его пальто, она отскочила, как от огня. Он как будто и не заметил. Она чувствовала себя забытой, покинутой.

Это невероятное бесконечное бегство было для нее непостижимым. Не кончался бескрайний лес. Не прерывалась тишина. Снег перестал, но теплее не стало, морозило даже сильнее, как будто под черными деревьями стыли их черные ледяные выделения. Немало часов прошло, прежде чем слабый свет начал с неохотой просачиваться сквозь крышу ветвей, освещая лишь мрачные ельники, где смешались деревья живые и мертвые и в ветвях часто попадались мертвые птицы, словно специально пойманные в сети. Вздрагивая, она узнавала себя в этих мертвых птицах. Это она попала в капкан, свитый из черных ветвей. Со всех сторон ее окружали армии деревьев, марширующих сразу во всех направлениях. В стекло снова полетел снег, размахивая белыми флажками. Она сдалась уже давным-давно. Не понимала, что происходит. Машина подпрыгнула, ее подбросило, и она больно ударилась посиневшим плечом, безуспешно попытавшись защитить его рукой.

Весь короткий день он проехал на большой скорости, без остановок. Ей казалось, что эта ужасная поездка в тусклом свете длится всю жизнь и ничего другого она не знала, кроме тишины, холода, снега, надменной фигуры за рулем. Холодные глаза изваяния, глаза Меркурия, ледяные, гипнотические, наводящие страх. Лучше б он ее ненавидел. Так было бы проще. Деревья поредели, неба стало чуть больше, а с ним и последних уходящих лучей. Вдруг она с удивлением увидела две деревянные хижины и между ними ворота, перекрывающие дорогу. Проехать можно, только если ворота откроют. Она смотрела, как укрепленные металлическими пластинами и колючей проволокой створки несутся им навстречу. Машина врезалась с жутким сокрушительным грохотом, полетели щепки, оторванные детали, пронзительно заскрежетал металл по металлу. Ее окатило осколками, она инстинктивно пригнулась, и длинный острый кусок стекла пролетел прямо над ее головой. Машина встала на два колеса — вот-вот перевернется. В последний момент каким-то чудом, умением, мо-

щью, а может, просто силой воли, водитель сумел поставить автомобиль обратно на обе оси и повел дальше, как ни в чем не бывало.

Воздух за ними взорвался криками. Прозвучало несколько выстрелов, но ни один не достиг цели. Оглянувшись, она увидела бегущие мундиры; и все волнения стихли, остались позади за черными деревьями. По эту сторону границы дорога стала лучше, машина шла быстрее и мягче. Она подвинулась, уклоняясь от ледяного ветра, врывавшегося в разбитое окно, стряхнула с колен осколки. На запястьях была кровь, на обеих руках порезы, она смотрела на них словно со стороны.

Я бежал по лестницам и коридорам. Завидев входную дверь, спрятался в тени и стал наблюдать за охраной. Из залы доносились звуки праздника, стало оживленнее, по-видимому, выпили уже достаточно. Кто-то с другого конца промерзлого коридора окликнул гвардейцев. Посовещавшись, они оставили свой пост и, пройдя совсем близко от меня, присоединились к остальным. Никем не замеченный, я проскользнул в дверь, которую они должны были охранять.

Шел сильный снег. Я едва мог различить ближайшие от меня развалины, белые статичные тени за движущейся полупрозрачной тканью в белую крапинку. Возле горящих окон снежинки желтели и напоминали пчелиный рой. На заснеженных просторах темнело место, где стояла машина правителя. Я сообразил, что ряды сугробов это, должно быть, машины, принадлежащие его домочадцам, и пошел, утопая в глубоком снегу. Дернул дверцу первой машины, она оказалась не заперта. Машина была погребена, снег забился в колеса, завалил лобовое стекло. Целый сугроб обрушился на меня, когда я открыл дверь; когда пытался очистить стекло, в рукава забился снег. Я думал, она никогда не заведется, но машина наконец медленно двинулась вперед. Я аккуратно надавил на газ, так, чтобы шины схватывали снег, и поехал по едва заметному следу машины правителя, который очень быстро заносило. За пределами стены его уже было практически не видно. Окончательно потеряв след на опушке леса, я наехал на дерево, содрав кору. Машина остановилась, отказываясь ехать дальше. Колеса проворачивались и без толку месили снег. Как только я вышел, с веток осыпался целый сугроб. В две секунды моя одежда покрылась коркой подтаявшего снега. Я наломал еловых веток, бросил их под колеса, сел в машину и снова запустил двигатель. Это не помогло; шины не схватывали, колеса проворачивались со свистом, ма-

шина скользила вбок. Я отжал ручной тормоз и, прыгнув прямо в сугроб, погрузился в него по плечи. Пока я барахтался, снег летел со всех сторон, забивался под воротник, просачивался под рубашку, я уже чувствовал его в пупке. Выбраться оказалось совсем непросто. Я подложил под машину еще веток, но и это не помогло. Я понял, что проиграл, что перед лицом невыносимых погодных условий придется сдаться. Невероятным усилием я все-таки заставил машину тронуться и пополз обратно в город. В данных обстоятельствах это было единственно возможное решение.

Как только я доехал до стены, меня снова стало заносить и я потерял управление. Вдруг я увидел, что машину тащит к краю глубокой воронки от снаряда; еще секунда — и мне конец; глубина была несколько метров. Я надавил на тормоз, машину занесло вправо, она сделал полный круг, я выпрыгнул, капот нырнул и машина исчезла под снегом.

Я жутко устал и дрожал так, что с трудом передвигал ноги. К счастью, жилище мое было неподалеку. Шатаясь и поминутно поскальзываясь, я добрался до дома и, как был облепленный подмерзшим снегом, приник к печке, стуча зубами. Меня била такая дрожь, что я не мог расстегнуть пальто, и пришлось его медленно стягивать. С теми же мучительными усилиями мне наконец удалось избавиться от остальной промерзшей одежды и кое-как натянуть халат. Тогда только я заметил телеграмму и вскрыл конверт.

Мой источник информировал, что в ближайшие дни ожидается кризис. Воздушное и морское сообщение были прерваны, но было отдано распоряжение забрать меня утром на вертолете. Не выпуская телеграммы из рук, я залез в кровать, где продолжал дрожать под стопкой одеял. Правитель, должно быть, получил это известие чуть раньше. И, спасая себя, бежал, оставив народ на произвол судьбы. Такое позорное поведение, конечно, достойно было всяческого порицания, но осуждать его я не мог. Едва ли на его месте я поступил бы иначе. Спасти страну он был не в силах. Если б он объявил чрезвычайную ситуацию, началась бы паника, на дорогах возникли бы пробки и никто бы не спасся. В любом случае, судя по тому что я только что пережил, его шансы доехать до границы, были неимоверно малы.

Семь

Незадолго до отхода судна я был доставлен вертолетом в отдаленный порт. Я простудился, меня знобило, ломало, я еле

передвигал ноги. Сидя на заднем сиденье машины, несущейся в гавань, я не смотрел в окно, а на борт поднимался как в тумане. Корабль уже отчаливал, когда я поднялся на палубу, намереваясь прямиком отправиться в каюту. Но, бросив взгляд на берег, застыл в полном замешательстве. Мы скользили вдоль залитой солнцем гавани оживленного города; я видел широкие улицы, хорошо одетых людей, современные здания, машины, яхты на голубой воде. Ни снега, ни руин, ни вооруженной охраны. Это было чудо, яркое воспоминание о виденном некогда сне. И вдруг — потрясение, словно внезапно просыпаешься от тяжелого сна. Меня осенило, что вот это-то и есть реальность, а все, что было прежде, — сон. Вся моя жизнь последних нескольких недель показалась мне вдруг нереальной, полностью утратила правдоподобность. И я испытал огромное облегчение, сродни тому, что чувствуешь, выезжая на солнце из длинного темного холодного тунеля. Мне захотелось скорее забыть все, что со мной произошло, забыть девушку и эту бессмысленную погоню и думать только о будущем.

Когда температура упала, ко мне вернулись прежние мои мечты. Покончив с прошлым, я решил отправиться к индри, поселиться на тропическом острове и посвятить остаток своих дней лемурам. Я вел бы наблюдения, изучал их повадки, записывал их странные песни. По моим сведениям, этим еще никто не занимался. Идею я счел вполне здравой, цель — более чем достойной.

В корабельной лавке я купил толстый блокнот, запас авторучек и приступил к составлению рабочего плана. Но сосредоточиться не смог. Я еще не избавился от прошлого. Мысли упорно возвращались к девушке — как я мог хотеть забыть ее: это было бы просто чудовищно, непредставимо. Она была частью меня, я не мог без нее существовать. Но я уже собрался к лемурам... меня раздирали противоречивые чувства. Она не пускала меня, удерживая своими тонкими руками.

Я изо всех сил старался не думать о ней, сконцентрироваться на невинных нежных созданиях, на их сладком, завораживающем пении. А видения, связанные с ней, были не столь целомудренными. Ее образ преследовал меня — взмах длинных ресниц, робкая очаровательная улыбка. Выражение ее лица я менял произвольно: легкая настороженность, затравленный взгляд, внезапный испуг, вызывающий слезы. Сила моего влечения пугала меня самого. Черный опускающийся топор палача, мои руки держащие ее за запястья... Я боялся, что сон обернется явью... Было в ней что-то жертвен-

ное, что-то провоцирующее насилие. Она завладела моими снами и завела меня в такие темные уголки подсознания, исследовать которые мне совершенно не хотелось. Я уже толком не понимал, кто из нас двоих жертва. Возможно, мы оба были жертвами.

Мысли о том, что же с ней стало, приводили меня в отчаяние. Я кружил по палубе, теряясь в догадках о том, что все-таки произошло, успела ли она скрыться с правителем. На борт никаких новостей не поступало. Мне оставалось только ждать, терзаясь тревогой и нетерпением, когда мы дойдем до ближайшего порта, где, быть может, удастся хоть что-то разузнать. И вот этот день настал. Стюард выгладил мой костюм и вставил в петлицу где-то раздобытую красную гвоздику, эффектно контрастировавшую со светло-серой тканью.

Я уже собирался выходить, когда в дверь бесцеремонно постучали, и, не дождавшись ответа, ко мне вломился полицейский в штатском. Шляпы он не снял, но расстегнул пиджак, чтобы показать жетон и пистолет в подмышечной кобуре. Я отдал ему свой паспорт. Он принялся с презрительной миной перелистывать страницы, окинул меня с ног до головы наглым взглядом, задержав его на красной гвоздике. Мой вид, по-видимому, полностью подтверждал то мнение, которое он составил обо мне заранее. Я поинтересовался, что ему угодно, но ответом мне было лишь оскорбительное молчание, и больше вопросов я не задавал. Он вынул наручники и покачал перед моим носом. Я не сказал ни слова, и он спрятал их, заметив, что из уважения к моей стране, наручники на меня надевать не станет. Мне разрешено сойти на берег в его сопровождении. Но шуток с ним лучше не шутить.

День был солнечный, в толпе сходивших на берег пассажиров я держался поближе к нему, как мы и договорились. Особо я не беспокоился, подобное со мной уже случалось. Насколько я понял, меня хотели допросить, — интересно, какие вопросы они будут задавать и откуда им известно мое имя. Полицейские в форме ожидали нас в проулке сразу за причалом. Они усадили меня в бронированную машину с сильно тонированными стеклами. Проехав совсем недолго, мы остановились на тихой площади возле большого муниципального здания. Пели птицы, и это было особенно приятно после многодневного плавания.

Прохожие не обращали на нас никакого внимания. Однако девушку на углу, судя по любопытным взглядам в нашу сторону, что-то заинтересовало. Я заметил, что она продает весенние цветы — нарциссы, карликовые ирисы, дикие

тюльпаны и большой букет красных гвоздик, подобных той, что красовалась у меня в петлице. Потом меня обступили вооруженные люди, отконвоировали к зданию и повели по длинному коридору. "Пошевеливайся!" Сильная рука схватила меня за локоть, подтолкнула меня вверх по ступенькам. Наверху открылись двойные двери в большой зал, с рядами кресел, как в театре, там сидели люди, а перед ними на возвышении — судья. "Войдите!" Бесцеремонные лапы усадили меня на огороженную скамейку, какие ставят в церкви. "Стой!" Справа и слева залихватски щелкнули каблуки, меня охватило ощущение ирреальности происходящего. Высокий потолок, закрытые окна, ни солнца, ни пения птиц, по обе стороны от меня вооруженные мужчины, множество направленных на меня взглядов. Люди перешептывались, кашляли. Присяжные выглядели усталыми, словно им все это наскучило. Кто-то прочел вслух мое имя и подробные сведения обо мне. Я подтвердил их достоверность и дал клятву говорить правду.

Слушалось дело о пропавшей девушке, предположительно похищенной, возможно — убитой. Под подозрением оказался один известный человек, на допросе он показал на другого, но того найти не удалось. Прозвучало имя девушки. Меня спросили, знакомы ли мы. Я ответил, что несколько лет поддерживал с ней знакомство. "Была ли у вас интимная связь?" — "Мы были старыми друзьями". Послышался смех. Кто-то спросил: "Каковы же были ваши отношения?" — "Я уже сказал: мы были старыми друзьями". Приставу пришлось вмешаться, чтобы пресечь взрыв смеха. "Вы хотите убедить нас, что вы внезапно поменяли планы и бросили все, чтобы поехать в другую страну за подругой?" Казалось, что про меня им известно все. Я ответил: "Да, именно так".

Я сидел на кровати, курил и смотрел, как она расчесывает волосы — мягкую сверкающую массу бледного сияния, серебряный водопад, разбивающийся о плечи. Она нагнулась, чтобы посмотреть на себя в зеркало, в котором отразились ее маленькие груди. Я смотрел, как они слегка поднимаются в такт ее дыханию, потом встал за ее спиной и обнял ее, положив на них ладони. Она отпрянула. Я выпустил в ее испуганное лицо струю дыма. Она отпрянула, и я, подавив внезапное желание ткнуть в нее зажженной сигаретой, бросил сигарету на пол и затушил ее ногой. Затем притянул девушку к себе. Она стала отбиваться и кричать: "Не надо! Оставьте меня в покое! Я ненавижу вас! Вы жестокий и вероломный... вы предаете меня, нарушаете обещание..." Меня охватило нетерпение, я отпустил ее и пошел запереть дверь, но, не дойдя до

нее, обернулся на звук. Она держала над головой большой флакон одеколона и собиралась нанести мне удар. Я велел положить одеколон на место; она не послушалась, поэтому я вернулся и вырвал у нее из рук флакон. Драться она не могла. Силы в ее мышцах было не больше, чем у ребенка.

Я снова сидел на кровати, она одевалась. Мы не разговаривали. Она уже застегивала пальто, когда дверь внезапно открылась: я позабыл запереть ее. Вошел мужчина. Я вскочил, чтобы вышвырнуть его вон, но он прошел мимо, как будто я был невидим или меня не существовало вовсе.

Высокий, атлетического сложения мужчина, от которого веяло надменностью и наглостью. Невероятно яркие синие глаза подавали сигнал опасности, но меня как будто не видели. Девушка не шевелилась, словно окаменела. Я тоже не двигался, просто стоял и смотрел, что вообще-то мне не свойственно. Но мужчина знал, зачем пришел, и он был с револьвером, остановить его было невозможно. Я гадал, застрелит ли он нас обоих, и если да, то кого первым, а если одного — то кого именно. Вот что в тот момент меня интересовало.

Он, очевидно, считал ее своей собственностью. Я же полагал, что она принадлежит мне. Без нас ее будто и не существовало; возможно, единственным ее предназначением было свести нас вместе. Лицо его было надменным и наглым, а это всегда вызывает во мне отвращение. И в то же время я вдруг почувствовал, что нас что-то необъяснимо сближает, почувствовал чуть ли не кровную связь с ним и такую сильную, что вдруг впал в замешательство, я стал уже сомневаться, *двое* ли нас на самом деле...

Меня спросили: "Что произошло, когда вы встретили свою подругу?" — "Мы не встречались". Сдерживаемое возбуждение в зале взорвалось, официальный голос призвал к тишине. Затем некто, говоривший так, словно закончил курс сценической речи, произнес: "Я хочу заявить, что свидетель страдает психопатией, возможно, шизофренией, а посему словам его верить нельзя". — "Представьте свидетельство психиатра", — последовала реплика. Театральный голос продолжил: "Повторяю и настаиваю: этот человек, безусловно, психопат и не заслуживает никакого доверия. Здесь расследуется зверское преступление, жертвой которого стала невинная юная девушка. Прошу вас обратить внимание на его бездушие и черствость. Какой цинизм прийти сюда с цветком в петлице! Его поведение не просто противоречит нормам морали, оно непристойно, постыдно и порочит все, что для нас свято..."

Где-то под потолком, непонятно, где именно, прозвенел колокольчик, и начальственный равнодушный голос объявил: "Психопат не может быть свидетелем".

Меня вывели и заперли в камере на семнадцать часов, а рано утром выпустили без каких-либо объяснений. Тем временем корабль отошел вместе с моим багажом, а я остался лишь с тем, что было на мне. К счастью, у меня не отняли паспорт и бумажник, денег в котором было предостаточно.

Я побрился, умылся, причесался и внимательно оглядел себя в зеркало. Мне нужна была чистая рубашка, но магазины еще не открылись; куплю потом и переоденусь. А пока, не считая увядшей гвоздики, выглядел я вполне сносно. Выйдя из парикмахерской, я собрался выкинуть ее в урну, но тут мальчишка предложил почистить мне обувь, и пока он это делал, я спросил, где здесь самое лучшее кафе. Он указал на заведение, расположенное на той же улице. Кафе мне приглянулось, и я уселся за столик на солнце. В такой ранний час здесь никого не было. Дежурный официант принес на подносе кофе и булочки и оставил меня в одиночестве. Я выпил кофе, и, соображая, что делать дальше, стал наблюдать за прохожими: в такой час их было совсем немного.

Мимо прошла девушка с корзинкой цветов, и тут я вспомнил, что до сих пор не избавился от гвоздики. Я стал вытаскивать ее из петлицы, но стюард накрепко пришпилил цветок. Я отвернул лацкан, нащупывая булавку. "Позвольте я вам помогу". Я поднял голову, цветочница улыбалась мне. Мне показалось, будто я уже где-то видел ее лицо, будто я был с ней знаком и она мне нравилась. Аккуратно вынув гвоздику из петлицы, она приготовилась заменить ее на такую же из своей корзины. Я начал было говорить, что делать этого не стоит, но что-то меня остановило, и я промолчал. Она закрепила в петлице свежий бутон и продолжала стоять рядом, похоже, она не просто ждала, когда ей заплатят. Я начинал кое о чем догадываться, но во избежание ошибки, решил промолчать. Я убедился в своей правоте, когда она произнесла: "Могу ли я сделать для вас что-то еще?" Я оглянулся. За столиками по-прежнему ни души, прохожие — на другой стороне улицы, вне пределов слышимости. Она поставила корзину на стул, я сделал вид, что рассматриваю цветы, вытаскивая из нее то один букет, то другой. Кто бы ни наблюдал за нами — пусть даже в полевой бинокль, он увидел бы обычную сцену между покупателем и цветочницей. "Конечно, — сказал я, хотя уверенности в этом у меня не было... Но мне так нужно было узнать, что же сейчас происходит в ми-

ре. — Я был в плавании, был оторван от всего. Вы можете многое мне рассказать".

И я принялся задавать осторожные вопросы, стараясь не показать, как мало я осведомлен о последних событиях. Оказалось, что ситуация на родине неопределенная и вызывает немалые опасения, конкретной информации не поступает, масштабы катастрофы были по-прежнему неизвестны. Правитель северного государства бежал во внутренние районы страны и присоединился к формированиям одного из полевых командиров, конфликты в стране вспыхивали один за другим.

Я продолжал ее расспрашивать. Она была вежлива и доброжелательна, но ее ответы становились все туманнее, она как будто боялась сказать что-то лишнее. Когда пара посетителей заглянула в кафе и села возле нас, она прошептала: "Эти вопросы вам лучше обсудить с кем-нибудь из начальства. Я могу устроить вам встречу". Я сразу согласился, хотя не был уверен, сможет ли она это сделать. Она велела мне подождать, схватила корзину и удалилась чуть ли не бегом. Я подумал, что вижу ее, возможно, в последний раз, но заказал еще кофе и стал ждать: ничего другого все равно не оставалось. Известия о бегстве правителя успокоили меня, но лишь отчасти: он, вероятно, взял с собой и девушку, но уверенности в этом быть не могло. Время шло. Кафе наполнилось людьми. Я поглядывал на улицу в ожидании своей осведомительницы, но, когда уже решил, что она не вернется, вдруг увидел, что она пробирается ко мне сквозь толпу прохожих. Подойдя к моему столу, она громко произнесла: "Вот ваши фиалки. Мне пришлось идти за ними на цветочный рынок. Боюсь, обойдутся они вам не дешево". Она с трудом переводила дыхание, но из-за окружавших нас людей старалась говорить четко и весело. Я понял, что уговаривать ее остаться будет не правильно, и спросил: "Сколько?" Она назвала сумму, я выдал ей деньги. Она поблагодарила меня с очаровательной улыбкой и быстро скрылась в толпе.

Бумага, в которую был завернут букетик фиалок, оказалась запиской, где сообщалось, как найти нужного мне человека. Записку следовало уничтожить на месте. Я купил холщовую сумку с кожаными ручками для самого необходимого и снял номер в гостинице. Приняв ванну и переодевшись, я отправился в кабинет по указанному в записке адресу, и тот человек сразу же принял меня. В петлице у него тоже была красная гвоздика. Я решил, что надо быть начеку.

Я начал с самого главного, юлить не имело смысла. Назвав город, где находился правитель, я спросил, есть ли воз-

можность туда попасть. "Нет. Там сейчас идут бои, а по ночам облавы. Иностранцам въезд запрещен". — "Всем, без исключений?" — "Без исключений. И проехать туда могут только командированные госслужащие". Выслушав его ответы, я спросил: "Значит, вы советуете мне отказаться от этой идеи?" — "Как официальное лицо — да. — Он хитро взглянул на меня. Что-то в его голосе вселяло надежду. — Но есть шанс, вероятно, я смогу вам помочь. Во всяком случае, я узнаю, что можно сделать. Но вы не особо на это рассчитывайте. Чтобы что-то разузнать, мне, возможно, понадобится несколько дней". Я поблагодарил его, мы поднялись и пожали друг другу руки. Он обещал связаться со мной, как только будут новости.

Мне было одновременно скучно и очень неспокойно. Делать мне было нечего. Жизнь в городе только на первый взгляд казалась нормальной, а если приглядеться, повсюду — застой, бездействие. Новостей с севера поступало мало, да и те были противоречивыми и пугающими. Судя по всему, мало что уцелело там после катастрофы. А в местных новостях ничего тревожного, они были бодрыми и обнадеживающими. Такова была официальная политика — население нельзя волновать. Более того, эти люди, похоже, действительно верили, что их страна сможет избежать катаклизма. Я знал, что от опустошения не застраховано ни одно государство, как бы далеко ни находилось оно от лютой стихии, которая бушевала на планете. Волнения и беспорядки распространялись по всему свету. А это был наихудший знак: война уже началась, пусть еще на междоусобном уровне. Усилия более ответственных государств, направленные на примирение воюющих сторон, лишь подтверждали взрывной характер ситуации и свидетельствовали о реальности зловещей угрозы тотальной войны, усугубляющей подступившую катастрофу. Поутихшая было тревога за девушку снова начала терзать меня. Убежав от разрушений в одной стране, она оказалась в другой, находящейся на грани крупномасштабной войны. Я убеждал себя, что правитель отослал ее в безопасное место, но, слишком хорошо его зная, сам не очень верил в это. Я понимал, что мне необходимо с ним увидеться, иначе я так и останусь в неведении относительно ее судьбы. Вечер я провел, перемещаясь из бара в бар, прислушиваясь к разговорам. Его частенько поминали, иногда как предателя своего народа, но чаще как человека, который далеко пойдет, как новую фигуру, влиятельную и могущественную.

Рано утром в моем номере зазвонил телефон: кто-то хотел со мной встретиться. Я попросил подняться, в надежде, что

это вести от чиновника. "Привет! — цветочница вошла, улыбаясь без тени смущения и заметив, что я удивлен, спросила: — Вы уже меня забыли?" Я признался, что ее визит — для меня неожиданность. Теперь удивилась *она*. "Видите ли, приносить вам каждое утро цветок — это часть моей работы". Пока она прикрепляла гвоздику к моей петлице, я сидел молча. Мне стоило большого труда сделать вид, что я понимаю, к какой организации она принадлежит. Меня разбирало любопытство, но я боялся себя выдать. Мне подумалось, что если я просто пообщаюсь с ней подольше, то смогу кое-что выведать, не задавая лишних вопросов. Кроме того, она была молода и привлекательна, и мне нравилась ее непосредственность. С ней мне не будет скучно.

Я пригласил ее отужинать со мной вечером. Она была очаровательна и неподдельно искренна. После ужина мы посетили два ночных клуба, танцевали. Она оказалась потрясающей партнершей, держалась весь вечер совершенно свободно и раскованно, но ничего нового мне так и не рассказала. Я привел ее в гостиницу; когда мы вошли, привратник косо поглядел на нас. Я был сильно пьян. Ее пышная юбка ярким кольцом упала на пол. Рано утром, когда я еще спал, она отправилась на цветочный рынок, но вернулась к завтраку со свежей гвоздикой, ясноглазая, веселая, полная жизни и еще более привлекательная. Я хотел, чтобы она осталась со мной, надеясь с ее помощью укорениться в реальности. Но она сказала: "Нет, я должна идти, мне нужно работать" — и, одарив меня ласковой улыбкой, пообещала вечером пойти со мной потанцевать. Больше я ее никогда не видел.

Чиновник прислал за мной, когда я читал газеты. Я поспешил к нему в кабинет. Он приветствовал меня с видом конспиратора. "Мне удалось устроить для вас то, чего вы так хотели. Только придется поторопиться. — Он улыбнулся довольный собой и возможностью продемонстрировать мне, как ему удалось все устроить. Я был удивлен и обрадован, а он продолжил: — Сегодня на границу отправляется грузовик с важными деталями для передатчика, который монтируется на нашей стороне. Это совсем недалеко от того города, куда вы хотите попасть. Я записал вас как иностранного консультанта. Со своими обязанностями ознакомитесь по дороге". Он передал мне полную бумаг папку, поверх которой лежал пропуск, и велел через полчаса быть на главпочтамте.

Я принялся было его благодарить. Он похлопал меня по плечу. "Не стоит благодарности. Я рад, что смог оказаться по-

лезным". Убрав руку с моего плеча, он прикоснулся к цветку в моей петлице, чем очень меня насторожил. Подозревал ли он что-нибудь? Так ничего и не узнав о его организации, я, по крайней мере, понял, что эта организация весьма влиятельная. Когда он сказал: "Поторопитесь, нужно еще собраться. Вам ни в коем случае нельзя опаздывать. Водителю приказано отправляться точно в указанное время, и ждать он не будет", я вздохнул с облегчением.

В комнате сгущались сумерки — надвигалась гроза. Его рука потянулась к выключателю, но одновременно с ударом грома вспыхнула молния. Капли дождя ударили в окна, и какой-то человек в форменном плаще, зайдя в комнату, подал знак не включать свет. Я смог различить лишь очертания крупного, крепко сбитого тела, эта массивная фигура показалась мне смутно знакомой. Они шепотом разговаривали в дальнем конце комнаты, а я безуспешно пытался вслушиваться в их весьма напряженный спор, предметом которого был, очевидно, я, поскольку оба время от времени на меня поглядывали. Ясно было одно — меня стараются в чем-то обвинить. И хотя лицо вновь прибывшего оставалось в тени, в его голосе — между ударами грома — слышались угрожающие нотки, однако разобрать слов я не мог. Ему, похоже, удалось вселить тревогу и подозрение в стоявшего рядом чиновника.

Мне стало не по себе. Если чиновник поверит ему, положение мое заметно ухудшится. Я потеряю всякую надежду попасть к правителю, а кроме того, вскроется, что я, воспользовавшись красной гвоздикой, ввел их в заблуждение. Замаячила серьезная опасность повторного ареста.

Я посмотрел на часы. Несколько минут от отведенного мне получаса уже пролетели, и, чувствуя, что мне пора уносить ноги, я незаметно придвинулся к двери и приоткрыл ее за своей спиной.

Воздух взрезала огромная молния, озарив мертвенно бледным светом и взлетающие полы плаща, и наставленный на меня пистолет. Я поднял руки, а чиновник, повернувшись к собеседнику, прогудел, перекрикивая раскаты грома: "Ну, что я вам говорил?" Он на секунду отвлекся, и я тут же бросился к его ногам и применил захват, которому я обучился еще в школе. Выстрел прогремел у меня над головой. Мне не удалось его повалить, но он потерял равновесие: длинный плащ затруднял его движения. Не успел он снова прицелиться, как я выбил из его рук пистолет, который отлетел в другой конец комнаты. Он ударил меня, обрушив на меня весь свой вес. Он был куда тяжелее меня, я чуть не упал. Меня

спасла дверь, за которую я удержался, в коридоре послышались приближающиеся шаги. Противник набросился на меня с пущей свирепостью, крикнув чиновнику, чтобы тот отыскал пистолет. Как только он окажется у него в руках – мне конец. В отчаянии я двинул его дверью, вложив в удар всю силу, и с удовлетворением увидел, как он, скорчившись от боли, выскочил вон. На моем пути материализовались еще двое, но я просто раскидал их в стороны, слышал только, как один с криком упал и как под ним треснула дверь. Более никто не пытался меня остановить. Не оглядываясь, я кинулся по коридору прочь из здания. В соседних кабинетах выстрела, наверное, просто не слышали из-за грома.

Гроза помогала мне и дальше. На улице меня никто не заметил, поскольку все попрятались от проливного дождя. Улицы утопали в воде, промокнув насквозь уже через секунду, я мчался изо всех сил, рассекая струи воды, как конь, на скаку форсирующий реку. К счастью, я знал, где находится главпочтамт, и бросился прямо туда. В отель, наверное, уже поступил приказ о моем задержании – в любом случае, заходить туда, не было времени. Шофер заводил мотор, когда я примчался, размахивая подорожной. Недовольно глянув на меня, он большим пальцем указал на кузов. Я, собрав последние силы, подтянулся и рухнул на что-то чрезвычайно твердое. Моментально исчезли дождь и дневной свет, словно их кто-то выключил, автомобиль сильно тряхнуло, и мы тронулись. Все тело у меня болело, я промок до нитки и с трудом переводил дыхание, но чувствовал себя победителем.

В кузове нас было четверо. Было темно, шумно и неудобно. На лавках под тентом сидеть можно было, только низко опустив голову. Мы сидели по двое, скорчившись, в жуткой тесноте, заваленные ящиками разных размеров. Но здесь, в этой лишенной всякого комфорта клетушке на колесах, где никто меня не увидит, я испытывал такое облегчение, что даже не замечал страшной тряски. Я шел к цели. Гроза постепенно стихла, но дождь по-прежнему лил и, наконец, стал просачиваться сквозь брезентовый тент, что нисколько не ухудшило моего настроения. Как бы ни текло, сильнее промокнуть было уже невозможно.

Восемь

Мне хотелось подружиться с попутчиками, молодыми парнями, вчерашними студентами технического колледжа, но

разговорить их я не сумел: иностранцу они не доверяли. Мои вопросы вызывали подозрение, что я пытаюсь выведать какую-то тайну, хотя было очевидно, что в тайны их никто не посвящал. Они были невероятно наивны. Я понял, что мы — люди слишком разные, и умолк. Постепенно, забыв о моем присутствии, они стали болтать между собой. Речь зашла о работе, о сложностях, связанных с монтажом передатчика. Нехватка материалов, квалифицированного персонала, средств, низкий уровень рабочих, безответственность и разгильдяйство. То и дело они бурчали: "Саботаж". График работ давно полетел к черту. Передатчик должен был быть налажен к концу месяца, а теперь уже никто не знал, когда его сдадут. Устав от их разговоров, я закрыл глаза и перестал слушать.

Время от времени до меня долетали отдельные фразы. В какой-то момент, я понял, что они говорят обо мне, думая, что я сплю. "Его послали шпионить за нами", — сказал один. "Узнать, можно ли нам доверять. С ним нужно держать ухо востро, не отвечать ни на какие вопросы". Говорили они тихо, почти шептались. "Я слышал, что профессор сказал... Они ничего не объяснили... Почему в опасную зону послали именно нас, когда другие..." Им было тревожно, но никакой информации от них было не добиться. Не стоило даже тратить время.

Поздно ночью мы остановились в маленьком городке. Я разбудил местного лавочника и снова приобрел самое необходимое: мыло, бритву, смену одежды. В городе была всего одна заправка, и утром водитель потребовал, чтобы ему продали все имеющееся в наличии топливо, на что хозяин с возмущением возразил, что с такими перебоями в снабжении он может остаться без горючего. Пропустив это мимо ушей, наш водитель приказал ему выкачать все до капли, а в ответ на новые гневные протесты, заявил: "Заткнись, и делай, что велено. Это приказ". Я стоял неподалеку и спокойно сказал, что, пожелай кто-нибудь здесь заправиться, его ждет неприятный сюрприз. Он бросил на меня презрительный взгляд. "У него наверняка что-нибудь припрятано. У них всегда есть заначка". Канистры с бензином загрузили в кузов, где едва оставалось место для нас четверых. Мне досталось самое неудобное место — над задней осью.

Мы закатали стенки фургона вверх, чтобы хоть что-то видеть. Мы ехали по направлению к далеким лесам, за которыми чернела горная цепь. Через несколько миль шоссе кончилось, дальше шли просто две колеи. Чем дальше мы продвигались, тем холоднее становилось: менялся и ланд-

шафт, а вместе с ним и климат. Маячившая на горизонте кромка леса приближалась, все меньше попадалось возделанных полей, все реже встречались люди и поселения. Теперь я понял, зачем надо было запасаться бензином. Дорога стала заметно хуже, вся в ямах и рытвинах. Ехали мы медленно, шофер все время чертыхался. Когда кончились разбитые колеи, я перегнулся и, хлопнув его по плечу, предложил сменить его за рулем. К моему удивлению, он согласился.

В кабине сидеть было удобнее, но управлять тяжелым грузовиком оказалось совсем непросто. Я еще никогда не водил грузовик, и пока не привык, вынужден был контролировать каждое движение. Время от времени приходилось останавливаться, чтобы убрать с дороги камни и поваленные стволы. Когда это случилось в первый раз, я собрался было выйти и помочь остальным, которые, выпрыгнув из кузова, с трудом оттаскивали преграду, но, почувствовав легкое прикосновение к своему плечу, обернулся. Шофер едва заметно покачал головой. Очевидно, моя способность вести грузовик настолько возвысила меня в его глазах, что такие повинности показались ему ниже моего достоинства.

Я предложил ему сигарету. Он угостился. Я что-то сказал по поводу состояния дороги. Коль скоро передатчик — проект такой важности, непонятно, почему не построили приличную дорогу. Он ответил: "Мы не можем позволить себе строить новые дороги. Мы просили у стран-партнеров помощи, но они отказали". Шофер нахмурился и скосил на меня глаза, стараясь понять, на чьей я стороне. Я, как можно спокойнее, заметил, что, на мой взгляд, с их стороны это нечестно. "Да они над нами просто издеваются и только потому, что мы маленькая разоренная страна, — он не мог сдержать негодование. — Передатчик никогда бы не построили, если б мы не предоставили площадь. Им не стоит забывать, что без нас это было бы невозможно. Для общего блага мы пожертвовали кусок своей земли, но ничего не получили взамен. Они даже не хотят посылать наземные войска, чтобы помочь нам охранять строительство. Из-за такого наплевательского отношения создается очень тяжелая, напряженная обстановка. — В его голосе слышалась горечь, чувствовалась его ненависть к крупным державам. — Вы иностранец... я не должен говорить при вас такие вещи". Он с тревогой взглянул на меня, пришлось уверить его, что я не стукач.

Теперь, когда он заговорил, его уже было не остановить. Я попросил его рассказать о себе, надеясь таким образом подвести разговор к тому, что меня интересовало. Когда про-

ект только начинался, он возил туда партии рабочих, в дороге они пели. "Помните старый лозунг: 'Люди доброй воли, объединяйтесь против сил разрушения во имя выхода из глобального кризиса'. Эти слова они положили на музыку, и получилась песня для двух хоров — мужского и женского. Какое было воодушевление! Тогда мы все еще были полны энтузиазма. Теперь-то все иначе". Я спросил почему. "Слишком много неудач, проволочек, разочарований. Если б у нас было достаточно материалов, работа уже давно была бы закончена. Но все приходится доставлять из-за границы, из стран с другой мерой весов и другими измерительными стандартами. Иногда детали не подходят, и всю поставку приходится отправлять обратно. Можете представить, как все это действует на молодых энтузиастов, которые стремятся выполнить работу по совести". Обычная история — путаница, бестолковщина из-за различий в идеологии и недостатках прямых контактов. Я поблагодарил его за откровенный разговор. Аккуратно посланный мяч отскочил дежурным клише: "Личные контакты — первый шаг на пути построения взаимопонимания между народами".

Похоже, я заслужил его доверие. Он стал со мной дружелюбен, рассказал о своей девушке, показал фотокарточки, где она играет с собакой. Я не хотел, чтобы он — или кто-либо другой — видел, сколько у меня денег, я отвлек его, указав на что-то сбоку от дороги, и быстро вытащил из бумажника фотографию девушки, стоящей на берегу озера. Я показал ему карточку, сказав, что девушка пропала и что я ищу ее. Не выказав особых эмоций, он заметил: "Потрясающие волосы. Повезло вам". Я усомнился — посчитал бы он себя везунчиком, если бы его девушка исчезла с лица земли, и ему хватило учтивости изобразить легкое смущение. Убрав фотографию, я поинтересовался, видел ли он когда-нибудь такие волосы. "Нет, никогда. — Он уверенно замотал головой. — У нас все больше брюнетки". Говорить с ним о девушке было бесполезно.

Мы поменялись местами. Я устал после своей водительской смены и сомкнул веки. Когда открыл глаза, у него на коленях лежал пистолет. Я спросил, в кого он собрался стрелять. "Мы подъезжаем к границе. Здесь опасно. Повсюду враги". — "Но вы же соблюдаете нейтралитет". — "Какой еще нейтралитет? Это только слова. — И он добавил с загадочным видом: — Кроме того, и враги бывают разные". — "Например?" — "Саботажники. Шпионы. Гангстеры. Всякая шваль, что в смутное время расцветает пышным цветом". Я спросил, могут ли напасть на наш грузовик. "Такое уже случалось. Мы

везем важный и срочный груз. Если они об этом прослышали, могут попытаться нас остановить".

Я вытащил свой полуавтоматический пистолет и заметил его заинтересованный взгляд, иностранное оружие явно произвело впечатление. Мы въехали в лес. Шофер был как на иголках. "Тут-то опасность и подстерегает". С веток высоких деревьев непроницаемыми ширмами свисали длинные серые бороды мха. Прятаться за ними — одно удовольствие. Свет постепенно тускнел, на дорогу падали последние лучи, и представить, как невидимые глаза следят за нами, было проще простого. Я все время был начеку, но не мог отделаться и от того, что занимало мои мысли.

Я заговорил о правителе. Шофер знал только то, что прочел в газетах. От передатчика до штаба правителя было примерно двадцать миль.

"А туда можно добраться?" — "Добраться? — Он непонимающе уставился на меня. — Конечно, нет. Это вражеская территория. Они разрушили дорогу и заблокировали проезд. Мало вероятно, что от города хоть что-то осталось. По ночам слышно, как его обстреливают". Его больше волновало, чтобы мы доехали до наступления ночи. "Мы должны выехать из леса до темноты. Успеем, если повезет". И он гнал, как безумец, грузовик подкидывало и заносило, из-под колес летели камни.

Меня охватило такое уныние, что продолжать разговор я не мог. Ситуация представлялась мне безнадежной. Девушка нужна мне, как жизнь, но я никогда не смогу найти ее. Дороги в город нет, добраться туда невозможно. Кроме того, город постоянно бомбят и, наверно, уже порядком разрушили. Ехать туда не имеет смысла. Она либо эвакуировалась, либо погибла. Меня охватило отчаяние. Похоже, весь этот путь я проделал зря.

Место для передатчика выбиралось с большой тщательностью — окруженное лесом возвышение, прикрытое с одной стороны горным хребтом, было удобно оборонять от наземной атаки. Территория вокруг стройплощадки расчищена, но лес начинался совсем близко. Мы жили в сборном домике, крыша текла, внутри все было сырым на ощупь. Несмываемый слой грязи на бетонных полах. Куда ни глянь, везде болото. Люди роптали на отсутствие удобств и плохое качество пищи.

С погодой тоже творилось что-то не то. В эту пору должно быть жарко, сухо и солнечно, а вместо этого все время лил дождь, было промозгло и прохладно. Густой белый туман лежал, запутавшись в деревьях, небо походило на опро-

кинутый бездонный котел. Все это будоражило лесных зверей, они стали изменять своим привычкам. Большие кошки, потеряв страх перед человеком, подходили к жилищу и рыскали вокруг передатчика в поисках добычи. Над ними хлопали крыльями странные неуклюжие птицы. У меня сложилось впечатление, что звери и птицы искали у нас защиты от неизвестной опасности, которую мы выпустили на свободу. Их аномальное поведение казалось зловещим предзнаменованием.

Чтобы убить время и хоть чем-то себя занять, я организовал работы на передатчике. Проект уже близился к завершению, но рабочие пребывали в унынии. Я созвал собрание и постарался нарисовать им картины будущего. Враждующие стороны будут слушать наши передачи и поражаться беспристрастности и точности наших сводок. Трезвость наших аргументов убедит их. Мир будет восстановлен, глобальный конфликт предотвращен. И это станет главной наградой за наш труд. Я разделил всех на бригады, организовал соревнование и учредил призы для лучших работников. Вскоре мы уже были готовы начать трансляции. Я составлял сводки, правдиво описывая положение обеих враждующих сторон, агитировал за мир во всем мире, призывал к немедленному прекращению огня. Министр в письменном послании поздравил меня с успешной работой.

Я не мог решить, переходить границу или остаться. Надежды найти девушку в разрушенном городе не было. Если она погибла, то ехать туда просто незачем. А если она жива и сейчас в безопасности, то тоже смысла мало. Путь туда сопряжен с немалым риском. Хоть я и был лицом гражданским, меня вполне могли пристрелить как шпиона или взять под стражу на неопределенный срок.

Однако теперь, когда все шло как по маслу, меня охватила апатия. Я устал от попыток оставаться сухим в нескончаемый дождь, устал ждать, когда всех нас накроет льдом. Лед день за днем наползал на планету, и ни океан, ни горы не могли его задержать. Не ускоряя своего продвижения, но и не останавливаясь, он неуклонно приближался, захватывая и стирая с лица земли города, заполняя залитые кипящей лавой кратеры. Батальоны ледяных гигантов в безостановочном марше продвигались по земле, круша, уничтожая все на своем пути, и воспрепятствовать их наступлению не было никакой возможности.

И я решил идти. Ничего никому не сказав, в проливной дождь я доехал до блокпоста, откуда пешком пошел по лесистым горам, ориентируясь по карманному компасу. Несколь-

ко часов я карабкался вверх, продираясь сквозь мокрые заросли, пока не добрался до заставы, где меня задержал пограничник.

Девять

Я попросил, чтобы меня отвели к правителю. Не так давно он перевел свой штаб в другой населенный пункт. Меня повезли туда в бронированной машине в компании двух солдат с автоматами — "ради моей безопасности". Дождь лил не переставая. Мы с грохотом неслись через стену воды под тяжелыми черными тучами, затянувшими все небо. В город въехали в сумерках. Фары высвечивали знакомые картины опустошения — развалины, завалы, обрушившиеся здания, — все это блестело под дождем. По улицам передвигались войска. Здания, разрушенные меньше других, были отданы под казармы.

Меня привезли в особо охраняемое помещение и оставили в маленькой комнате, где ожидали еще двое. Кроме нас троих никого не было. Они уставились на меня, но ничего не сказали. Ждали молча. Только дождь стучал по крыше. Те двое сидели на одной скамейке, я, завернувшись в плащ, напротив. Другой мебели в грязной комнате не было, на стенах и на полу — толстый слой пыли.

Через какое-то время они начали перешептываться. Насколько я понял, они пришли хлопотать о какой-то освободившейся должности. Я встал и принялся ходить из угла в угол. Меня грызло нетерпение, хотя я заранее предполагал, что ждать мне придется. Я не слушал, о чем они говорили, но один из них повысил голос, так, чтобы я расслышал. Он был уверен, что место достанется ему, и хвастался: "Меня учили убивать голыми руками. Любого здоровяка я завалю тремя пальцами. Я знаю все смертельные точки на теле и могу ребром ладони расколоть бревно". Его слова повергли меня в тоску. Вот какие люди теперь требовались. В конце концов их обоих вызвали на беседу, и я, оставшись один, приготовился ждать дальше.

Впрочем, довольно скоро пришел гвардеец, чтобы отвести меня в офицерскую столовую. Правитель сидел во главе высокого стола. За другими — длинными — столами народу сидело больше. Меня усадили за стол правителя, но на расстоянии, исключавшем возможность вести беседу. Прежде чем занять свое место, я подошел к правителю поздороваться. Он выглядел удивленным и на мое приветствие не ответил. Я заметил, что окружающие пригнулись друг к другу и

принялись вполголоса переговариваться, украдкой поглядывая на меня. По-видимому, я произвел неблагоприятное впечатление. Я-то полагал, что он меня узнает, а он будто впервые увидел меня. Напоминание о наших взаимоотношениях в прошлом могло лишь осложнить ситуацию, поэтому я молча уселся на отведенное мне место.

Я слышал, как он дружелюбно беседует с офицерами, сидящими подле него. Они говорили об арестах и побегах. Меня это не интересовало, пока он не стал рассказывать историю собственного бегства, где упоминались и большая машина, и метель, и сорванные на границе ворота, и пули, и девушка. При этом он ни разу не взглянул в мою сторону и вообще никак не реагировал на мое присутствие.

Время от времени снаружи доносился топот марширующих солдат. Внезапно прогремел взрыв. Потолок частично обвалился, свет погас. Принесли фонари и расставили по столам. В их свете видны были обломки, упавшие меж тарелок. Еда была вся в пыли и кусках штукатурки. Тарелки унесли, последовала долгая, утомительная пауза. В итоге перед нами поставили миски со сваренными вкрутую яйцами. Время от времени новые взрывы сотрясали здание, в воздухе повис туман белесой пыли, на всем осели мелкие частицы.

Правитель решил меня удивить. Когда трапеза уже заканчивалась, он подал мне знак и произнес: "Мне нравятся ваши передачи. У вас к этому талант". Я был поражен тем, что он знает о моей деятельности. Тон был дружеский, он говорил со мной как с равным, и на секунду я почувствовал, что мы чем-то необъяснимо связаны. Потом он сказал, что я прибыл очень вовремя. "Скоро заработает наш собственный передатчик, а ваш — выведен из строя". Я неоднократно обращался в вышестоящие органы, убеждая, что нам необходим более мощный аппарат, что появление установки, которая будет способна нас заглушить — вопрос времени. Он предположил, что я в курсе дела и решил переметнуться на другую сторону. Он хотел, чтобы я делал пропагандистские передачи для него, на что я готов был согласиться, если бы он, в свою очередь, сделал кое-что для меня. "Все то же?" — "Да". Он изумленно взглянул на меня, в глазах промелькнуло подозрение. Тем не менее он произнес, как ни в чем не бывало: "Ее комната этажом выше. Можем навестить ее" — и направился к выходу. Когда же я сказал: "Мне нужно сообщить ей сведения личного характера. Могу я повидаться с ней наедине?" — он не ответил.

Мы прошли по одному коридору, поднялись по лестнице и двинулись по второму. Луч мощного фонаря прыгал по усе-

янному мусором полу. В пыли оставались следы, среди которых я искал отпечатки меньшего размера. Он открыл дверь в тускло освещенную комнату. Она вскочила. Ее бледное лицо выражало испуг; большие глаза уставились на меня из-под блестящих волос. "Опять вы!" Она стояла в напряженной позе, схватившись за стул, словно желая защититься, руки вцепились в спинку так, что побелели костяшки пальцев. "Что вам нужно?" — "Только поговорить". Переводя взгляд с одного на другого, она воскликнула: "Да вы заодно!" Я стал оправдываться, хотя в этом обвинении была, как ни странно, доля истины... "Да, конечно, заодно. Иначе он бы вас сюда не привел".

Правитель подошел к ней с улыбкой. Еще никогда я не видел его таким благожелательным. "Да будет вам, разве так нужно встречать старых друзей? Неужели нельзя просто мило побеседовать всем вместе? Вы же мне так и не рассказали, как и где вы познакомились". Стало ясно, что оставлять нас наедине он не собирается. Я молча поглядывал на нее, но не мог заговорить в его присутствии. Его сильная личность подавляла нас. В его присутствии она была напряжена, настроена ко мне враждебно. Между нами встала преграда. Не удивительно, что он улыбался. Я мог бы ее и не искать. Отдаленный взрыв сотряс стены; она смотрела, как белая пыль сыплется с потолка. Чтобы сказать хоть что-нибудь, я спросил, не беспокоят ли ее бомбежки. Ее лицо ничего не выражало, а то, как она покачала головой, могло означать что угодно, или вообще ничего не означать. Волосы ее сияли.

Правитель сказал: "Я пытался уговорить ее переехать в более безопасное место, но она отказывается". Продемонстрировав свою власть над ней, он самодовольно улыбнулся. С этим я смириться не мог. Я оглядел комнату: стул, маленькое зеркало, кровать, несколько книжек на столе, повсюду пыль, толстый слой штукатурки на полу. Ее серое пальто на крючке. Кроме расчески и початой плитки шоколада в надорванной фольге, личных вещей я не обнаружил. Я отвернулся от него и обратился к ней напрямую, стараясь говорить так, будто его в комнате не было. "Вам, похоже, здесь не слишком удобно. Почему бы вам не переехать в гостиницу, куда-нибудь подальше от линии фронта?" Она слегка пожала плечами, но ничего не ответила. Наступила тишина.

Под окном маршировали солдаты. Он подошел к окну, раздвинул жалюзи и посмотрел вниз. "Я только хочу вам помочь", — быстро пробормотал я и протянул к ней руку, она отпрянула. "Я вам не доверяю. Я не верю ни единому вашему слову". В широко распахнутых глазах был вызов. Я знал, что,

пока он рядом, мне ни за что не достучаться до нее. Оставаться более не было смысла, я ушел.

Уже за дверью я услышал, как он засмеялся и, пройдясь по комнате, произнес: "Этот-то чем вам не угодил?" И затем ее голос – переменившийся, пронзительный, истеричный. "Он лжец. Я знаю, он работает на тебя. Он такой же, как ты, – жестокий, подлый эгоист. Лучше бы я вовсе не знала ни тебя, ни его. Ненавижу вас! Однажды я убегу... и вы не увидите меня больше... никогда!" Я шел по коридору, спотыкаясь об обломки, отбрасывая их ногами. Фонариком я не запасся.

Следующие несколько дней я раздумывал о том, как увезти ее в нейтральную страну. Теоретически это было вполне осуществимо. Суда хоть изредка, но все еще заходили в местный порт. Дело было за четким планированием и за тем, удастся ли все быстро осуществить в обстановке полной секретности. Успех зависел от того, успеем ли мы добраться до моря прежде, чем начнется погоня. Я стал с осторожностью наводить справки. Но сложность была в том, что никому нельзя было доверять. Человек, которому я платил за информацию, мог продать меня тому, кто был на содержании у правителя. Поэтому затея была чрезвычайно опасна. Я нервничал, не хотел рисковать, но иного выхода не было.

Голоса нашептывали секретные сведения: имена, адреса, место назначения, время отправки. "Идите туда-то... спросите того-то... будьте в постоянной готовности... документы... подтверждение... достаточные средства..." Прежде чем перейти к следующей стадии подготовки, нужно было поговорить с ней. Я пришел. Послышался выстрел, я не обратил на него внимания: на улицах все время стреляли. Вошел он, закрыл за собой дверь. Я сказал, что хочу с ней увидеться. "Это невозможно". Он повернул ключ, положил его в карман, бросил пистолет на стол. "Она мертва". В меня вонзили нож. Все другие смерти мира меня не касались; а эта вошла в мое тело, как штык, будто умер я сам. "Кто ее убил?" Только я мог это сделать. Когда он ответил: "Я убил" – я тронул рукой пистолет. Ствол был еще горячий. Я мог схватить пистолет и пристрелить его. Это было бы просто. Он не пошевелился, просто стоял и смотрел на меня. Я взглянул в его надменное костистое лицо; глаза наши встретились.

Взгляды необъяснимым образом слились, сплавились. Казалось, я смотрю на свое отражение. Я вконец запутался и уже не понимал, кто из нас кто. Мы были как две половины целого, сочлененные в некоем мистическом симбиозе. Я изо всех сил старался сберечь свое "я", но все мои усилия не могли разъединить нас. С каждой секундой я все отчетливее по-

нимал, что я — это не я, а он. В какой-то момент мне показалось, что на мне его одежда, и я в смятении выбежал из комнаты. Позднее я не мог вспомнить, что же тогда произошло, и произошло ли вообще что-либо.

В другой раз он встретил меня у двери в комнату и сразу сказал: "Вы опоздали. Птичка улетела". Он ухмылялся, лицо выражало откровенное злорадство. "Она ушла. Убежала. Исчезла". Я сжал кулаки. "Вы отослали ее, чтобы я не мог ее видеть. Вы специально разлучаете нас". Я в ярости двинулся на него. И тут наши взгляды снова слились, сплавились, и снова меня охватило смятение, я утратил представление не только о своем "я", но и о времени и пространстве. Сияние холодных синих глаз, синие вспышки кольца, крючковатые холодные пальцы маньяка. Он ходил на медведей и брал их голыми руками. Не мне равняться с ним силой... Уходя, я слышал, как он глумится: "Так-то оно вернее. Целее будешь".

Я зашел в пустую комнату. Мне нужно было время, чтобы прийти в себя. Я был совершенно выбит из колеи, я страдал без девушки, не мог перенести потери. Я думал о путешествии, в которое планировал отправиться с ней вместе и которое никогда уже не состоится. Лицо мое было мокрым от дождя, капли, стекающие в рот, были солеными на вкус. Я прикрыл глаза платком и чудовищным усилием воли взял себя в руки.

Надо было снова пускаться на поиски. Снова и снова — это было похоже на проклятие. Я вспомнил о спокойных голубых морях, тихих островах вдали от войны. Я думал о лемурах индри, счастливых созданиях, символах мирной жизни, существования высшего порядка. Я мог бы сорваться и поехать к ним. Но нет, это невозможно. Я был связан с ней. Я думал о ползущих по миру льдах, которые отбрасывали тень надвигающейся смерти. В моих грезах с рокотом приближались ледяные утесы, громыхали взрывы, рушились айсберги, вздымая в небо огромные льдины, как ракеты. Ослепительные ледяные звезды направляли на землю лучи и, вонзаясь в нее, наполняли почву мертвенным холодом, и надвигающийся лед лишь усиливал его. А на поверхности нерушимый ледяной массив неуклонно полз вперед, неумолимо истребляя всякую жизнь. Я чувствовал необходимость действовать безотлагательно: нельзя терять ни минуты, для меня начиналась ужасная гонка со льдом. Ее белые волосы, сиявшие ярче лунного света, осветили мои грезы. Я видел, как мертвенный лунный свет пляшет на гранях айсбергов в преддверии конца всего живого и как она смотрит на это из-под навеса сверкающих волос.

Я мечтал о ней во сне и наяву. Я слышал, как она кричит: "Когда-нибудь я убегу... и вы меня больше не увидите..." Меня она уже покинула. Убежала. Она бежала по улице незнакомого города. Но выглядела она теперь иначе: более уверенной, не встревоженной. Она точно знала, куда ей идти. В огромном здании госучреждения она сразу направилась в комнату, где было столько народу, что она с трудом открыла туда дверь. Лишь крайняя худоба позволила ей проскользнуть меж высоких молчаливых фигур, неестественно молчаливых и нереально высоких, отворачивавшихся от нее. Тревога стала возвращаться, когда она увидела, что они столпились вокруг нее, окружили, как темные деревья. Она почувствовала себя среди них маленькой, потерянной и сразу испугалась. Уверенности как не бывало. Теперь она хотела только одного — убежать. Глаза ее заметались в поисках двери, но выхода не было. Она попала в западню. Безликие, похожие на деревья фигуры обступали ее, протягивали руки-ветви, преграждали путь. Она глянула вниз, но и там выхода не было. Крепкие стволы стояли повсюду. Пол стал темной почвой в узловатых корнях и валежнике. Она бросила быстрый взгляд на окно, но увидела лишь белую снежную сетчатую ткань, скрывающую свет. Тот мир, который она знала, больше не существовал, реальность исчезла, она осталась наедине с грозным кошмаром древесных фантомов, высоких, как растущие в снегах ели.

Ситуация в мире все осложнялась. Разрушения продолжались, не было никаких оснований полагать, что лед замедлил свое неумолимое наступление. У людей практически не осталось возможности выяснить, что же происходит в действительности, никто не знал, чему верить, — надежного источника информации просто не существовало, и это порождало всеобщую деморализацию. Из-за границы — с учетом всех возможных версий происходящего — поступало совсем мало новостей; а из некогда могущественных стран, которые просто перестали существовать — и вовсе никаких. И вот это неумолимое наступление стихии безмолвия более всего лишало людей мужества и подрывало общественную мораль.

В некоторых государствах гражданское неповиновение привело к тому, что к власти пришли военные. В последние несколько месяцев произошел ощутимый сдвиг к милитаризму, приведший к диким, достойным сожаления последствиям. Частыми стали вооруженные конфликты между гражданским населением и армией. Убийства полицейских и солдат и вызванные ими карательные операции и казни стали обычным делом.

Вполне понятно, что из-за отсутствия достоверных сведений широкое распространение получили невероятные слухи. Говорили, что в отдаленных районах разразились чудовищные эпидемии и страшный голод, а еще — жуткие мутации. Периодически сообщалось, что та или иная держава обладает запасом термоядерного оружия, которое в соответствии с международными договоренностями давно подлежало уничтожению. Настойчивые слухи циркулировали вокруг некой самодетонирующей кобальтовой бомбы, чей часовой механизм установлен на определенное время, когда будет уничтожено все живое, а неживые объекты останутся невредимы. Разведки и контрразведки работали так активно, как никогда. Острый дефицит продуктов во всех странах провоцировал голодные бунты. Криминальные сообщества процветали и повсеместно терроризировали законопослушных граждан. Введенная в целях устрашения смертная казнь за мародерство не дала ощутимых результатов.

Известия о девушке поступили ко мне через третьи руки. Она жила в некоем городе, в другой стране. Я практически не сомневался, что город этот находился в зоне непосредственной опасности, впрочем, проверить это не представлялось возможным, поскольку все сведения относительно продвижения льда были строго засекречены. Благодаря неуемной настойчивости и огромным взяткам, мне удалось сесть на корабль, отправлявшийся в том направлении. Капитан был не прочь подзаработать и согласился зайти в указанный мною порт.

Мы прибыли рано утром, было невероятно холодно и темно, хотя уже должно было рассвести. Ни неба, ни туч — все спряталось под падающим снегом. Это утро не походило ни на какое другое, это было противоестественное вмерзание дня во тьму, весны в арктическую зиму. Я пошел попрощаться с капитаном, который спросил, не передумал ли я сходить на берег. Я сказал, что не передумал. "Тогда идите уж, ради Бога. Не заставляйте нас торчать здесь без толку". Он был сердит и озлоблен. Мы расстались, не произнеся более ни слова.

Я вышел на палубу со старпомом. Воздух жалил, словно кислота. То было дыхание льда, полярных районов, где почти невозможно дышать. Мороз сек кожу, иссушал легкие, однако тело начало приспосабливаться к этим суровым условиям. Из-за густого снега в верхних слоях атмосферы повисла похожая на туман мгла. Все вокруг тускнело под маленькими хлопьями, беспрестанно сыплющимися из покрытого саваном неба. Холод обжег мне руки, когда я налетел на одну из

судовых надстроек, которую разглядел лишь тогда, когда столкновения было уже не избежать. Было тихо, и, ощутив ритмическую вибрацию у себя под ногами, я сказал сопровождающему: "Двигатели не стали останавливать". Меня это почему-то удивило. "Куда там, останавливать. Шкипер ждет не дождется, когда можно будет повернуть обратно. Он который день проклинает вас из-за того, что нам пришлось сюда заходить". В нем чувствовалась та же враждебность, что и в капитане, а еще он проявил неуместное любопытство, спросив: "Какого черта вы сюда поперлись?" — "Это мое дело". Погруженные во враждебное молчание, мы дошли до обледеневших перил, веревочная лестница свисала туда, где за сталью обшивки шумели двигатели. Не успел я опомниться, как он уже перекинул ногу. "Гавань замерзла. Нам придется высадить вас на воду". И он принялся быстро, с моряцкой ловкостью спускаться по трапу. Я неуклюже последовал за ним, ослепленный снегом, цепляясь обеими руками. Я не видел, кто стянул меня в качающуюся лодку, кто протолкнул к сиденью; моторка немедленно рванула. Лодка неслась на полной скорости, ныряла и вздымалась, как брыкливая лошадь, о крышу маленькой кабинки разбивались струи брызг. Было слишком шумно, чтобы расслышать голоса, но я чувствовал убийственную неприязнь всех, кто находился на борту: они ненавидели меня за то, что я подвергал их опасности, когда они могли быть на пути к спасению. В моем поведении они видели глупость и извращенность. Я и сам, закутавшись в пальто на жестоком парализующем холоде, стал сомневаться, есть ли в нем смысл.

Внезапный протяжный крик испугал меня; это больше походило на вой. Старпом вскочил, прокричал что-то в мегафон и сел со словами: "Да здесь одностороннее движение". Видя, что я не понял, он добавил: "Большинство движется в обратную сторону" — и указал рукой.

Мне с трудом удалось разглядеть маленькие лодки, устремившиеся к неподвижно стоящему на рейде судну. Они беспрестанно сновали вдоль бортов и яростно боролись за место возле корабля, чтобы можно было забраться на палубу. Места на всех не хватало. Вдоль перил собрались зрители и наблюдали, как сталкиваются и опрокидываются лодки. Те, кто был в лодках, видимо жили безбедно и, непривычные к опасности, боролись за жизнь неумело, очертя голову, растрачивая силы в бессмысленной толкотне. Одна лодка плыла уже вверх дном, облепленная бешено цепляющимися руками. Идущая следом врезалась в нее на полном ходу, и сидящие в ней стали пинать ногами цепляющиеся руки, с трудом

отбиваясь от утопающих. В замерзающем море даже самому выносливому пловцу долго не продержаться. Еще несколько переполненных и неумело управляемых лодок перевернулись и затонули. Некоторые дали трещину после столкновения. В тех что остались на плаву, пассажиры в панике выпихивали друг друга, веслами отбиваясь от тех, кто пытался уцепиться за борт. Били даже умирающих. После того как вся эта картина скрылась за стеной снега, еще долго слышался смешанный гул криков, гулких ударов, всплесков. Я вспомнил спокойные, сдержанные голоса, рассказывающие в эфире про отчаяние, заставляющее людей хвататься за любую возможность убежать из опасных районов.

На серо-белом просторе замерзшей гавани кое-где проглядывали черные точки покинутых, вмерзших в лед судов. В толстенном льду узкий канал темной воды обрамляли острые зубы ледяной ухмылки. Я прыгнул на берег, снег полетел от винта, катер исчез из виду. Прощаться мы не стали.

Десять

Это мог быть какой угодно город, в какой угодно стране. Я ничего не узнавал. Снег накрыл все ориентиры. Здания превратились в безликие белые утесы.

На улице слышались крики, звуки бьющегося стекла и отдираемых досок, беспорядочная суета мародерства. Толпа ворвалась в магазины. У них не было ни главаря, ни четкой цели. Неорганизованный сброд, шатающийся в поисках развлечения и наживы; напуганные, голодные, взвинченные, они были готовы к насилию. Они дрались между собой, используя в качестве оружия все, что попадалось, отнимали друг у друга добычу, прибирая к рукам все, что можно, даже самые бесполезные предметы, чтобы потом, бросив их, бежать за новой поживой. Все, что не могли взять с собой, ломали. Их обуяла бессмысленная мания разрушения, им хотелось рвать все на мелкие кусочки, разбивать вдребезги, топтать ногами.

На улице показался пожилой армейский офицер, он задул в свисток, вызывая полицию, и зашагал к мародерам, выкрикивая приказы свирепым армейским голосом, не переставая дуть в свисток. Лицо, обрамленное каракулевым воротником добротной шинели, потемнело от ярости. Большая часть толпы, увидев его, бросилась врассыпную. Но самые дерзкие остались, притаившись средь обломков. Он яростно пошел на них, угрожая тростью, поносил их, кри-

чал, чтоб они убирались. Сначала они не обращали внимания, потом, встав неровным кругом, двинулись на него одновременно из разных точек, группами по три-четыре человека. Он выхватил револьвер, стрельнул поверх голов. Это была ошибка — нужно было стрелять в них. Они столпились вокруг него, стараясь выхватить оружие. Полиция все не появлялась. Началась драка, пистолет офицера выпал или был выбит и провалился сквозь решетку сточного люка. Его владелец, мужчина под шестьдесят, высокий и решительный, дышал уже тяжело. Перед ним стояли молодые хулиганы со зловеще пустыми лицами. Они кинулись на него с железными прутьями, с кусками стекла, с обломками мебели, со всем, что было под рукой. Он отражал их удары тростью, прислонившись спиной к стене. Численное преимущество и настойчивость нападавших постепенно истощали его силы, движения его замедлились. В него бросили камень. За ним полетел град камней. Одним из них сбило шапку. Вид его лысого черепа вызвал шквал похабных выкриков, он на секунду растерялся. Воспользовавшись этим, они подошли еще ближе и набросились на него, как стая волков. Он вжался в стену, по лицу струилась кровь, но он все еще сдерживал их натиск. Потом что-то блеснуло. Кто-то один вытащил нож, остальные последовали его примеру. Он схватился за грудь, сделал несколько нетвердых шагов. Как только он отделился от стены, на него набросились со всех сторон, повалили, стали на нем прыгать, сорвали шинель, колотили головой о мерзлую мостовую, били ногами, исполосовали лицо цепями. Он больше не двигался. У него не было шансов. Это было убийство.

Меня это, в общем-то, не касалось, но просто смотреть, ничего не предпринимая, я не мог. То были отбросы общества, и в нормальные времена они не осмелились бы и близко к нему подойти, не то, что тронуть его. Какой-то подросток, глумясь, накинул на себя его добротную шинель и принялся плясать, путаясь в длинных полах. Я с яростью бросился на него, сорвал шинель, заломил руки, и швырнул на другую сторону улицы, и с удовлетворением услышал хруст, когда он своей мерзкой рожей врезался в стену. Обернувшись, я столкнулся с детиной вдвое больше того подростка, увидел мелькнувший перед глазами ботинок. От острой боли в ноге я пошатнулся, но быстро взял себя в руки и вовремя заметил нацеленный на меня кулак. Я среагировал так, как меня учили. Падение на спину, ножной захват лодыжки, и удары пяткой по зажатой в тиски коленной чашечке, пока та не хрустнет. Краем глаза я заметил, как из его рук выпал нож. Через

секунду на меня набросится вся банда. Шансов у меня было не больше, чем у того офицера, но, прежде чем они меня прикончат, я решил извести как можно больше этого отродья. Вдруг раздались выстрелы, крики, торопливые шаги: наконец, появилась полиция. Я посмотрел, как они гонят мародеров за угол на другую улицу, и заковылял к распростертому на земле телу.

Он лежал на спине, из множественных ран сочилась кровь. Еще недавно это был мужчина в расцвете сил, внушительный, высокий, импозантный, в завидной физической форме. Теперь нос был сломан, рот разорван, один глаз наполовину вылез из орбиты, вся голова в крови и грязи, лицо разбито до неузнаваемости. Повсюду кровь — они чуть не оторвали ему правую руку. Он не шевелился и уже не дышал. Я встал на колени, расстегнул китель, сорочку, положил руку на грудь. Биения сердца не чувствовалось, а рука стала липкой от крови. Я вытер руку платком, пошел за шинелью и накрыл изуродованное тело. Хотелось как-то сохранить его достоинство. Мы не были знакомы и ни разу в жизни не обмолвились и словом, но это был человек той же породы, что и я — не то, что эта чернь. Он погиб от руки тех, кто должен был преклоняться перед его силой и мощью. Он, немолодой уже человек, трезво оценивая ситуацию, все же выступил против них и выступил в одиночку. И как они обошлись с ним! В этом было попрание всех законов. Я сожалел, что не смог наказать их как следует.

Я вспомнил про револьвер и ступил на решетку. С трудом протиснув пальцы, я достал его, положил в карман пальто и пошел дальше, все еще сильно прихрамывая — нога жестоко ныла. Вдруг послышался крик, просвистел выстрел. Я остановился и подождал, пока меня не нагнали полицейские.

"Кто вы? Что вы здесь делаете? Зачем вы трогали тело? Это запрещено". Не успел я ответить, как послышался скрежет, окно первого этажа распахнулось, смахнув сугроб, собравшийся на подоконнике, оттуда высунулась женская голова. "Это храбрый мужчина. Его медалью нужно наградить. Я все видела. Он набросился на эту шайку один, с голыми руками, хотя у них были ножи, а он — безоружный. Я все видела из этого вот окна". Полицейский записал ее имя и адрес в блокнот.

Они стали заметно дружелюбнее, но все равно настояли, чтобы я прошел в участок и написал заявление. Один из них взял меня под руку. "Это буквально на соседней улице. Да и первая помощь вам, похоже, не повредит". Пришлось идти. Это было совсем некстати: я не хотел раскрывать себя, рас-

сказывать о своих целях. Кроме того, будет очень неловко, если они найдут револьвер, ведь они, конечно же, узнают армейскую модель. Сняв пальто, я аккуратно свернул его так, чтобы револьвер в кармане не был заметен. Они обработали мою ногу, заклеили ее пластырем. Я умылся и выпил крепкого кофе с ромом. Допрашивал меня начальник. Он взглянул на мои документы, но занимало его, как видно, что-то другое. Спрашивать, есть ли у него точная информация о продвижении льда, было бесполезно. Мы обменялись сигаретами, обсудили проблему снабжения. Он рассказал, что пайки распределяются в соответствии с деятельностью каждого гражданина и его ценностью для общества: "Кто не работает, тот не ест". В лице его угадывалось переутомление; кризис, должно быть, ближе, чем я думал. Осторожно подбирая слова, я спросил про беженцев. Голодные толпы спасающихся ото льда были проблемой для всех оставшихся на плаву государств. "Если они способны работать, мы разрешаем им остаться. Нам нужны рабочие руки". Я сказал: "Это должно быть непросто. Как вам удается всех разместить?" — "Для мужчин есть лагеря. Женщин селим в общежития". К этому я и подводил. Изображая сугубо профессиональный интерес, я спросил: "А мне разрешат взглянуть на такое общежитие?" — "Почему нет?" — он устало улыбнулся. Я не мог понять, то ли это проявление вежливости, то ли обыкновенное безразличие. Все обернулось куда лучше, нежели я предполагал. Я получил нужную мне информацию и отличный армейский револьвер.

Я отправился на поиски девушки. Снова пошел снег, ветер стал сильней и холодней. На улицах не было ни души, дорогу спросить было не у кого. Я решил, что нашел нужный мне дом, но таблички видно не было. Возможно, я опоздал, возможно слишком долго пребывал в бездеятельности... Я дергал каждую дверь этого дома, но все они были заперты.

И все-таки одну приоткрытую дверь мне удалось найти, я зашел без колебаний. Внутри было пусто, обшарпанно, похоже на госучреждение. Комнаты не обогревались. Она сидела в своем сером пальто, закутав ноги в нечто похожее на гардину. Увидев меня, она ее отбросила и вскочила на ноги. "Вы! Это, наверное, он вас послал — вы что, не получили мою записку?" — "Никто меня не посылал. Какую записку?" — "Я оставила вам письмо, с просьбой не преследовать меня". Я сказал, что ничего не получал, хотя это ничего бы не изменило, я все равно приехал бы. Ее большие глаза смотрели на меня с недоверием, возмущением и страхом. "Не желаю иметь ничего общего ни с одним из вас". Я пропустил это мимо ушей.

"Вам нельзя здесь оставаться". — "Почему? Я вполне справляюсь сама". Я спросил, чем она занимается. "Работаю". — "А сколько вам платят?" — "Нас кормят". — "Денег вы не получаете?" — "Иногда тем, кто на тяжелых работах, дают деньги. Но я слишком худая для таких работ, — продолжала обороняться она, — говорят, мне не хватает жизненной силы". Все это время я рассматривал ее: она выглядела так, словно длительное время недоедала, даже голодала. Ее тонкие запястья всегда очаровывали меня; теперь же я едва мог отвести взгляд от палочек, высовывающихся из-под тяжелых рукавов. Вместо того чтобы расспросить поподробнее, что за работу она выполняет, я поинтересовался ее планами на будущее. "С какой стати я буду вам об этом рассказывать", — отрезала она, и я понял, что планов у нее нет. Я сказал, что больше всего хочу, чтобы она видела во мне друга. "С чего бы это? У меня нет на то причин. Да и не нужны мне друзья. Я и одна справлюсь". Я стал говорить, что приехал в надежде забрать ее туда, где климат мягче и жить не так тяжело. Почувствовав, что она начинает сдавать позиции, я указал рукой на покрытое густой изморозью окно, до половины заваленное снегом. "Вы еще не достаточно намерзлись? — Она больше не в силах была сдерживаться и всплеснула руками. — Кроме того, находясь здесь, вы подвергаете себя опасности". Она начинала терять самообладание. "Какой опасности?" Я видел, как расширяются ее зрачки. "Лед..." Я хотел сказать еще что-что, но одного слова оказалось достаточно. Весь вид ее говорил о том, что она боится; она задрожала.

Я приблизился, коснулся ее руки. Она отдернула ее. "Не надо!" Я взялся за полу ее пальто и посмотрел в недовольное испуганное лицо ребенка, которого предали, который долго плакал, отчего вокруг глаз образовались темные круги. "Оставьте меня! — Она попыталась выдернуть тяжелую материю из моих рук. — Уходите! — Я не шевельнулся. — Тогда уйду я!" Она вырвалась, кинулась к двери. Дверь с грохотом распахнулась, да так резко, что она не удержалась и упала. Ее яркие волосы рассыпались по полу, живые, переливающиеся, как ртуть, блестящие как бриллианты на темном, унылом, грязном полу. Я поднял ее. Она вырывалась, с трудом переводя дыхание. "Отпустите! Я вас ненавижу, ненавижу вас!" Сил у нее не осталось. Я как будто держал вырывающегося котенка. Я захлопнул дверь и повернул ключ в замке.

Несколько дней я прождал, хотя ждать было очень непросто. Пора было уезжать. До величайшей катастрофы оставались считаные часы. Невзирая на секретность, соблюдаемую вокруг интересующей всех темы, утечка информации, види-

мо, все-таки произошла. Весь город охватила судорожная активность. Из своего окна я наблюдал, как от двери к двери бегал молодой человек, разнося ужасное известие. В кратчайшее время, буквально за несколько минут, улица заполнилась людьми, несущими сумки и тюки. Беспорядочность передвижения выдавала испытываемый ими острый страх, в безумной суматохе одни шли туда, другие — обратно. Четкого плана или даже направления у них, похоже, не было, только непреодолимое желание — бежать из города. Я был удивлен, что власти ничего не предпринимают, и предположил, что, не будучи в состоянии выработать схему эвакуации, они просто решили — пусть все идет своим чередом. Наблюдать этот хаотичный исход было крайне тяжело. Люди охвачены паникой. Во мне они, очевидно, видели сумасшедшего, который сидит в баре, вместо того чтобы готовиться к бегству. Их страх передавался, как инфекция; атмосфера нависшей катастрофы действовала и на меня, и я очень обрадовался, когда получил ожидаемое известие. Корабль бросит якорь рядом с гаванью, где-то на кромке льда. Это будет последнее судно, и простоит оно не больше часа.

Я пошел к девушке и сказал, что это наш последний шанс и что ей придется пойти со мной. "Я с вами никуда не пойду. Я вам не доверяю. Я останусь здесь, потому что здесь я свободна". — "Свободна? Свободна голодать? Замерзнуть насмерть?" Я взял ее в охапку, поднял со стула и поставил на ноги. "Я никуда не хочу бежать, вы не можете меня заставить". Она отпрянула и встала у стены, широко распахнув глаза, в ожидании, что кто-то или что-то придет ей на помощь. Мое терпение кончилось. Я схватил ее за руку и вытащил из дома. Мне пришлось тянуть ее всю дорогу.

Снег шел так густо, что противоположную сторону улицы было не разглядеть; все вокруг закоченело, стало мертвенно-белым, почти полярным. Арктический ветер гнал клубы снега, как пушинки. Идти было тяжело, ветер швырял снег в лицо, закидывал со всех сторон, закручивал безумные снежные спирали. Все вокруг было размыто, смазано, неразличимо. Вдруг из бурана появились шестеро конных полицейских, стука копыт слышно не было, только позвякивали уздечки. Увидев их, девушка закричала: "Помогите!" Решив, что они могут ее спасти, она стала вырываться, махать им рукой. Я крепко схватил ее, не отпуская ни на шаг. Мужчины посмеялись над нами и, посвистывая, исчезли в белой пурге. Она разрыдалась.

Я услышал, как к нам медленно приближается звон колокольчика. Из-за угла, пошатываясь, появился старый священ-

ник в черной сутане с капюшоном, согнувшись чуть ли не вдвое, он шел против шквального ветра, ведя за собой толпу прихожан. По ходу он все время слабо позвякивал колокольчиком, каким зовут со двора школьников. Когда у него уставала рука, он давал ей отдохнуть, а сам выкрикивал дрожащим голосом: "Sauve qui peut!"[1] Некоторые из следовавших за ним подхватывали его слова, будто это погребальная песня, один или двое останавливались у дверей и начинали стучаться. Из нескольких домов выползли закутанные фигуры и присоединились к процессии. Интересно, куда и зачем они шли, далеко они вряд ли доберутся. Люди все были старые, дряхлые и немощные. Молодые и здоровые бросили их на произвол судьбы. Они шли нетвердым шаркающим шагом, движения их были некоординированы, увядшие лица покраснели от ветра.

Девушка все время спотыкалась в глубоком снегу. То и дело приходилось нести ее на себе, хотя сам я с трудом дышал. Мороз не давал вздохнуть, дыхание смерзлось в сосульки на воротнике. Замерзшая слизистая закупорила ноздри льдом. После каждого вдоха полярного воздуха я начинал кашлять и задыхаться. До гавани мы добирались несколько часов. Увидев лодку, она возобновила свои слабые протесты и закричала: "Вы не имеете права..." Я затолкал ее в лодку, прыгнул за ней, оттолкнулся от берега и налег на весла, что было мочи.

Нам что-то кричали с берега, но я не обращал внимания, все мои мысли были только о ней. Канал стал значительно уже, края подмерзли, и скоро его полностью затянет льдом. От толстого льда, покрывавшего гавань, раздавался невероятно звучный, как выстрелы или раскаты грома, треск. С моего лица как будто слезла кожа, руки посинели и горели от холода, но я продолжал изо всех сил грести к кораблю, сквозь вихри снежного бурана, через летящие брызги, гудящий лед, вопли, грохот и кровь. Маленькая лодка, идущая за нами, пошла ко дну, и вода забурлила от лихорадочно бьющихся в ней конечностей. В планшир вцепились пальцы утопающего, я ударил по ним. Мимо проплыла парочка влюбленных, отчаянно цепляющихся друг за друга окоченевшими руками, они то показывались, то снова исчезали в мерзлой воде. Лодку вдруг жестоко тряхнуло, я обернулся и вытащил револьвер. Я понимал, что происходит. За моей спиной на борт забрался мужчина. Я выстрелил, спихнул его в воду, вода стала быстро

1. "Спасайся, кто может!" (*франц.*)

краснеть. Борт корабля вырос перед нами как отвесная скала, сходной трап доходил мне только до плеча.

Колоссальными усилиями, сам не пойму как, мне удалось поднять девушку на деревянные ступени, забраться следом и дотащить до палубы. Нам разрешили остаться. Больше на борт не поднялся никто. Корабль мгновенно отошел. Это был триумф.

Во время нашего путешествия мы пересаживались с корабля на корабль. Она не выносила холода, все время дрожала — казалось, вот-вот разобьется на мелкие кусочки, как венецианское стекло. Она словно вошла в стадию распада, стала еще тоньше и бледнее, еще более прозрачной, похожей на призрак. Наблюдать за этим процессом было небезынтересно. Она почти не двигалась и вставала только по крайней необходимости. Руки и ноги ее сделались настолько хрупкими, что казалось, ими нельзя пользоваться. Времен года мы больше не различали — их сменил вечный холод. Стены льда гудели и грохотали, гладкий, блестящий, неземной, ледяной кошмар; дневной свет терялся в зловещем сверкающем мираже айсбергов. С одной стороны, я согревал и поддерживал ее, с другой — убивал.

Мороз слегка ослаб. Мы сошли на берег, чтобы дождаться следующего корабля. Страна находилась в состоянии войны, город подвергся жестоким разрушениям. Устроиться было негде; восстановили пока только одну гостиницу, в которой лишь один этаж был закончен, и все пригодные для обитания уголки заняты. Ни уговорить, ни подкупить никого не удалось, комнату нам не дали. Путешественников не жаловали, что естественно при подобных обстоятельствах. Нам объяснили, что мы можем остановиться в лагере для беженцев за городом. Мы поехали туда через разгромленные районы, где не было ни садов, ни деревьев, ни кустика. За городом начиналась абсолютно плоская равнина, а там, где было поле боя, теперь — пустыня, усеянная мусором.

Нас разместили на бывшей ферме. Вокруг царил неописуемый хаос. Повсюду валялись части разломанных телег, тракторов, машин, хозяйственного инвентаря, старых шин, каких-то непонятных приборов вперемешку с разбитыми орудиями и боеприпасами. Провожатый предупредил нас, чтоб мы были внимательны и шли осторожно, вокруг могут быть мины или невзорвавшиеся снаряды. Внутри дома — всякий хлам, раздробленный так мелко, что определить, чем это было раньше, не представлялось никакой возможности. Нас привели в комнату с земляным полом, без мебели, с дырами в стенах и наспех подлатанной крышей, на полу, прислонив-

шись к стене, молча, не шевелясь, сидели трое. Они были едва живы, и, когда я с ними заговорил, они так и продолжали сидеть молча, не шевелясь. Позже я узнал, что они оглохли, им разорвало барабанные перепонки. Людей в подобном состоянии (у кого-то была содрана кожа на лице, у кого-то губы потрескались от смертоносного ветра) в стране было множество. На полу, под тонким покрывалом еще кто-то лежал. С его головы клочками падали волосы, лицо и руки были покрыты струпьями, всякий раз, когда он кашлял, в черных кровоточащих деснах дребезжали готовые выпасть зубы, он, не переставая, стонал, и плевался кровью. Вокруг него бродили тощие кошки и изящными заостренными язычками подлизывали кровь.

Мы остались там до прибытия корабля. Я хотел найти что-то, на чем можно сконцентрировать взгляд, но не было ничего ни внутри, ни снаружи — ни полей, ни домов, ни дорог. Лишь огромные кучи камней, мусора, костей животных. Камни всевозможных размеров и форм покрывали землю густым метровым слоем, повсюду громоздились огромные курганы — вместо холмов в обычном пейзаже. Мне удалось раздобыть лошадь, и я проскакал десять миль в глубь страны, и везде те же ужасные картины, та же серая каменная пустыня без признаков жизни или воды простиралась от горизонта до горизонта. Естественный рельеф был разрушен войной, вместо холмов — каменные насыпи, земля, казалось, умерла, окаменела.

Девушка была истощена, измучена путешествием и не хотела его продолжать. Она все время говорила, что ей надо отдохнуть, умоляла меня оставить ее и ехать дальше одному. "Не надо тащить меня, — раздраженно говорила она. — Ты делаешь это только чтобы меня помучить". Я отвечал, что лишь пытаюсь ее спасти. В глазах ее промелькнула злоба. "Это я уже слышала. Какой же я была дурой, что поверила тебе". Несмотря на все мои старания ей угодить, она по-прежнему относилась ко мне, как к вероломному врагу. До сих пор я старался успокаивать ее, пытался относиться к ней с пониманием. Но теперь ее постоянная враждебность доконала меня. Я вошел за ней в крошечную каюту. Она сопротивлялась, корабль накренился, она упала и сильно ударилась плечом. "Скотина! Животное! Я призираю тебя! — кричала она, пытаясь встать и ударить меня; я не дал ей подняться, прижав к твердому, холодному полу. — Как я хочу тебя убить!" — крикнула она, зарыдала и забилась в истерике. Я дал ей пощечину.

Она стала бояться меня, но враждебность не ослабла. Ее бледное, упрямое лицо напуганного ребенка действовало

мне на нервы. Ей по-прежнему все время было холодно, хотя становилось заметно теплее. Она отказывалась от моего пальто, и мне тяжело было смотреть, как она постоянно дрожит.

Она все больше худела, плоть будто стаивала с костей. Волосы потеряли блеск, стали для нее слишком тяжелы и оттягивали голову вниз. Она все время опускала голову, стараясь не глядеть на меня. Пребывая в апатии, она либо пряталась по углам, либо, спотыкаясь, шаталась по судну, еле держась на слабых ногах. Я уже не испытывал никакого влечения, перестал с ней разговаривать, я взял на вооружение молчание правителя в качестве стиля общения с ней. Я отлично понимал, какое зловещее впечатление должны были производить мои безмолвные появления и уходы, и даже испытывал от этого странное удовольствие.

Мы приближались к концу нашего путешествия.

Одиннадцать

Веселый город, целый и невредимый, полный света и красок, свободы, безопасности, теплого солнца. Счастливые лица. Эйфория от удавшегося побега. Длинный, тяжкий, полный опасностей путь и предшествующий ему кошмар были забыты, ушли в прошлое. Пока кошмар длился, он был единственной реальностью, а потерянный мир казался плодом воображения, сновидением. Теперь же реальностью стал этот потерянный и вновь обретенный мир. Театры, кино, рестораны и гостиницы, магазины, где свободно, без каких-либо талонов продавались всевозможные товары. Ошеломляющий контраст. Непомерное облегчение. Реакция у многих была слишком бурная. Кого-то это приводило к веселью на грани безумия, кого-то к умопомрачению. Люди пели и плясали на улицах, обнимались со случайными прохожими, весь город был украшен, как для карнавала: повсюду цветы, на деревьях развешаны китайские фонарики и гирлянды, здания подсвечены прожекторами, в садах и парках иллюминация. Пульсация танцевальных ритмов не прекращалась ни на секунду. Фейерверки каждую ночь. В ночное небо, оставляя длинный шлейф, взмывали огненные звезды и ракеты, отражаясь в темной воде гавани. Праздникам не было конца: карнавалы, цветочные парады, балы, регаты, концерты, шествия. Ничто здесь не напоминало о событиях, происходящих в других частях света. Распространение доходящих оттуда слухов жестоко пресекалось приказом консула, который

взял на себя обязанности по поддержанию права и порядка, "вплоть до восстановления статус-кво". По новым правилам говорить о катастрофе запрещалось. Желание не знать было возведено в закон.

Помня о том, как некогда сам хотел все забыть, я понимал, чем вызвана эта эйфория, но мириться со слепотой и неведением я был не готов. Я не принимал участия в общем ликовании; мне было не до веселья. Я не хотел провести остаток жизни в плясках, или наблюдая за фейерверками. Довольно скоро музыканты и нарядно одетые люди стали вызывать у меня отвращение. Девушке же веселье пришлось по душе, оно полностью ее преобразило, чудесным образом вдохнув в нее жизнь. Исчезли слабость и апатия, она бегала по магазинам, скупая наряды и косметику, посещала парикмахерские и салоны красоты. Она стала другим человеком. Она уже не была стеснительной, с легкостью заводила дружбу с новыми знакомыми, и, черпая уверенность в их благосклонности, стала жизнерадостной и независимой. Мы почти не виделись; частенько я даже не знал, где она. Ко мне она приходила, только когда ей требовались деньги, которые тут же ей выдавались. Для меня ситуация складывалась не лучшим образом. Я хотел прекратить все это.

Невозможно отгораживаться от мира вечно. Судьба планеты волновала меня, и, как бы ни разворачивались события, я хотел принимать в них активное участие. Нескончаемые празднования наскучили, от них так и веяло пороком, это был пир во время чумы. Люди обманывали себя, поддаваясь ложному ощущению безопасности, потакая собственным слабостям и принимая желаемое за действительное. Я не верил ни секунды, что кто-то из них спасется.

Я внимательно следил за погодой; стояли ясные и теплые дни. Но тепла было все же недостаточно. Я заметил, что температура резко падает после заката и становится ощутимо холоднее. То был верный знак. Когда я говорил об этом, меня убеждали, что сейчас просто такой сезон. Ведь у солнца все равно должно быть много силы. Я стал замечать и другие признаки изменения климата. Растения в тропических садах начали хиреть. Я спросил у служащего, отчего. Он с подозрением посмотрел на меня и пробормотал что-то уклончивое; когда же я стал настаивать, он сказал, что его ждет главный садовник, и убежал. Я заговорил о прохладных вечерах с местными жителями, увидев, как странно они одеты, когда выходят на улицу. Очевидно, они не привыкли даже к такой умеренно пониженной температуре, у них просто не было подходящей одежды. Они тоже отвечали уклончиво и с тре-

вогой поглядывали на меня. В свете новых законов, они, наверное, приняли меня за провокатора.

Мой знакомый, занимающий пост в правительстве, остановился в городе на дозаправку самолета. Я связался с ним, хотел расспросить, что где происходит. На контакт он не шел. Мне было ясно по какой причине, и я не стал на него давить. Он не мог знать наверняка, на чьей я стороне. Ошибок не прощали. От всех и каждого требовалась полнейшая безоговорочная преданность. Неосторожная фраза могла погубить любого. Он все же согласился, хотя и неохотно, взять меня в свой самолет, но доставить готов был только до одного из островов архипелага. По карте я посмотрел, что остров, где обитают индри, совсем недалеко, и я пообещал себе краткий визит к лемурам, прежде чем направиться к театру военных действий.

Я пошел сообщить о своих планах девушке. Стоя на перекрестке, я вынужден был пережидать, пока пройдет очередная процессия. Она была во главе шествия, стояла рядом с водителем в большой открытой машине, украшенной пармскими фиалками. Меня она не заметила, ей было не до этого. Волосы ее бледным огнем горели на солнце, она улыбалась и кидала фиалки в толпу. Трудно было узнать в ней ту девушку, что я привез сюда. Когда я потом вошел в ее комнату, на ней было все то же платье цвета пармских фиалок; нежный цвет очень шел к ее хрупкой фигурке, выглядела она чрезвычайно привлекательно. Сияющие волосы усеяны пармскими фиалками, несколько прядей слегка подкрашены в тот же цвет — в этой фантазии таилось особое очарование.

Я преподнес ей коробочку, попросив открыть ее позже, когда я уйду. В ней был браслет, которым она так восхищалась, и банковский чек. "А еще у меня есть для тебя хорошие новости. Я пришел попрощаться. — Она как будто смутилась и переспросила, что это значит. — Я уезжаю сегодня вечером. Улетаю на самолете. Ты разве не довольна? — Она молча уставилась на меня, а я продолжал: — Ты же всегда хотела избавиться от меня. Должна радоваться, что я наконец уезжаю". После паузы она произнесла холодным, полным укоризны голосом: "Что ты хочешь услышать? — Такой реакции я не ожидал. — И что ты за человек такой? — не отводя от меня холодного взгляда, внезапно спросила она таким тоном, который, видимо, считала уничижительным. — Может быть, теперь ты поймешь, почему я никогда тебе не доверяла. Я всегда знала, что ты снова предашь меня... бросишь, как ты не раз уже делал". — "Какая жестокая несправедливость! — возражал я. — Как ты можешь винить

меня, когда сама сказала, чтоб я уходил, ты мне дала ясно понять, что у тебя нет для меня времени — с тех пор как мы здесь, я тебя почти не вижу". — "О...!" — с отвращением воскликнула она, повернулась спиной и отошла от меня на несколько шагов.

Пышная юбка шевельнулась, от фиалок шло шелковистое мерцание, похожее на лунный свет, густые светлые волосы покачивались, сверкая фиолетовыми прядями. Я подошел к ней, дотронулся кончиками пальцев до волос и почувствовал, что они полны жизни. От гладкой ароматной кожи исходило мягкое атласное сияние, на тонком запястье — браслет из фиалок. Я обнял ее и поцеловал в шею. Ее тело мгновенно напряглось, она извернулась и высвободилась. "Не прикасайся ко мне! Как у тебя еще наглости хватает... — Казалось, она вот-вот заплачет. — Ну и чего ты ждешь? Отчего не уходишь? Но теперь уж больше не возвращайся. Ни видеть, ни слышать тебя не желаю!" Она сорвала подаренные мною часы и кольцо и с силой бросила в мою сторону; потом подняла руки, пытаясь расстегнуть ожерелье сзади, в изгибе ее легкого тела было столько женской сладострастности, которой на самом деле в ней не было. Я с трудом сдержался, чтобы снова не обнять ее, но вместо этого попросил ее успокоиться. "Ну, зачем так злиться? Давай расстанемся по-хорошему. Ты же знаешь, какие чувства я испытывал к тебе все это время. Я повсюду искал тебя, силой привез сюда. Но ты так часто повторяла, что ненавидишь меня, что не хочешь иметь со мной ничего общего, что мне в конце концов пришлось поверить". Однако это была лишь полуправда, и мне это было известно. Я осторожно взял ее за руку. Рука была напряженной, неотзывчивой, но она все же не отдернула ее, позволила дотронуться до себя, не сводя с меня серьезных, невинных, чуть подведенных глаз, в которых читались сомнение, осуждение... Одной рукой она по-прежнему пыталась расстегнуть ожерелье; блестящие волосы, аромат фиалок так близко от меня. Потом мрачно сказала: "А если бы я всего этого не говорила, ты бы со мной остался?"

Сейчас надо было отвечать предельно честно, но я не был уверен, смогу ли, и в итоге единственными нелживыми словами оказались: "Не знаю".

Она вдруг рассвирепела, вырвала руку, а другой порвала ожерелье, и бусины разлетелись по комнате. "Как можно быть таким бессердечным — и гордиться этим! Любому на твоем месте было бы стыдно... а ты... ты даже не делаешь вида, что у тебя есть какие-то чувства... это так ужасно и отвра-

тительно... да ты просто недочеловек!" Мне было жаль, я не хотел ее обидеть; и по-своему мне было понятно ее возмущение. Мне нечего было сказать, а мое молчание еще больше ее распаляло. "Все, довольно! Иди! Уходи!" Она внезапно обернулась ко мне и неожиданно толкнула с такой силой, что я отшатнулся и, больно ударившись локтем о дверь, спросил раздраженно: "А чего ты так спешишь меня вытолкать? Ждешь кого-то? Владельца кабриолета, в котором ты разъезжаешь?" — "Как же я тебя презираю и ненавижу!" Она снова толкнула меня. "Убирайся, вон! Уходи!" Она набрала воздуха и стала колотить меня в грудь кулачками. Утомившись, внезапно остановилась и, свесив голову, прислонилась к стене. Наконец, яркая прядь упала, скрыв лицо, и я успел заметить, что оно покрылось пятнами. Последовала краткая пауза, и я почувствовал легкий озноб, прообраз того, что потом станет чувством пустоты, потери... того, во что превратится моя жизнь без нее.

Чтобы отогнать неприятное ощущение, надо было действовать. Я взялся за дверную ручку и сказал: "Хорошо. Я ухожу", отчасти надеясь, что в последнюю минуту она задержит меня. Она не шелохнулась, не проронила ни слова, не подала знака. Только когда я открыл дверь, из ее горла вырвался странный звук: всхлипывание, вздох, кашель, я так и не понял. Я вышел в коридор и быстро пошел мимо закрытых дверей к себе в номер.

У меня еще оставалось немного времени. Я заказал бутылку виски и стал пить. Я ощущал неуверенность и какую-то раздвоенность. Сумку я уже собрал и отнес вниз. Через несколько минут надо спускаться... если только я не передумаю... и не останусь... Я вспомнил, что так и не попрощался, стал думать, не вернуться ли, но никак не мог решиться. Пора было идти, а я все раздумывал.

Ее дверь находилась у меня на пути. Я притормозил на секунду и — поспешил к лифту. Конечно, нужно ехать. Только безумец мог упустить этот, будто по волшебству возникший шанс выбраться отсюда. Другой возможности не предвиделось.

Двенадцать

Новости, услышанные мной во время полета, подтвердили наихудшие опасения. События развивались так стремительно, что конец представлялся совсем близким. Исчезновение многих стран, включая мою родину, позволило уцелевшим

крупным державам действовать, ни на кого не оглядываясь. Их оголтелый милитаризм и развязанная ими война вынудила и малые народы разделиться на два лагеря. Запасы ядерного оружия у сверхдержав во много раз превышали количество, необходимое для уничтожения всей планеты, так что баланс страха тщательно соблюдался. Однако термоядерным оружием обладали и страны поменьше, но какие именно, известно не было: и неизвестность эта приводила к эскалации напряжения, провоцировала кризисы, каждый из которых приближал финальную катастрофу. Безумная страсть к гибели подталкивала человечество ко второму акту самоуничтожения еще до того, как проявились все последствия первого. Я впал в глубокую депрессию, меня не покидало ощущение, что вот-вот должно произойти что-то жуткое, что-то напоминающее массовую бойню.

Природа, казалось, разделяла мои опасения, тщетно пытаясь избегнуть надвигающейся гибели. Морские волны в беспорядочном беге спешили к горизонту; в воздухе бешено метались морские птицы, дельфины и летающие рыбы; острова вздрагивали, казалось, они вот-вот отделятся от земной коры и испарятся в пространстве.

Но бежать было некуда. Беззащитную землю ждало полное опустошение либо от ледяных лавин, либо от цепной реакции взрывов, которые будут продолжаться, пока, распылив саму материю, не превратят планету в туманность.

В джунгли на поиски индри я пошел один, очень надеясь, что их магическое воздействие сможет облегчить бремя накрывшей меня депрессии. И неважно, увижу ли я их, или они мне только привидятся. Было жарко и душно, солнце в последний раз с безумной силой изливало свою энергию на экватор. У меня разболелась голова и я совсем обессилел и, изнуренный обжигающим солнцем, прилег в черной тени и закрыл глаза.

Я тут же почувствовал, что лемуры где-то рядом. А может, именно их *присутствие* изгнало страх и отчаяние? Это было похоже на обнадеживающее послание из другого мира; мира, где нет жестокости и насилия, мира, где неизвестно отчаяние. Я часто мечтал о подобном месте — жизнь там, вероятно, в тысячу раз прекрасней, чем на земле. И вот один из его обитателей стоял сейчас передо мной. Он улыбнулся, прикоснулся к руке, произнес мое имя. Его спокойное, доброжелательное и умное лицо исключало какую-либо мысль о лжи или притворстве.

Он рассказал мне о пространственно-временных галлюцинациях и стыках между прошлым и будущим, о том, что

можно попасть в любой век и любой момент, и это станет твоим настоящим. Сказал, что, если я захочу, он возьмет меня в свой мир. Он и его соплеменники уже видели конец нашей планеты, исчезновение человеческой расы. Раса вымирала во всеобщем гибельном порыве, от фатальной жажды саморазрушения, хотя возможность сохранения такой формы жизни, как человек, все еще оставалась. Здесь с жизнью было покончено. Но в другом месте она продолжилась и получила новое развитие. И мы, если захотим, могли бы встроиться в эту новую систему.

Я старался понять его. Он был похож на человека, но было в нем что-то еще; он не был таким, как я. У него был доступ к высшему знанию, к некой окончательной правде. Он предлагал мне свободу своего привилегированного мира, мира, познание которого было моим самым сокровенным желанием. Я почувствовал возбуждение от предстоящего опыта, хотя и не был в состоянии его осмыслить. Из обреченного, умирающего, разрушенного человеком мира я как будто заглянул в другой, новый, бесконечно живой мир безграничных возможностей. На секунду я поверил в свою способность существовать на более высоком уровне, прижиться в этом изумительном новом мире, но, вспомнив о девушке, правителе, надвигающихся льдах, боях и убийствах, понял, что это выше моих сил. Я принадлежал к этому миру и был накрепко привязан к событиям и людям этой планеты. Отказываться от того, к чему я так стремился, было очень тяжело. Но я знал, что мое место здесь, в этом обреченном на гибель мире, и что мне придется остаться и досмотреть все до самого конца.

Сон, галлюцинация, что бы это ни было — произвело на меня неизгладимое впечатление. Я не мог забыть, выбросить из памяти отсвет высшего интеллекта, честность и чистоту лица пришельца. Осталось ощущение пустоты, потери, будто я держал в руках что-то по-настоящему бесценное и — выкинул вон.

С тех пор что бы я ни делал — это уже не имело значения. Я посвятил себя миру насилия и должен был действовать последовательно. Мне удалось добраться до материка, где шла партизанская война, и, безразличный ко всему, я примкнул к отряду наемников на службе у Запада. Мы сражались по пояс в грязи, в болотах дельты великой реки. Когда нас наконец отозвали, выяснилось, что в болоте людей погибло больше, чем в боях. Мне представлялось, что мы воюем со льдом, который неумолимо приближался, покрывая мир мертвенной тишиной, неся ужасное белое безмолвие. Продолжая вое-

вать, мы доказывали тем самым, что мы живы и противостоим ползущей по свету ледяной погибели.

Я по-прежнему ожидал чего-то страшного, пребывая в странном, словно подвешенном состоянии. Все чувства заметно притупились. Я замечал это и по себе и по окружающим. Во время подавления голодных бунтов, наши автоматы без разбора косили как бунтовщиков, так и безобидных прохожих. Меня это совершенно не трогало, и такое же безразличие я видел и у других. Люди стояли и смотрели на это, как на представление, даже не пытаясь помочь раненым. Некоторое время я спал в одной палатке с пятью солдатами. Они были чертовски отважны, они не думали ни об опасности, ни о жизни, ни о смерти — ни о чем, и были довольны, если каждый день получали котелок горячей картошки с мясом. Я не мог наладить с ними контакт; просто вешал плащ и лежал за ним, как за ширмой, не сомкнув глаз.

Последнее время все чаще называли имя правителя. В штабе Запада он занимал важный пост. Я вспомнил о его желании сотрудничать с крупными державами и не без доли восхищения отметил, как быстро он своего добился. Мысли о нем меня растревожили. Закончить свои дни наемником казалось мне полным идиотизмом, и я решил попросить его найти для меня работу более подходящую. Но до него еще нужно было добраться. Единственным, кто время от времени имел связь с вышестоящим командованием, был наш командир, но он отказался помочь мне, поскольку, кроме собственного продвижения по службе, его ничего не интересовало. Уже несколько дней мы осаждали хорошо укрепленное здание, в котором по некоторым сведениям хранились секретные документы. Он не просил подкрепления, поскольку твердо решил снискать славу, взяв здание без посторонней помощи. Несложная уловка, к которой я прибегнул, позволила ему занять здание и отослать документы в штаб, разумеется, он удостоился похвалы высокого начальства.

Впечатленный моей находчивостью, он пригласил меня выпить и предложил протекцию. На следующий день он должен был докладывать о своей военной операции лично, и я сказал, что, если он возьмет меня в штаб — это будет для меня лучшей наградой. Он возразил, что я нужен ему здесь, что я сначала должен научить его своим хитростям. Он был уже в сильном подпитии. Я подливал и подливал ему, пока он наконец не вырубился. Утром, когда он отъезжал, я прыгнул к нему в машину, сказав, что вчера он твердо обещал взять меня. Я рассчитывал, что он был слишком пьян, чтобы обо всем помнить. Момент был очень неприятный. Он явно что-то за-

подозрил. Но из машины не выкинул, и я доехал с ним до штаба. За весь день мы не обмолвились ни словом.

Тринадцать

Штаб они выстроили вдали от передовой, над огромным чистым зданием реял большой чистый флаг. На фоне старых, приземистых, каких-то рахитичных развалюх, штабная твердыня выделялась массивностью, дороговизной, нерушимостью. Камень и бетон. Здание это, казалось, вообще никакого отношения к войне не имеет: не считая часовых у главного входа, охраны видно не было. И внутри создавалось впечатление, что здесь не заботятся даже об элементарных мерах предосторожности. Я вспомнил пьяную оговорку командира: возможно, эти люди были слишком мягкотелыми, чтобы воевать; рассчитывая на техническое превосходство, неохватные размеры и огромные богатства своей страны, они не считали нужным ввязываться еще и в сражения, в конце концов они платили за это вассалам.

Меня направили в приемную правителя. В помещении работал кондиционер. Бесшумно и мягко скользили лифты. Широкие коридоры от стены до стены были застланы коврами. После убожества нашего жилища это помещение представлялось роскошным отелем. Несмотря на солнечный день, повсюду горели лампы. Герметично запечатанные окна не открывались. Все это создавало ощущение нереальности.

Секретарша в форме сказала, что правитель никого не принимает. Прямо сейчас он отправляется в инспекционную поездку и будет отсутствовать несколько дней. Я сказал: "Мне необходимо его увидеть. Срочно. Я специально приехал издалека. Это займет не больше минуты". Она поджала губы, отрицательно покачала головой. "Совершенно исключено. Ему надо подписать несколько важных бумаг, приказано не беспокоить". Ее лицо под умелым макияжем было непроницаемым, непреклонным. Это взбесило меня. "К черту приказы! Я же говорю, мне нужно его увидеть! По личному вопросу. Неужели не ясно?" Мне хотелось встряхнуть ее, вызвать на ее лице какое-то человеческое выражение. Но вместо этого я произнес спокойным голосом. "Вы хотя бы доложите обо мне и спросите, не сможет ли он меня принять". Я нашел в кармане листок бумаги и написал свое имя. Тем временем в приемную вошел полковник. Просмотрел документы, подписался. Секретарша подошла к нему и что-то зашептала. Они посовещались, и полковник сказал, что сам передаст записку,

взял листок с моим именем и вышел через ту же дверь, что и вошел. Я знал, что он и не подумает докладывать обо мне правителю. Встречи я смогу добиться лишь решительными и незамедлительными действиями.

"Куда ведет эта дверь?" — спросил я секретаршу, указывая в другой конец комнаты. "А это личные покои. Вам туда нельзя. Запрещено". Она наконец утратила свое высокомерное спокойствие. Работать в прямом контакте ее не учили. "Ну, тогда я пошел", — сказал я и двинулся по направлению к двери. "Нет!" Она вскочила и преградила мне путь. Страна, в которой она родилась, была настолько убеждена в своем превосходстве, что ее гражданам даже в голову не приходило, будто кто-то может позволить себе неповиновение, пусть даже по ничтожному поводу. Я улыбнулся и отодвинул ее в сторону. Она вцепилась мне в рукав, стараясь удержать, началась возня. Из-за двери послышался знакомый голос. "Что там происходит?" Я вошел внутрь. "А, это вы? Вот оно что!" Мое появление, казалось, совершенно его не удивило. В дверях, бормоча извинения, появилась секретарша. Он отослал ее взмахом руки. Дверь захлопнулась. Я сказал: "Я должен с вами поговорить".

Мы были одни в богато обставленной комнате. Персидские ковры на паркетном полу, антикварная мебель, на стене его портрет в полный рост кисти известного художника. Моя истертая, потрепанная, неглаженая форма подчеркивала по контрасту пышность его мундира с шитыми золотом эмблемами на обшлагах и плечах, с орденскими нашивками на груди. Он встал; я уже забыл, что он такой высокий. Великосветские манеры, которыми он всегда отличался, стали еще более утонченными с тех пор, как я видел его последний раз. Мне было не по себе. Его присутствие возымело на меня свое обычное действие; однако теперь различия между нами были настолько очевидны, что мысль о связи, даже самой неопределенной, была неуместна и просто нелепа. Когда он сказал: "Не стоило прорываться сюда с боем, я все равно ухожу", я смутился и смог произнести только: "Сначала я должен с вами поговорить". — "Это невозможно. Я уже опаздываю". Он глянул на часы и направился к двери. "Вы, конечно же, можете подождать одну минуту!" Я обеспокоенный поспешил встать на его пути. Лучше б я этого не делал. Глаза его сверкнули — он рассердился, и я упустил единственный шанс. Я проклял свою глупость. Возможно, мой потупленный взгляд и расстроенное лицо позабавили его: во всяком случае, отношение его внезапно изменилось. Он слегка улыбнулся. "Я не могу прервать военные действия ради разговора с вами. Если

вам *непременно* нужно мне что-то сказать, вам придется пойти со мной". Я был счастлив. Лучшего я и ожидать не мог. "Правда? Это замечательно!" Я стал горячо благодарить его. Он расхохотался.

Вдоль дороги к взлетному полю стояли люди в надежде увидеть его хоть одним глазком. Они толпились на тротуарах, высовывались из окон, с балконов, висели на деревьях, заборах, телеграфных столбах. Некоторые ждали уже довольно давно. Меня поразило, как велико его влияние на толпу.

В самолете, сидя рядом с ним, я ловил на себе любопытные взгляды пассажиров. Земля внизу была не плоской или слегка изогнутой, как обычно, она представлялась сегментом шара, с голубым морем и желтовато-зеленой сушей. Вверху синела темная ночь. Принесли напитки, мне подали позвякивающий стакан. "Лед! Какая роскошь!" Он взглянул на мою полуистлевшую форму и состроил гримасу. "Если уж вы решили стать героем, роскошь — это не для вас". Слова эти прозвучали насмешливо, но в его улыбке таилось обаяние. Возможно, таким образом он выказывал дружеское участие. "Могу я спросить, почему вы вдруг стали одним из наших воинов-героев?" Мне, конечно, следовало заговорить о работе. Но вместо этого я почему-то сказал ему, что мне это было нужно, чтобы избавиться от депрессии. "Забавный способ лечения. От такого и умереть недолго". — "Может, этого я и хотел". — "Нет, по сути своей вы не самоубийца. Хотя, какая разница, если все мы погибнем на следующей неделе?" — "Так скоро?" — "Ну, возможно, не буквально на следующей неделе, но осталось совсем недолго". Я не мог не заметить, что моргал он специально, чтобы создавалось впечатление, будто его яркие синие глаза отражают ослепительный свет. У него, конечно, были секретные сведения. Он всегда узнавал все раньше других.

Подали ужин, настолько обильный, что я не смог съесть и половины. Я уже отвык столько есть. После ужина я снова попытался объяснить, зачем пришел к нему, но слова никак не складывались в предложения. Я стал размышлять о нем и спросил, почему, увидев меня, он почти не удивился. "Я, пожалуй, ждал вас. — Выражался он довольно туманно. — Вы имеете свойство появляться как раз тогда, когда что-то должно вот-вот случиться". Видно было, что говорит он серьезно. "Вы действительно ожидаете катастрофы в ближайшие недели или дни?". — "Похоже на то".

Опущенные шторы скрыли небо. Сейчас должен был начаться фильм. Он прошептал мне на ухо: "Подождите, пока

они сосредоточатся на экране. Тогда я покажу вам кое-что поинтереснее. Но вообще-то это строго секретно". Я стал ждать, обуреваемый любопытством. Мы тихо встали с мест, вышли за дверь и остановились у незакрытого иллюминатора. Я уже перестал понимать, который сейчас час. Над нами царила ночь, внизу было светло, как днем. Ни облачка. Я видел разбросанные по морю острова – обычный вид с высоты. И тут показалось что-то необыкновенное, не поддающееся описанию: из моря выступала стена льда, переливающаяся всеми цветами радуги; рассекая море, она двигалась, поднимая перед собой гребень волны, словно плоскую бледную поверхность моря скатывали, как ковер. То было зловещее, чарующее, сверхъестественное зрелище. Мои глаза смотрели вниз, но перед внутренним взором представало иное. Ледяной мир накрывал землю. Отвесные стены льда окружали девушку. Ее лунно-белая кожа, волосы, сверкающие как бриллианты в лунном свете. Мертвый глаз Луны, наблюдающий за кончиной нашего мира.

Выйдя из самолета, мы оказались в далекой стране, в незнакомом мне городе. Правитель прибыл для участия в важной конференции, его ждали люди и срочные дела. Он не торопился избавиться от меня, что весьма мне польстило. Он сказал: "Вам стоит осмотреться, место интересное". Город был взят недавно, и, поинтересовавшись, каков ущерб, нанесенный войсками, я получил ответ: "Не забывайте, среди нас есть и цивилизованные люди".

Он прогулялся со мной по красивейшим ухоженным садам под охраной вооруженной стражи, облаченной в черные с золотом мундиры. Находиться с ним рядом было для меня большой честью. Это был красивый во всех смыслах мужчина в самом зените славы, с натренированными как у атлета мышцами, человек сильных чувств и острого интеллекта. Помимо витальности и энергии, он излучал чувство неоспоримого превосходства. Воздух вокруг него полнился аурой власти и успеха. Пройдя мимо искусственных каскадов, мы подошли к поросшему лилиями пруду. Гигантские ивы свешивали к воде длинные зеленые волосы, создавая грот, манящий прохладой и тенью. Мы присели на каменную скамейку и стали смотреть, как мечется зимородок, выписывая сверкающие параболы. На отмелях стояли цапли, серые тени были неподвижны. Картинка получалась идиллическая, мирная; насилие было на расстоянии нескольких миров отсюда. Я подумал, но вслух этого не произнес, как жаль, что сюда не пускают людей насладиться покоем и красотой. Как будто прочтя мои мысли, он сказал: "Раньше в оп-

ределенные дни парк был открыт для посещения. Однако нам пришлось от этого отказаться — из-за вандализма. Хулиганы вытворяли такое, чего не позволяли себе даже солдаты. Есть люди, которых невозможно научить ценить красоту. Это недочеловеки".

К противоположному берегу реки пришло на водопой стадо похожих на газелей существ, они опускали и поднимали грациозные, увенчанные рогами головы. Стражники стояли поодаль. Я чувствовал, сейчас мы с ним ближе, чем когда бы то ни было; мы были как братья, как однояйцовые близнецы. Меня тянуло к нему, как никогда раньше, надо было дать чувствам какой-то выход, и я сказал, как ценю его доброту и какая честь для меня быть его другом. Но что-то не сработало. Он не улыбнулся в ответ и никак не отреагировал на мой комплимент, но вдруг резко встал. Я тоже поднялся, на противоположном берегу стадо снялось и убежало. Атмосфера вокруг изменилась; я почувствовал холодок, как будто порыв теплого воздуха прошел надо льдом. Меня охватил необъяснимый ужас, похожий на тот, который ощущаешь в кошмарах, как раз перед тем, как начинаешь падать.

Через секунду его глаза вспыхнули синей опасностью, вместо лица — не знающая пощады маска. "Где она?" Голос был злой, отрывистый, ледяной. Я сжался от страха, он сбил меня с толку, смутил до такой степени, что я, заикаясь, залепетал, как идиот: "Там, наверное, где я ее оставил..." Он бросил на меня ледяной взгляд: "То есть вы не знаете?" Его обвинительный тон обжигал холодом. От страха я даже не смог ответить.

Стражники подошли ближе, встали кругом. Чтобы оставаться неузнанными или внушать еще больший страх, каждый охранник прикрывал верхнюю часть лица длинным черным форменным козырьком, отчего казалось, что они в масках. Я стал припоминать, что слышал об их жестокости: это были осужденные убийцы и головорезы, которым отменили приговоры в обмен на безоговорочную преданность его персоне.

"Значит, ты ее бросил. — Снежную бурю пронзили стрелы синего льда, глаза сузились и впились в меня. — Такого я не ожидал даже от тебя". Бездонное презрение звучавшее в его словах заставило меня вздрогнуть и залепетать: "Вы же знаете, как враждебно она всегда была настроена. Она прогнала меня прочь". — "Ты не знаешь, как с ней обращаться, — холодно отчеканил он. — Уж я бы сумел с ней управиться. С ней надо заниматься. Ее следует учить стойкости и в жизни, и в постели". Я не способен был говорить, не мог взять себя в руки,

пребывая в состоянии глубокого шока. Когда он спросил: "И что ты намерен с ней делать?" — я не нашел, что ответить. Его глаза наблюдали за мной с холодным презрением и настолько свысока, что это было невероятно унизительно. Эти синие огни словно не давали мне думать. "Тогда я заберу ее обратно". Он уместил ее будущее в пять коротких слов, ее мнение при этом не учитывалось.

Но теперь меня больше беспокоил он; я был привязан к нему, как будто в наших жилах текла общая кровь. Я с трудом переносил его отчуждение. "Почему вы так сердитесь? — Я сделал шаг, хотел коснуться его рукава, но он отодвинулся, и я не мог до него дотянуться. — Неужели это только из-за нее?" Я не мог поверить в это, ведь связывающие нас узы казались такими крепкими. В тот момент она не значила для меня ровным счетом ничего, ее как будто не существовало. Мы могли бы делить ее между собой. Возможно, я и произнес нечто подобное. Его лицо было будто выточено из камня, а холодный голос стал таким резким, что им можно было резать сталь; он словно отдалился от меня на тысячи миль. "Как только у меня появится время, я поеду и заберу ее. Она будет со мной. И ты никогда ее не увидишь".

Нет больше уз, и никогда не было, они существовали только в моем воображении. Он мне не друг и никогда им не был, и наша близость всегда была сугубо иллюзорной. Он относился ко мне, как к существу, недостойному даже презрения. В жалкой попытке восстановить свои позиции, я сказал, что пытался спасти ее. Я с трудом выносил жесткий взгляд его синих глаз. Его каменное, как у статуи, лицо не меняло выражения. Я заставлял себя не отводить глаз. В итоге он произнес одними губами: "Она будет спасена, если это возможно. Только не тобой". После чего он повернулся и зашагал, покачивая золотыми эполетами роскошного мундира. Сделав несколько шагов, он приостановился, прикурил, не поворачиваясь, сигарету и пошел дальше, даже не взглянув на меня. Лишь поднял руку и подал знак страже.

Они приблизились, похожие в своих черных масках на нелюдей. На меня обрушились удары резиновых дубинок, кто-то ударил ногой в пах, в падении я, должно быть, ударился о каменную скамью и отключился. Мне повезло. Пинать бесчувственное тело им, по-видимому, удовольствия не доставляло. Когда я пришел в себя, вокруг не было никого. В голове пульсировало и звенело, страшно было даже открыть глаза, ныл каждый дюйм тела, но переломов не было. От боли мысли в голове путались, я не сознавал, что со мной произошло, в какой последовательности и сколько с тех пор про-

шло времени. В таком состоянии я не понимал, почему так легко отделался, пока не сообразил, что стражники, скорее всего, решили, что вернутся попозже и прикончат меня. Если они меня здесь найдут, мне конец. Я едва мог пошевелиться, но, собрав волю в кулак, доплелся, шатаясь, до реки, рухнул в тростник и лежал там, уткнувшись лицом в грязь.

Уже темнело, когда меня разбудил далекий звук. Ко мне полукругом приближались темные фигуры. Решив, что это по мою душу, я испугался и замер. Наверное, это паслись какие-то животные, потому что, когда я снова поднял голову, их уже не было. Страх заставил меня осознать, что спасение в бегстве. Я подполз к самой воде и опустил голову в воду, промыв рану на голове и глубокую ссадину на скуле, частично смыв грязь и кровь.

Холодный поток оживил меня. Я кое-как добрался до ворот парка и даже сделал несколько шагов по улице, но довольно скоро рухнул. Меня увидели из машины, в которой шумная молодежь ехала с вечеринки, они остановились, решив, что я тоже возвращаюсь с попойки. Я убедил их отвезти меня в больницу, где меня осмотрел доктор. Объясняя свои увечья, я на ходу выдумал какую-то историю, в результате чего мне выделили койку в отделении травматологии. Я поспал два или три часа. Меня разбудил колокольчик "скорой помощи". Санитары с топотом внесли носилки. Страшно было даже пошевелиться, хотелось только лежать без движения и спать. Но я знал, как это опасно и не осмелился остаться.

Пока ночная смена занималась вновь прибывшим пациентом, я пробрался через боковую дверь в темный коридор и покинул больницу.

Четырнадцать

Голова болела, мысли путались. Единственное, что я знал наверняка — мне надо убраться из города до рассвета. Думать я был не в состоянии. Галлюцинации никак не состыковывались с реальностью. По узкому проулку прямо на меня неслась машина, заполняя собой все пространство между высоченными домами. Со сбитыми в кровь костяшками я метался от одной запертой двери к другой, и в последний момент бросился в один из проемов, вжался в него. В большой черной машине промчался правитель — огромный, статный. С ним девушка, ее волосы поблескивали фиолетовым, как тени деревьев на снегу. Они неслись по снегу, сидя рядом под белым меховым

покрывалом, отделанным по краям полированными рубинами, широким, как комната, пушистым и мягким, как сугроб.

Освещенные ослепляющим холодным огнем северного сияния, они шли меж блистающих айсбергов; мела белая арктическая буря, его белый костистый лоб, глаза — сосульки; ее покрытые серебряным инеем волосы, расцветающие под полярной звездой ледяными цветами. Удар грома прокатился по льду. Он сразился с белым медведем, задушил его голыми руками и, чтобы научить ее твердости, дал ей свой страшный нож и показал, как освежевать тушу. Когда дело было сделано, она подползла обогреться. С длинной белой шерсти огромной, покрывшей их шкуры капала кровь. Их тела накрыла снежная толща; кровь окропила снег.

Я видел ее мечтательный взгляд в свете факела. Я смотрел на нее, я хотел ее, я должен был забрать ее с собой. Но на нее претендовал тот, другой; ее белое девичье тело упало к нему на колени сквозь дымный чад тлеющих факелов. Я отправился искать ее, в городе орудовали мародеры. Искал повсюду, никак не мог найти и наткнулся на нее в развалинах. Голова была неестественно повернута. Сквозь дым и висящую в воздухе пыль я увидел среди строительного мусора и грязи ее белую кожу, на белом чернела когда-то бывшая красной кровь, вокруг головы разметались ее невероятные волосы, тонкая шея была сломана. Издевательства, перенесенные в детстве, заставили ее смириться с ролью жертвы, и, вне зависимости от моих действий или моего бездействия, судьба ее была предрешена. Оставить ее на произвол судьбы — одно, но предоставить ее другому мужчине — совсем другое. Этого я сделать не мог.

Я должен был добраться до нее раньше, чем он. Но на моем пути стояли непреодолимые преграды. Полное отсутствие транспорта предполагало необходимость подкупа, всякого рода жульничества, а то и хуже. Перед глазами стояла картина ледяного гребня, пересекающего океан по направлению к островам, именно к тому острову, который я тогда не узнал на карте. Я представил, что она находится в центре этого острова и не знает, что окружена, а мы приближаемся к ней с разных сторон: с одной я, с другой он, с третьей — лед... Мои шансы поспеть первым почти равнялись нулю. Каждая миля будет даваться мне с трудом. Он же может прилететь к ней на самолете всего за пару часов, в любой момент, когда пожелает. Оставалось надеяться, что важная конференция, в которой он принимал участие, и другие военные заботы задержат его как можно дольше. Однако надежда была слабая.

Рана на голове и рассеченная скула стали заживать, но лучше я себя не чувствовал. Голова постоянно болела, меня преследовали жуткие видения всяческих бедствий, кровавых боен, вселенских катастроф. Не отпускало ощущение, что иду на казнь. Смерть не слишком меня волновала. Я пожил свое, успел кое-что сделать, повидал мир. Мне не хотелось стареть, разлагаться, терять рассудок и физическую форму. Но меня преследовало навязчивое желание в последний раз увидеть девушку; добраться до нее первым.

Я должен был преодолеть огромное расстояние. Так как открыто пересекать границу было крайне опасно, я два дня шел пешком по дикой местности, лишенный крова, пищи и питья. Затем мне повезло, меня подобрал вертолет, на борту которого была изображена обнаженная женщина в натуральную величину — поп-арт посреди войны. Во время бедствий приходится пользоваться, чем придется, и я не собирался упускать подвернувшуюся возможность. Но удача быстро отвернулась от меня. На месте крушения нашего вертолета в отчаянии искал я тело застреленного пилота. Но лишь жеманное личико нарисованной куклы с розовыми щеками и безмятежными черными глазами улыбалось мне с обломков.

Подойдя к линии фронта, я постарался держаться подальше от военных действий и оказался в неожиданно тихом городке, чье спокойствие нарушали лишь грохот проезжавших по нему грузовиков, забитых солдатами или рабочими. Скучный серый городок, скучный серый день. Болезненного вида женщины вяло возили грязным бельем по плоским речным камням. Я совершенно выдохся и терял мужество. Без транспорта мне никогда не добраться до цели. Ничто здесь не вселяло надежды. Прохожие отводили глаза, когда я смотрел на них; они с подозрением относились к чужакам, и мое израненное лицо и старая, рваная, грязная партизанская форма уж тем более не внушали им доверия. Я напрасно искал человека, готового меня выслушать. Я попробовал было поговорить с хозяином заправки, предложил ему денег и новую заграничную винтовку с оптическим прицелом, но он пригрозил вызвать полицию и наотрез отказался мне помочь.

На закате начался дождь, а ближе к ночи — усилился. В городе действовал комендантский час: света не было, прохожие исчезли. Оставаться на улице стало опасно, но мне уже было все равно. Завыла сирена, вдали послышались автоматные очереди и какой-то еще шум, который постепенно приближался. Дождь лил как из ведра, мостовая превратилась в

реку. Я укрылся в арке, дрожал и не понимал, что мне делать; мозг отказывался что-либо воспринимать. Я окончательно пал духом.

Большая военная машина, просвистев мимо, остановилась на противоположной стороне улицы. Водитель в стальной каске, шинели и высоких ботинках выскочил из машины и направился к дому. Бессистемный обстрел продолжался, поэтому соблюдать тишину нужды не было. От безысходности я схватил булыжник и запустил им в окно первого этажа, просунул руку, поднял раму и перевалился через подоконник. Не успел я встать, как дверь отворилась, и в комнату вошел водитель. Неожиданный взрыв, куда мощнее прежних, наполнил комнату всполохами, отразившимися на его скулах и в глазах. Водитель упал. Кровь хлынула из раны и потекла темными реками, которые я пытался избегать, сдирая с него форму и натягивая на него свои лохмотья. У нас, по счастью, был примерно один размер. Я быстро прошелся по комнате, опрокинул мебель, разбил зеркала, вывернул ящики, порезал ножом фотографии — в общем, симитировал, будто бы в дом ворвался грабитель, и хозяин, застав, пристрелил его. Металлическая каска непереносимо давила на голову. Держа ее в руках, одетый в чужую форму, я вышел, сел в бронированную машину и поехал. Мне не удалось очистить форму от его крови, но подбитая мехом куртка закрывала пятна.

Меня остановили на блокпосту в предместьях города. Мне повезло — рядом упала бомба. Началась паника, караульным стало не до меня. Я блефовал и выиграл, меня пропустили. Видно было, что мои ответы их не совсем удовлетворили, что они что-то заподозрили; но я решил, что у них и без меня хлопот хватает. Я ошибся. Не проехал я и нескольких миль, как машину засекли прожектора, и я услышал надрывный рев мотоциклов. Один пошел на обгон, приказывая мне остановиться. Проехав чуть вперед, он встал посереди дороги, широко раздвинув ноги и целясь в меня из пистолета, самоубийца окатил меня градом пуль, которые как горошины отскакивали от брони. Я прибавил газу, поехал прямо на него и, взглянув назад, увидел темный силуэт, перелетающий через крышу машины и падающий прямо под колеса двум другим мотоциклам. Какое-то время они еще стреляли, но погоню прекратили. Я надеялся, что те, кто выжил, останутся устранять последствия аварии и дадут мне возможность оторваться. Дождь перестал, шум боя стих, я немного успокоился. И тут я увидел людей в форме, которые бросились врассыпную, оставив стоящие попе-

рек дороги патрульные машины. Кто-то все-таки успел связаться со следующим постом. Я задумался, с чего бы им посылать за мной целый отряд; и решил, что они, наверное, уже нашли владельца машины, и дело именно в его личности. Они открыли огонь. Я прибавил скорость, смутно припоминая, как правитель протаранил пограничный пост, и машина прорвалась сквозь заграждения, как будто они были из бумаги. Мне стреляли вдогонку, но все без толку. Вскоре все стихло, я был на дороге один, преследователей и след простыл. Через полчаса я пересек границу и понял, что свободен.

Погоня взбодрила меня. В одиночку я одолел выставленные против меня превосходящие силы противника. Я был на подъеме, словно выиграл в азартной игре. Наконец-то я почувствовал себя нормально, самим собой, не отчаявшимся, нуждающимся в помощи бродягой, но сильным и независимым. Мне передавалась мощь управляемого мною механизма. Я остановился, чтобы осмотреть машину. Не считая нескольких вмятин и царапин, она ничуть не пострадала. Бак был полон на три четверти, багажник — заставлен бесчисленными канистрами с бензином, которого было куда больше, нежели мне понадобится, чтобы доехать до места. Еще я нашел немалый запас еды: печенье, сыр, яйца, шоколад, яблоки, бутылку рому. Значит, не придется останавливаться, чтобы пополнить припасы.

Я вдруг приблизился к последнему этапу своего путешествия. Несмотря на казавшиеся непреодолимыми трудности, цель моя была уже почти в поле зрения. Я был доволен собой и своими подвигами. Я не думал о совершенных при этом убийствах. Все равно выбора у меня не было. В любом случае, я лишь немного приблизил их смертный час, ведь скоро погибнет все живое. Весь мир дышал на ладан. Миллионы уже погребены подо льдом; выжившие развлекались войной и прочей суетой, помня о приближении неумолимого врага; куда бы они ни бежали, лед-завоеватель настигнет их. Оставалось лишь наслаждаться каждой минутой кто как умеет. Я получал удовольствие, несясь сквозь ночь на мощной машине, меня радовала скорость и то, как умело я вел машину, приятно будоражило чувство опасности. Устав, остановился на обочине и поспал час или два.

Холод разбудил меня на рассвете. Всю ночь далекие звезды бомбардировали землю ледяными лучами, которые, пронизывая ее, скапливались внутри, а на поверхности оставляли лишь тонкую корку над бескрайним резервуаром ледяного холода. Когда видишь в субтропиках покрытую инеем землю

и чувствуешь, как она промерзла под ногами, появляется ощущение, что ты уже за рамками повседневности, ты — в поле неизведанного, где никакие законы не работают. Я быстро позавтракал, завел мотор и помчался к горизонту, туда, где море. Дорога была хорошая, и я ехал со скоростью девяносто миль в час, пролетая по заброшенным землям мимо развалин домов и редких деревень, никого видно не было, но я все же чувствовал на себе взгляды, следящие за мной из руин. При виде армейской машины люди прятались, чтобы не выдать себя; война научила — оставаться незамеченным безопаснее.

Становилось все холоднее, небо мрачнело. Поднимаясь из-за оставшихся за моей спиной гор, к морю двигались огромные черные тучи. Наблюдая за ними, я понимал их назначение, чувствовал усиливающийся холод и надвигающийся ужас. Это могло означать только одно: приближаются ледники. Скоро вместо привычного мира будет только лед, снег, неподвижность, смерть; не будет ни насилия, ни войны, ни жертв; ничего, кроме мерзлого безмолвия, отсутствия жизни. Итоговым свершением человечества станет не просто самоуничтожение, но уничтожение всякой жизни; была живая планета, станет мертвая.

Неохватные нагромождения грозовых туч в небе, которое должно было бы быть сияюще-синим и безоблачным, выглядели зловеще, как зависшие над головой мрачные руины, готовые вот-вот обрушиться. Лобовое стекло стало зарастать ледяными цветами. Я был подавлен ощущением вселенской отчужденности, близостью надвигающейся катастрофы, а еще — чудовищностью ошибок, тяжестью общей вины. Мы совершили страшное преступление против природы, против вселенной, против жизни. Нарушив извечный порядок, человек низвергнул весь мир в руины.

Рядом с криком пролетела чайка. Показалось море. Я втянул в себя соленый воздух, взглянул на уходящие за горизонт темные волны, но ледяной стены не увидел. Воздух был полон смертоносного морозного дыхания, лед был уже близко. Я пронесся пятьдесят миль по степи к городу, над которым тучи висели еще ниже, еще более грозные, будто поджидали меня. Я дрожал от холода: может, лед уже здесь. Я снизил скорость и, проезжая по улицам, где не так давно ночи напролет танцевали люди, не мог поверить, что это тот же веселый город. На улицах ни души, ни звука; ни прохожих, ни машин, ни цветов, ни музыки, ни огней. Я увидел затопленные в гавани корабли, разрушенные здания, закрытые магазины и гостиницы; холодный серый свет, свойст-

венный совсем другому климату, в другой части света; везде приметы приближающейся угрозы нового ледникового периода.

Я смотрел вокруг, но перед моими глазами стояла девушка. Ее образ всегда был со мной, и в бумажнике, и в голове. И теперь, куда бы я ни глядел, я видел ее. Ее белое потерянное лицо с неправдоподобно большими глазами было повсюду; ее поразительная бледность полыхала как факел под грозными тучами, притягивая мои глаза, как магнит. Она блестела меж руин, ее волосы сверкали на темном небе. Ее широко распахнутые глаза обманутого, запуганного ребенка укоризненно смотрели на меня из черных провалов разбитых окон. Словно обиженный ребенок бежала она за мной, бросая умоляющие взгляды, искушала удовольствием лицезреть ее боль, давая развитие самым гнусным желаниям и грезам. Потусторонний свет, исходивший от ее лица, манил меня, ее волосы были, как облако света; но, когда я приблизился к ней, она отвернулась и побежала, по плечам заструился серебряный водопад, сверкающий в лунном свете.

Въезд в отель, где мы жили, преграждали обломки блокпоста. Мне пришлось выйти из машины и пойти пешком. Дул сильный, перехватывающий дыхание, холодный ветер. Я поглядывал на антрацитовое море, чтобы убедиться, что ледяной стены еще не видно. Фасад первого этажа отеля почти не пострадал, но выше зияли огромные дыры, крыша провисла. Я вошел внутрь. Было холодно и темно, ни света, ни отопления, поломанные стулья и столы расставлены, как в кафе. И хотя среди разрушений кое-где уцелела позолота, холл был неузнаваем.

Я услышал неровные шаги, ко мне приближался, постукивая палочкой, мужчина, звавший меня по имени. Внешность молодого человека была смутно знакома, но в тусклом свете я не мог вспомнить, кто это. Когда мы пожали друг другу руки, меня вдруг осенило. "Ну конечно, вы же сын хозяев отеля". Только раньше он не был хромым, это и сбило меня с толку. Он кивнул. "Родители погибли во время бомбежки. Официально я тоже считаюсь погибшим". Я спросил, как все произошло. Лицо его передернуло, он дотронулся до ноги. "Шло отступление. Раненых не подбирали. Я услышал, что меня записали в мертвые, и решил, что спорить бессмысленно... — Он осекся и взволнованно посмотрел на меня. — Но что, скажите на милость, привело сюда вас? Ведь оставаться здесь нельзя, мы находимся в зоне непосредственной опасности. Всем приказали убираться отсюда. Осталось всего несколько старых поселенцев".

Я смотрел на него и не понимал, почему он так нервничает, разговаривая со мной. Он сказал, что те толпы, которые я здесь наблюдал, схлынули уже давно. "Почти все убежали еще до того, как разразилась война". Я сказал, что приехал в надежде найти девушку. "Видимо, я должен был догадаться, что ее здесь уже нет". Я сделал паузу, хотел, чтобы он сказал что-нибудь о правителе. Вместо этого он смущенно взглянул на меня и, поколебавшись, произнес: "Дело в том, что она среди тех немногих, кто *не* уехал". Последние несколько мгновений я едва мог сдерживаться, мне надо было скрыть свое волнение, надо было удостовериться в том, что я не ослышался. Я спросил, не интересовался ли ей кто-нибудь. "Нет", — сказал он безразличным тоном и, похоже, не врал. "Она по-прежнему живет здесь?" И снова последовал отрицательный ответ. "Мы используем холл под ресторан, но в самом здании небезопасно. Ремонт делать некому. Да и какой смысл?" Я согласился, что приближение льдов делает все попытки тщетными. Однако меня интересовала исключительно девушка. "Где она сейчас живет?" На этот раз его нерешительность длилась дольше и была заметнее. Вопрос явно привел его в смущение, и, когда он наконец ответил, я сразу понял почему. "Совсем недалеко. В доме на пляже". Я уставился на него. "Понятно". Теперь все прояснилось. Я хорошо помнил этот дом — там жил он со своими родителями. Он помолчал, а потом продолжил: "Ей там удобнее. У нее здесь кое-какая работа". — "Неужели? И что за работа?" — поинтересовался я. "Так, помогает в ресторане", — уклончиво ответил он. "То есть прислуживает посетителям?" — "Ну, иногда она танцует... — процедил он и, как будто желая сменить тему, произнес: — Очень жаль, что она не уехала в безопасное место, пока это было возможно. У нее были друзья, готовые взять ее с собой". На что я ответил: "Очевидно, у нее были друзья, с которыми она предпочла остаться здесь". Я пристально взглянул на него, но лицо его оставалось в тени, он стоял спиной к уходящему солнцу, и выражения его я разглядеть не смог.

Тут я потерял всякое терпение. Я уже и так потратил на него много времени. Ведь говорить мне нужно было с ней. Направляясь к двери, я спросил: "Не подскажете ли, где ее можно сейчас найти?" — "Полагаю, она у себя в комнате. Сюда она придет позже. — Он поковылял за мной, опираясь на палку. — Я покажу вам короткий путь через сад". Мне показалось, что он хочет меня задержать. "Благодарю, я найду дорогу". Я открыл дверь и вышел, захлопнув ее, прежде чем он успел что-либо сказать.

Пятнадцать

Как только я перешагнул через порог, ледяной поток воздуха ударил в лицо. Солнце садилось, ветер гнал поземку. Я не стал искать короткий путь, просто пошел по тропинке, которая, как я знал, вела к пляжу. Мороз погубил высаженные вдоль нее экзотические растения: пальмовые листья ссохлись, почернели, свернулись в тугие, как сложенные зонтики, трубочки. Я уже должен бы привыкнуть к изменениям климата; но снова почувствовал, что выпадаю за пределы обычной жизни и попадаю в совершенно неизведанные сферы. Это тоже была реальность, и все происходило на самом деле, но как-то уж очень необычно. Реальность была абсолютно новой.

Пошел густой снег, арктический ветер бросал его в лицо. Мороз обжигал кожу, стеснял дыхание. Чтобы снег не попадал в глаза, я надел тяжелую каску. Пока я добирался до пляжа, по краям каски, непомерно утяжелив ее, наросла толстая ледяная корка. Сквозь белую пелену проступали неясные очертания дома; но я не мог различить, что за ним — волны или неровный край огромной дрейфующей льдины. Идти против ветра было очень тяжело. Снег, став еще гуще, шел не переставая, сеял без передышки, покрывая агонизирующий мир простыней стерильной белизны, погребая насильников и их жертвы в общей могиле, стирая последние следы человека и его деяний.

Вдруг сквозь белесую круговерть я увидел девушку — она бежала от меня в сторону льда. Я попытался крикнуть: "Стой! Вернись!" — но полярный воздух раздирал горло, а голос мой вихрем унес ветер. Я побежал за ней, поднимая туманные облака снежной пыли. Я старался не упускать ее из вида, с трудом различал, что вокруг: мне пришлось остановиться и, превозмогая боль, стереть кристаллы льда, начинавшие сковывать глазные яблоки. Убийственный ветер не давал идти, снега навалило столько, что уже выросли снежные холмы, клубящиеся на вершинах, словно вулканы, ослепляя меня белым дымом. А я все шел по жуткому морозу, пошатываясь, спотыкаясь, поскальзываясь, падая, с трудом поднимаясь, и, наконец, настиг ее и схватил онемевшими пальцами.

Я опоздал, я это сразу понял — шансов у нас не осталось. Вокруг, куда ни глянь, странные сооружения из льда — неземная архитектура, мираж, создаваемый арктическим сиянием. Гигантская зубчатая стена ледника со шпилями и башенками до неба, подсвеченная изнутри холодным огнем минералов.

Мы попали в западню, нас окружали стены, и кольцо призрачных палачей медленно, но неумолимо сужалось, чтобы уничтожить нас. Я не мог ни шевелиться, ни думать. Дыхание палачей парализовало тело, затуманило мозг. Я чувствовал смертельный холод, исходящий от льда, услышал гром, смотрел, как льдина пошла сверкающими изумрудными трещинами. Высоко вверху загудела, задрожала готовая обрушиться блестящая вершина айсберга. На плечах девушки мерцала изморозь, лицо было белым, как лед, ее длинные ресницы касались щек. Я крепко прижал ее к груди, чтоб она не видела падающей ледяной громады.

Она стояла на веранде пляжного дома в своем сером пальто и кого-то ждала. Сначала я решил, что она видела, как я приближаюсь, но потом заметил, что она не сводит глаз с другой тропинки. Я тоже остановился и стал туда смотреть. Мне хотелось узнать, кого она ждет, я не думал, что парень из гостиницы решится прийти, зная, что я здесь. Она словно почувствовала чье-то присутствие, стала осматриваться и наконец увидела меня. Я был слишком далеко, чтобы различить ее расширившиеся зрачки, из-за которых глаза становились еще огромнее; но услышал, как она резко вскрикнула, видел, как закружились, заблестели ее волосы, когда она обернулась, как она натянула капюшон и двинулась в сторону пляжа. Как только она спустилась с веранды, я потерял ее из вида. Она хотела стать невидимой, раствориться в снегах. Ее охватил внезапный страх: она вспомнила о мужчине, чьи ледяные синие глаза имели над ней магнетическую власть, могли лишить ее воли и погрузить в кошмарные галлюцинации. Страх всегда был подле нее, прятался за фасадом ее привычного мира, и теперь он сконцентрировался в нем. С ним был связан еще кто-то, они были заодно, а, может статься, это был один и тот же человек.

Оба преследовали ее, она не понимала почему. Но принимала это, как данность, как принимала все, что бы с ней ни происходило, заранее готовая к страданиям, готовая стать жертвой и в конце концов быть уничтоженной неизвестными силами или людьми. Словно такая судьба суждена ей была от начала времен. Спасти ее могла только любовь. Но она никогда не искала любви. Ее удел — страдание; она это знала и принимала. За пониманием неизбежности шло смирение. Какой смысл идти наперекор судьбе. Еще не вступив в борьбу, она уже знала, что обречена на поражение.

Она сделала всего несколько шагов, когда я перехватил ее и затащил обратно на веранду. Стерев снег с лица, она воскликнула: "А, так это *ты*" — и с удивлением уставилась на ме-

ня. "А ты думала, кто?" Я вспомнил про форму, которая была на мне. "Одежда не моя. Пришлось взять на прокат". Опасения ее развеялись, она испытала облегчение и сумела быстро взять себя в руки. Мне были знакомы эти ее уверенность и независимость, появляющиеся вдруг, когда люди или обстоятельства позволяли ей чувствовать себя в безопасности. Должно быть, это заслуга молодого человека из гостиницы. "Давай поскорее войдем в дом. Чего мы стоим?" Она говорила спокойно и вела себя так, будто мое возвращение было запланировано и ожидаемо и ничего необычного в этой ситуации не было. После всего что мне пришлось пережить, это вызывало досаду. Я понял, что это она нарочно, чтобы унизить меня.

Она пошла к двери, открыла ее и церемонно пригласила меня войти. Небольшая, пустая и холодная комнатка, старомодный масляный обогреватель едва спасал ее от мороза. Зато все было чисто и аккуратно, видно, что комната убрана с любовью, орнаменты из найденных на берегу ракушек и выброшенного морем дерева украшали стены. "Боюсь, здесь не слишком комфортно, не твой уровень". Она хотела посмеяться надо мной. Я ничего не ответил. Она расстегнула пальто и сняла капюшон, встряхнув волосами. Они стали еще длиннее, блестели и переливались жизненной силой. Пальто скрывало дорогой серый костюм, сшитый, очевидно, на заказ — такого я раньше у нее не видел. Значит, в деньгах она не нуждалась. Она была хорошо одета и отлично выглядела, и это почему-то еще больше меня раздражило.

Она сказала тоном добропорядочной хозяйки, поддерживающей разговор: "Собственный угол после стольких странствий — это так приятно". Я не сводил с нее глаз. Какой путь мне пришлось проделать, чтобы найти ее, сколько смертей, сколько препятствий и опасностей было на этом пути, и вот, когда я наконец добрался, она разговаривает со мной так, как будто мы едва знакомы. Я почувствовал себя уязвленным и обиженным. Ее небрежность и, очевидно, твердое желание умалить важность моего приезда вывели меня из себя, и я возмущенно воскликнул: "Какого черта ты ломаешь комедию? Не для того я добирался сюда, за тридевять земель, чтоб ты меня принимала, как случайного посетителя".

"А ты ждал, что я красную ковровую дорожку постелю?" Ее резкий и легкомысленный ответ прозвучал, как оскорбление. Я начинал сердиться по-настоящему, понимая, что вот-вот перестану себя контролировать. Когда она, продолжая ломать комедию, спросила все тем же притворным тоном, чем я занимался, я сурово ответил: "Встречался с одним тво-

им знакомым", — сопроводив это долгим, жестким, полным значения взглядом. Она тут же все поняла и снова встревожилась. "Когда я увидела тебя... я решила, что ты... он... я боялась, что он сюда приедет". — "Он будет здесь с минуты на минуту. Я это и пришел тебе сообщить. Предупредить, если у тебя, конечно, другие планы, что он собирается забрать тебя..." — "Нет, нет — никогда!" — перебила она и затрясла головой с такой силой, что ее волосы разлетелись, как блестящие брызги. Я сказал: "Тогда тебе нужно уехать. Немедленно. Пока он не явился".

"Уехать отсюда?" Это было жестоко. Она в смятении оглядела свою уютную комнату. В маленькой комнатке царил покой. Морские ракушки умиротворяли, она чувствовала себя здесь в безопасности, это было единственное место на земле, которое она могла назвать своим домом. "Но зачем? Он ни за что меня не найдет..." Ее полный тоски, жалостливый голос не растрогал меня, я остался тверд и непоколебим. "Отчего же? *Я* ведь нашел". — "Да, но ты знал... — Она посмотрела на меня с подозрением, не зная, можно ли мне доверять. — Ты ведь не сказал ему?" — "Нет, конечно. Я хочу, чтобы ты поехала со *мной*".

Внезапно к ней вернулась уверенность, а вместе с ней и пренебрежительный тон, она посмотрела на меня с насмешкой. "С *тобой*? Ну нет! Только не надо начинать все сначала!" Она саркастически округлила свои большие глаза и подняла их к потолку. Это уже было преднамеренным оскорблением. Я был в ярости. Она насмехалась над всем, что я вынес, разыскивая ее, насмехалась над моими отчаянными усилиями. Взбешенный, я грубо схватил ее и с силой встряхнул. "Прекрати немедленно! Я не могу это выносить! Перестань оскорблять меня, черт побери! Ради тебя я прошел сквозь ад, преодолел сотни миль в жутчайших условиях, шел на невиданный риск, меня чуть не прикончили. А от тебя ни капли признательности... ни слова благодарности, после всего, что было... я даже элементарной вежливости не заслужил... лишь дешевые усмешки... Прелестно! Прелестное поведение! — Она безмолвно смотрела на меня черными зрачками. Гнев мой не утихал. — Даже сейчас тебе не хватает такта извиниться!"

Я все не мог угомониться и продолжал оскорблять ее, называл несносной, наглой, дерзкой, вульгарной. "Возможно, когда-нибудь ты научишься приличиям и поймешь, что людей, которые для тебя что-то делают, надо благодарить, а не смеяться над ними, демонстрируя свою глупость, грубость и самоуверенность!" Ее как громом поразило, она онемела; стояла передо мной, молча свесив голову, былой уверенно-

сти как не бывало. Она превратилась в замкнутого, напуганного, несчастного ребенка, страдающего от злых причуд взрослых.

Я вдруг заметил пульсирующую жилку в том месте, где плечо переходит в шею; она билась так часто, будто что-то хотело вырваться из-под кожи. Я видел это и раньше, когда она бывала напугана. Теперь эта пульсирующая жилка возымела на меня то же действие, что и прежде. Я громко сказал: "Какой же я дурак, что так о тебе беспокоился. Небось, к своему ухажеру побежала, как только я за дверь вышел". Она подняла голову, бросила на меня быстрый испуганный взгляд и спросила: "О чем ты?" — "Только не надо притворяться, что не понимаешь. Меня тошнит от этого! — Голос мой звучал агрессивно, я кричал все громче и громче. — Конечно же, я имею в виду хозяина этого дома. Парня, с которым ты живешь. И которого ждала на веранде, когда я пришел". Я уже сам слышал свой крик. Он вселял в нее ужас. Она задрожала, губы заходили ходуном. "Я ждала *не* его... — Заметив, что я направился к двери, она взорвалась. — Не запирай дверь..." Но я ее уже запер. Все обернулось железом, льдом, тяжелым, холодным, жгучим нетерпением. Я схватил ее за плечи, притянул к себе. Она сопротивлялась, кричала: "Не прикасайся ко мне!" — брыкалась, вырывалась, смахнула рукой блюдо с хрупкими ракушками, оно разбилось, и мы стерли ракушки в радужный порошок ногами. Я навалился на нее, подмял ее под запятнанный кровью китель, поранив ей руку острой форменной пряжкой. На мягкой белой плоти показались капельки крови... железный вкус крови во рту...

Она лежала молча, не шевелясь, отвернувшись от меня к стене. Может, оттого что мне не видно было ее лица, казалось, что это кто-то, кого я совсем не знаю. Я совершенно ничего к ней не испытывал. Все чувства покинули меня. Когда я сказал, что больше так не могу, это была правда. Я не мог идти дальше; было слишком больно и унизительно. Когда-то я уже хотел порвать с ней, но не смог. И вот момент настал. Пришло время встать, и уйти, и покончить с этой вызывающей лишь жалость историей. Я слишком все затянул, хотя эта история никогда не приносила мне ничего, кроме боли. Когда я поднялся, она не пошевелилась. Никто не проронил ни слова. Мы были как два незнакомца, случайно попавших в одну комнату. Я ни о чем не думал. Все, чего мне хотелось, это сесть в машину и ехать, ехать, пока где-то совсем далеко не смогу забыть обо всем. Ничего не сказав и даже не взглянув на нее, я вышел из комнаты на арктический мороз.

На улице уже стемнело. Я остановился на веранде, чтобы глаза привыкли к темноте. Постепенно стал различим падающий снег, едва заметное, будто флуоресцентное мерцание. Глухо ревели неровные порывы ветра, снежные хлопья бешено кружились, заполняя ночь призрачным хаосом. Такое же лихорадочное мельтешение и хаос я ощущал и в себе, в своем бессмысленном метании по планете. В безумном танце снежинок виделась мне вся моя жизнь. Промелькнул и ее образ с развивающимися серебряными волосами и так же быстро скрылся в бешеной сумятице. В этом экстатическом танце невозможно было отделить злодеев от жертв. Никакие различия уже не имели значения в этой пляске смерти, где танцоры кружатся на краю небытия.

Я привык к ощущению приближающейся казни. Но до сих пор это было нечто отдаленное, с чем я постепенно сживался. А тут вдруг это ощущение набросилось на меня, схватило за локоть, и это уже было не просто что-то отдаленное, а реальность, которая вот-вот наступит. Это потрясло меня, как удар под дых. Прошлое исчезло, стало ничем; в будущем — непостижимая пустота полного уничтожения. Единственное, что осталось — это беспрерывно сокращающийся отрезок времени, именуемый "сейчас".

Я вспомнил темно-синее небо между полуднем и полночью, а внизу стену льда, переливающуюся всеми цветами радуги, стену, рассекающую океан. Смутно вырисовывались бледные скалы, источавшие смертельный холод, призрачные мстители, пришедшие покончить с человечеством. Я знал, что ледяной круг сужается, собственными глазами видел приближающуюся гигантскую стену. Знал, что с каждым мгновением она подходит все ближе и не остановится, пока жизнь на земле не будет истреблена.

Я подумал о девушке, которую оставил в комнате; она же еще ребенок, несозревшая девочка из стекла. Она ничего этого не видела, не осознавала. Она знала, что обречена, но не понимала ни природы своей судьбы, не понимала, как встретить ее с достоинством. Никто не научил ее быть независимой. Сын владельцев отеля не произвел на меня впечатления надежного человека, едва ли можно положиться на этого слабосильного парня, к тому же увечного. Я не мог доверить ему заботу о ней, когда станет совсем скверно. Я видел ее — беззащитную, в ужасе замерзающую меж рушащихся ледяных гор; сквозь треск и грохот слышал ее слабый жалкий крик. Зная все, я не мог оставить ее — одинокую и беспомощную. Слишком жестоко она будет страдать.

Я вошел в дом. Она лежала в той же позе и, оглянувшись на звук, сразу отвернулась. Она плакала и не хотела, чтоб я видел ее лицо. Я подошел к кровати и встал рядом, не касаясь ее. Она дрожала, выглядела жалко, ее знобило, кожа была того же бледного розовато-лилового оттенка, что и внутренняя сторона ракушек. Причинить ей боль было очень легко. Я тихо сказал: "Я должен спросить тебя кое о чем. Мне не важно, со сколькими мужчинами ты спала, — речь не об этом. Но я должен знать, почему сейчас ты была так груба со мной. Зачем пыталась унизить меня, когда я приехал?" Она не обернулась, я думал, она не ответит; но тут с длинными промежутками меж словами, она выдавила: "Я хотела... остаться... самой... собой..." — "Но зачем эти оскорбления? Я ведь приехал за тобой. Я ничего тебе не сделал", — возражал я.

"Я знала... — Чтобы расслышать сквозь слезы ее полный обиды голос, мне пришлось наклониться. — Когда бы ты ни появился, я всегда знаю, что ты будешь мучить меня... обращаться... грубо... как с рабыней... если не сразу, то через час, или два, или на следующий день... но это обязательно произойдет... так всегда было..." Я был поражен, ошеломлен. В ее словах я представал тем, кем предпочел бы себя не видеть. Я поспешил задать ей еще один вопрос. "Кого же ты ждала на веранде, если не этого гостиничного парня?" И снова совершенно неожиданный ответ привел меня в замешательство. "Тебя... я услышала машину... подумала... может..." На этот раз я был изумлен, не поверил. "Но как это может быть правдой — после всего, что ты тут наговорила. Кроме того, ты не знала, что я приехал. Я тебе не верю".

Она резко повернулась, села на кровати, откинула распущенные волосы, обнажив несчастное лицо жертвы, размытые от слез черты, синяки под черными глазами. "Но это правда, говорю тебе, хочешь верь, хочешь нет! Я даже не знаю почему... ты всегда так дурно со мной обращаешься... я хотела... гадала, вернешься ли ты. Ты ни разу не дал о себе знать... но я все ждала... когда все стали убегать, я осталась, чтобы ты мог найти меня..." Передо мной был отчаявшийся ребенок, говорящий меж всхлипываний правду. То, что она говорила, было настолько невероятным, что я повторил: "Это невозможно — это не может быть правдой". Лицо ее задергалось, и она проговорила, задыхаясь от слез: "Может довольно? Ты когда-нибудь прекратишь меня мучить?"

Мне вдруг стало стыдно, я пробормотал: "Прости..." Хотелось стереть из памяти собственные слова и поступки. Она снова упала на кровать, уткнулась лицом в подушку. Я стоял и смотрел на нее, не зная, что сказать. Ситуация зашла слиш-

ком далеко, подобрать слова было невозможно. В конце концов, я не придумал ничего лучшего, чем: "Я ведь вернулся не только для того, чтобы задавать вопросы". Ответа не последовало. Я даже засомневался, услышала ли она меня. Стоял и ждал, пока всхлипывания постепенно не стихли. Молча смотрел на жилку, по-прежнему часто пульсирующую на ее шее, потом протянул руку и нежно прикоснулся к ней кончиком пальца. Белый шелк кожи, волосы цвета лунного света...

Она медленно повернула ко мне голову, не произнеся ни слова; сначала из сверкающих волос показались губы, потом влажные, блестящие глаза, мерцающие меж длинных ресниц. Плакать она перестала, но время от времени вздрагивала, и беззвучный всхлип прерывал ее ровное дыхание. Она молчала. Я ждал. Секунды шли. Когда ждать дольше стало невозможно, я мягко спросил: "Ты поедешь со мной? Я больше никогда не буду над тобой издеваться, обещаю. — Она не ответила, и, прождав некоторое время, я был вынужден уточнить: — Или ты хочешь, чтобы я ушел?" Она вдруг резко села, как-то смущенно дернулась, но ничего не сказала. Я подождал еще, потом осторожно протянул руки; пережил еще одну долгую паузу, бесконечное, тревожное ожидание. Наконец, она протянула мне руки. Я целовал их, целовал ее волосы, поднял ее с кровати.

Пока она собиралась, я стоял возле окна и смотрел на снег. Я думал, стоит ли говорить ей, что я видел жуткую ледяную стену, движущуюся к нам по морю, и что скоро она уничтожит нас, как и все живое. Мысли путались, решение не приходило.

Она сказала, что готова, и, подойдя к двери, остановилась и окинула комнату взглядом. Я видел, что от всего пережитого лицо ее пошло пятнами, видел ее уязвимость, ее невысказанные страхи. Эта комнатка была единственным местом, где ей было покойно, где все ей было знакомо. Снаружи — наводящая ужас неизвестность. Огромная чужая ночь, снег, опустошающий холод, грозная неизвестность будущего. Она повернулась ко мне, заглянула в лицо: тяжелый, полный сомнения и упрека взгляд, осуждающий и вопрошающий одновременно. Я тоже выводил ее из равновесия, у нее не было никаких причин доверять мне. Я улыбнулся ей, взял за руку. Ее губы пошевелились, сложившись в то, что в других обстоятельствах можно было бы счесть за улыбку.

Вместе мы вышли в бушующий буран и понеслись сквозь кружащийся снег, как беглые привидения. Вместо света было лишь флуоресцентное мерцание снега, держаться тропинки было сложно, и, хотя ветер дул в спину, идти было крайне

тяжело. Машина оказалась много дальше, чем я полагал. Я держал ее за руку, помогая идти. Когда она споткнулась, я обнял ее, придержал, поставил на ноги. Под тяжелым драповым пальто она промерзла, как ледышка, даже сквозь перчатки чувствовалось, что она обморозила руки. Чтобы согреть, я стал тереть их, и на секунду она прислонилась ко мне; ее лицо светилось в темноте, как лунный камень, ресницы были запорошены снегом. Она очень устала, я ощутил, какие усилия она прилагает, чтобы идти дальше. Я ободрял ее, хвалил, вел, придерживая за талию, а последнюю часть пути пронес на руках.

Когда мы добрались до машины, я первым делом включил обогрев. Не прошло и минуты, как внутри стало тепло, но она не расслабилась, сидела рядом тихая и напряженная. Поймав ее косой подозрительный взгляд, я понял, как справедливы ее обвинения. Подозрительность — именно то, чего я заслужил, раз я с ней так обращался. Она не могла знать, что я только что открыл в себе нечто новое — нежность к ней. Я спросил, не голодна ли она. Она покачала головой. Из сумки с едой я достал плитку шоколада и предложил ей. Гражданским шоколад не выдавали уже довольно давно. Я помнил, что именно эта марка нравилась ей больше всего. Она с сомнением посмотрела на угощение, казалось, вот-вот откажется, но тут вдруг расслабилась, взяла шоколад и поблагодарила меня робкой трогательной улыбкой. Почему же я так долго ждал, почему стал добр с ней, только когда было уже слишком поздно? Я не стал говорить ей ни об ожидающей нас участи, ни о приближающейся ледяной стене. Вместо этого я сказал, что, достигнув экватора, лед прекратит движение; что мы найдем безопасное место. Сам я даже отдаленно не верил в такую возможность, как не знал, верит ли мне она. Когда бы ни настал конец, мы должны быть вместе. По крайней мере, я постараюсь, чтобы для нее это было быстро и безболезненно.

Я вел машину сквозь ледяную ночь и был почти счастлив. Я не жалел о том, другом мире, к которому так стремился и который потерял. Мой мир исчез под льдом и снегом. Человечеству пришел конец, подземные астронавты, погребенные под тоннами льда, ученые, сметенные ими же инспирированной катастрофой. Но мы были все еще живы и вместе неслись сквозь буран, и от этого мне было весело и радостно.

Видимость становилась все хуже. Стоило мне только стереть морозные цветы с лобового стекла, как тут же на нем проступили куда менее прозрачные узоры, и вот ничего уже было не видно, кроме падающего снега; бесконечное количе-

ство снежинок, похожих на призрачных птичек, нескончаемой стаей летящих из ниоткуда в никуда.

Конец света как будто уже наступил. Но это было неважно. Нашим миром стала машина; маленькое светлое, обогреваемое пространство; наш дом в огромной, безразличной, замерзающей вселенной. Мы прильнули друг к другу, чтобы сохранить тепло наших тел. Она прислонилась к моему плечу и уже не была ни напряженной, ни подозрительной.

Место известного нам мира занял мир ледяного ужаса и смерти. За окном был лишь смертельный холод, вымороженный вакуум ледяного века, жизнь, низведенная до минеральных кристаллов; но здесь, в нашей освещенной кабине, мы были в тепле и безопасности. Я посмотрел ей в лицо, она улыбалась, ни о чем не беспокоясь; ни страха, ни печали. Она прижалась ко мне еще сильнее, в нашем доме ей было хорошо со мной.

Я вел машину на такой скорости, словно уходил от погони, словно мы могли еще спастись. Хотя прекрасно знал, что от льда не убежишь, как не убежишь из беспрестанно сжимающейся временной капсулы, в которой мы оказались. Из этих минут я выжимал все, что мог. Минуты и мили летели. Револьвер, оттягивавший карман, придавал мне уверенности.

У. С. Мервин

"ни единого лика в небе"

Стихи

Перевод с английского и вступление Ольги Волгиной

В любой американской антологии среди имен классических и современных поэтов можно встретить имя Уильяма Стэнли Мервина, которого называют главной, ведущей фигурой в современной литературе Америки, достойным продолжателем традиций поэзии Уолта Уитмена и Карла Сэндберга. Мервин родился в 1927 году в Нью-Йорке, в семье священника, вырос в маленьком городке в штате Пенсильвания, учился в Принстоне, где познакомился с Джоном Беррименом, ставшим его литературным наставником. В детстве, едва научившись писать, Мервин сочинял псалмы для отца. Позднее, когда в его руки случайно попало собрание "Самых любимых стихотворений Америки", он открыл для себя мир поэзии, а первыми большими писателями, которых он прочел, были Джозеф Конрад и Лев Толстой. Уже поступив в университет, Мервин серьезно увлекся поэзией и начал самозабвенно писать стихи. Окончив учебу, он уехал в Европу и с 1949-го по 1951 год читал лекции по литературе во Франции, Португалии и на Майорке. Некоторое время он был частным репетитором сына известного английского поэта Роберта Грейвза. До 1954 года Мервин работал в Лондоне и много переводил для Би-би-си. В 1956 году он вернулся в Америку, в 1960-х жил в Нью-Йорке, а затем поселился на Гавайях, где преподавал в университете.

© 1970, W. S. Merwin
© 1963, W. S. Merwin
Reprinted by permission. All rights reserved.
© Ольга Волгина. Перевод, вступление, 2010

Мервин известен и как замечательный переводчик с французского, испанского, португальского, латыни. Он переводил французский и испанский героический эпос — "Песнь о Роланде" и "Песнь о моем Сиде", испанские баллады и Федерико Гарсиа Лорку. В его мелодичном свободном стихе порой слышны отголоски средневековой испанской поэзии. А в 1974 году вышла книга его переводов стихов Осипа Мандельштама (совместно с Кларенсом Брауном).

В кратких, сжатых, афористичных верлибрах Мервина интересны и развернутые метафоры, и парадокс, и гротеск.

Мервин — поэт пристального зрения, взгляд его проникает не только в пространство, но и во время, он видит даже след отражения своих детских глаз в окне старой церкви (стихотворение "Церковь"). Одно из его ключевых стихотворений — "Третий псалом", с рефреном — "Я вижу", где в поле видения попадают и "горькие дни", и "рождение речи", и тогда даже "звук бубенцов" и сама тишина становятся видимыми. И в такой зримой тишине поэт вдруг понимает, что "поет для глухих", — и его восприятие действительности трагически сгущается, заставляя взглянуть на мир сквозь "стеклянное око", "воткнутое вместо слез".

Его стихи — во многом предупреждение, поэта не покидает предчувствие беды, тревоги; он призывает бережно относиться к этому миру и друг к другу; он знает, что если каждое сердце не будет способно к ответному чувству, то скоро уже станет поздно пытаться отыскать разум там, где "царит только глупость". Мервин говорит о горечи утрат, о вечной любви и о поисках той половины души, без которой душе тоскливо и одиноко. В его стихах много грусти, но "печаль его светла", и сквозь нее в конце концов обязательно вспыхивает "нежданная радость".

Обгоняя время, поэт идет под своим пламенеющим и выгорающим знаменем в поисках символа — сокровенного слова, которое способно высветить путь идущим вослед.

Знамена

Настало время
Поднять новое знамя,
Под старым я схоронил слишком много,

Следом за мной идут
Те, кто верен цветному клочку —
Вот окаянные,

И не видно конца тому,
Как деревья спешат, стегая
Своих коней, и колосья стелются
Под мертвыми крыльями ворона,
И реки под своей водой. И мне еще не пора
Смириться и дать горизонту
Нагнать меня.

Я готов был
Шагать и шагать под тем
Пламенеющим лоскутом,
Но он выгорел добела, и во мне уже
Ни единой искры, я ищу
Свой четкий и ясный символ
И ничего другого.

Ничего другого, только приняться за дело.
Прежде пульс камня
Бился надо мной, как знамя,
Но от камня остались осколки.

Закат после дождя

Постаревшая туча уходит оплакивая своё дитя
не слыша чужих речей
любая минута — еще одна закрытая наглухо дверь

Моросящий холодный дождь куда ни пойду
ты бередишь сердце
ночь наступает

Сумерки холодны
выстужены неверием звезд друг в друга

Человек и лист октябрьским вечером

Листья чернеют едва научившись летать
и день тоже
но предвечерний ветер
приносит нежданную радость
от незнакомого дерева
разве я заслужил тебя

Старость

Поля чертополоха это все старики
когда-то верившие в каждый свой день
готовые стоять за него как солдаты
сегодня они незрячи
так ослепительна белизна сковавшая ноги
и космы их рвутся к морю

Вековые овраги
в снегопад вы казались полными
молока до краев
скрывали от нас ускользнувшее
наших детей
как нам узнать их не успевших родиться

За порогом ухода птицы вливаются в несметные
стаи молитв кружат над заливом

в догорающем свете
а старикам кажется это снег
тихо слетает застывая в небе средь бела дня
или звезды звезды

Церковь

Высокие стены
выгоревший кирпич почти Вавилон
над крутым обрывом
дом
бога

в последнем оконце
выше ограды
обращенной к реке
отражение глаз
моего детства

больше нет ничего
стены стали подножием
алтаря
только я доныне стою
на сорной траве скалы на ветру
где ничего не построишь

где мои руки
обнимали
невесту
и доныне зовут ее
куда бы она ни пришла куда бы
ни уходила *Руку*

руку

Третий псалом: сентябрьское видение

Голуэю Киннеллу

Я вижу ладонь с которой встает солнце
память в поисках
разума
Я вижу тяжкие дни горькие дни
разум покидает
камни
но покинув находит
неисповедимый путь
Я вижу осиротевшую птичью клетку
память в поисках
сердца
способного к ответному чувству
не дождется ответа
Я вижу полет осиротевшей птицы
чья песня окликает меня
по имени
звенит разбившимся
льдом
моего имени
Я вижу глаза этой птицы
в каждом огне
в дожде
в зеркалах
в зрачках
в посуде
Я вижу течение чистых озер над нами
они задевают нас кромками
уносят свои секреты
не открытые никому
Я вижу как множатся языки
рождается речь
ей расти и расти
в муках
и долететь до самой Ниневии
Я вижу приближение мотылька
настораживаюсь невидимым зверем
не зову никого

Я вижу бубенцы влекущие мертвых коней
в тишину какой никогда еще не было

о предметы спешите учить нас пока не поздно

Четвертый псалом: погребальные одежды

Она возвела над ним крышу своими руками
из его голоса вылепила
стены чтоб не пустить ветер
его мечтами раскрасила окна
каждое в свое королевство
а вместо двери сияло зеркало словно
его глаза

но стоило ей войти его не стало

не стало грезы
не стало
свидетеля

Она смастерила для него клетку из всех желаний
он помогал как мог
помогал долго
и поднимал все тяжелое

но стоило ей войти

Она сплела для него сеть из всех согласий
где он мог находить покой
словно око в своих ресницах
глобус в своих временах
она привязала ее к слезам
их обоих

но стоило ей войти его не стало
не стало
вопросов

Она выстроила для него беседку
из каких-то душистых деревьев
она знала он помнил их с детства
по углам стояли стволы она раскрашивала их
дымом
а под крышей нарисовала звезду

но стоило ей войти

Она постелила ему постель
какая бывает только у судеб
на ладонях новорожденного
но они не ложатся в нее
они уже поднялись

и стоило ей войти
его не стало

не стало ни плача ни смеха

Они обнесли его изгородью из имен
в каждом своя история
зазубренный частокол
они завладели
его слухом
но он слышал иное

стоило им войти в каждое эхо даже эхо
его не стало

Они воздвигли для него ковчег из целого дерева
с жилищами для него внутри
по два самых разных

но перед самым дождем
его не стало

согласия рук не стало
пульса ночи не стало
не стало стука в висках

ни единого лика в небе

Акклиматизация

Я надрывался изо всех сил. Я забыл о песне,
Когда вдруг понял, что пою для глухих. Мне вознесли
Хвалу, заставив меня онеметь.

Я пробирался меж них,
Словно туристский лайнер среди ловцов монет.
Я швырнул им последнюю мелочь. И тогда
Увидел — их улыбки, их руки, их жены
Насквозь пропитаны золотом. И воздали мне
По заслугам, оставив меня без гроша.

Сам виноват, голод
Привел меня к ним. За их пищу я заплатил
Сокровенным словом. И городские
Колокола победно звонили
В один голос с кассовыми аппаратами.
Мне оказали честь,
Одарили каплей надежды.
Очнувшись, я обнаружил,
Что мои ноги пропали, остались одни башмаки.

(Не по карману мне этот город, где дома
Встают на заре, чтоб заточить первый луч
За решетку, а рассветы разбиты
Деревьями на сотни осколков отчаяния!)

Я улыбаюсь
Направо и налево, но им
Все мало, все мало, все мало.
Куда от них деться!

Они владеют державой, а выше державы
Царит только глупость, там затопчут
Безногого.
Солгавшего им ждет гибель. Что еще
У меня осталось? Возьмите мое поражение,
Я застыл с ним, словно
слепой попрошайка с пустой ладонью.
Наконец мне подают
Стеклянное око, чтобы воткнуть его вместо слез.

Ольга Токарчук

Бегуны

Фрагменты книги

Перевод с польского Ирины Адельгейм

Я существую

Я совсем маленькая. Сижу на подоконнике, вокруг разбросаны игрушки – опрокинутые башни из кубиков, куклы с вытаращенными глазами. В доме темно, воздух в комнатах медленно остывает, меркнет. Никого нет; все ушли, скрылись, вдали еще звучат голоса, шарканье, эхо шагов и приглушенный смех. За окном – пустой двор. Тьма плавно изливается с неба. Оседает повсюду черной росой.

Мучительнее всего неподвижность: густая, зримая – холодные сумерки и слабый свет натриевых ламп, что тонет во мраке уже в радиусе метра.

Ничего не происходит, надвигающаяся темнота замирает на пороге, предвечерний гомон стихает, застывает густой пенкой, словно на кипяченом молоке. Силуэты домов на фоне неба растягиваются до бесконечности, мало-помалу сгла-

© by Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007
© Ирина Адельгейм. Перевод, 2010
Полностью книга будет опубликована в издательстве "НЛО".

живаются острые углы, края, изломы. Угасая, свет уносит с собой и воздух — становится душно. Теперь мрак просачивается сквозь кожу. Звуки сворачиваются в клубки, втягивают внутрь улиточьи глаза; оркестр мира уходит и исчезает в парке.

Этот вечер — кромка мира, я нащупала ее случайно, безотчетно, в игре. Обнаружила, ненадолго оставленная одна, без защиты. Я понимаю, что попалась, ловушка захлопнулась. Совсем маленькая, я сижу на подоконнике, смотрю на остывший двор. Уже погас свет в школьной кухне, там никого нет. Бетонные плиты двора напитались мраком и растаяли. Закрыты двери, опущены шторы, задернуты занавески. Хочется выйти из дому, но некуда. Только контуры моего присутствия становятся все более четкими, дрожат, колышатся, причиняя мне боль. В мгновение ока я осознаю: пути назад нет, я — существую.

Мир в голове

Первое свое путешествие я совершила по полям, пешком. Исчезновение мое обнаружили не сразу, так что я успела зайти довольно далеко. Прошла весь парк, а потом — проселочными дорогами, через кукурузу и влажные луга, усыпанные калужницей, нарезанные на квадраты мелиорационными канавами, — добралась до самой реки. Впрочем, река в этой низине повсюду напоминала о своем присутствии, просачивалась под травяной покров, облизывала поля.

Взобравшись на дамбу, я увидела движущуюся ленту, дорогу, уходившую за пределы кадра, за пределы мира. Если повезет, можно было увидеть баржи, большие плоские суда, которые скользили по реке — одни туда, другие обратно, не замечая берегов, деревьев, стоящих на дамбе людей, которые, вероятно, казались им изменчивыми, не достойными внимания ориентирами, свидетелями их исполненного грации движения. Я мечтала, когда вырасту, работать на такой барже, а еще лучше — самой в нее превратиться.

Река была невелика, всего-навсего Одра; но ведь и я в то время была маленькой. В иерархии рек она занимала свое место (позже я проверила по картам) — далеко не главное, но достойное, этакая провинциальная виконтесса при дворе королевы Амазонки. Однако меня это устраивало, мне Одра казалась огромной. Она текла, как хотела, уже давно никем не регулируемая, склонная к разливам, непредсказуемая. Местами, на мелководье, цеплялась за какие-то подводные препят-

ствия, образуя водовороты. Она струилась, шествовала, устремленная к недоступной взору цели, где-то далеко на севере. На ней невозможно было остановить взгляд — река увлекала его за линию горизонта, вызывая головокружение.

Одра не обращала на меня внимания — занятая собой, изменчивая, кочевая вода, в которую, как я узнала впоследствии, нельзя войти дважды.

Каждый год она взимала обильную дань за то, что таскала на своем хребте баржи: каждый год кто-нибудь в ней тонул — то ребенок, купавшийся в жаркий летний день, то пьяный, загадочным образом потерявший равновесие и, несмотря на ограждение, упавший с моста в воду. Поиски утопленников всегда были долгими, шумными и держали в напряжении всю округу. Прибывали водолазы и армейские моторки. Судя по подслушанным разговорам взрослых, тела находили раздувшимися и бледными — вода вымывала из них всю жизнь, смазывая черты лица настолько, что близкие с трудом опознавали трупы.

Стоя на дамбе, вглядываясь в течение реки, я осознала, что — несмотря на все опасности — движение всегда предпочтительнее покоя; перемены благороднее постоянства; обездвиженное неминуемо подвергнется распаду, выродится и обратится в прах, тогда как подвижное, возможно, пребудет вечно. В тот момент река иглой пронзила мой надежный устойчивый пейзаж парка и теплиц, в которых застенчивыми рядками всходили овощи, и бетонных плит тротуара, на которых мы играли в классики. Игла проколола его насквозь, продырявила, обозначив вертикаль третьего измерения; детский мир обратился в резиновую игрушку, из которой со свистом выходил воздух.

Мои родители принадлежали к племени не вполне оседлому. Они не раз меняли место жительства, пока наконец не застряли надолго в провинциальной школе, вдали от автострады и железной дороги. Путешествие начиналось сразу за околицей, достаточно было отправиться в соседний городок. Покупки, оформление документов в районной администрации, на рыночной площади перед ратушей — неизменный парикмахер в неизменном халате, тщетно застирываемом и отбеливаемом, потому что краска для волос оставляла на нем каллиграфические пятна, китайские иероглифы. Мама красила волосы, а отец ждал ее в кафе "Нова", на террасе с двумя столиками. Он читал местную газету, самой занимательной рубрикой которой всегда оказывались "Происшествия" — там сообщалось о похищенных из очередного подвала банках с повидлом и корнишонами.

Эти их отпускные экспедиции, опасливые, в битком набитой "шкоде". К поездкам долго готовились, планировали – вечерами, в канун весны, едва сойдет снег, но прежде, чем земля очнется; в ожидании, пока она отдаст наконец свое тело плугам и мотыгам, позволит себя оплодотворить и потом уж заставит родителей работать весь день напролет.

Они принадлежали к поколению, странствовавшему с кемпинговым прицепом, волочившему за собой временный дом. Газовую плитку, складные столики и стулья. Нейлоновую веревку – развешивать белье на стоянках, деревянные прищепки. Клеенки на стол, непромокаемые. Туристический набор для пикника – разноцветные пластиковые тарелки, приборы, солонки и рюмки.

Где-то по дороге, на очередном блошином рынке, которые они с матерью обожали посещать (если только не фотографировались на фоне какого-нибудь костела или памятника), отец купил армейский чайник – медную посудину с трубой внутри: бросаешь горсть щепочек и поджигаешь. И хотя в кемпингах можно было пользоваться электричеством, отец кипятил воду в этом чайнике, разводя дым и устраивая беспорядок. Садился на корточки возле горячего сосуда и с гордостью прислушивался к бульканью кипятка, которым заливал пакетики с чаем – истинный номад.

Они останавливались в специально отведенных местах, на площадках кемпингов, всегда в обществе себе подобных, болтали с соседями, окруженные носками, что сушились на веревках палаток. Прокладывали маршруты с помощью путеводителя, тщательно разрабатывая план развлечений. До обеда – купание в море или озере, после – паломничество в древний мир достопримечательностей, увенчанное ужином, чаще всего приготовленным из консервов: гуляш, котлеты, фрикадельки в томатном соусе. Оставалось только сварить макароны или рис. Вечная экономия, хилый злотый, медный грошик мира. Искали места, где можно подключиться к сети, потом нехотя собирались в дальнейший путь – никогда, правда, не выходивший за пределы метафизической домашней орбиты. Родители не были настоящими путешественниками, ведь они уезжали, чтобы вернуться. И возвращались с облегчением, с чувством выполненного долга. Возвращались к скопившимся на комоде письмам и счетам. К большой стирке. К украдкой позевывающим над фотографиями друзьям. Это мы в Каркасоне. Вот жена, на заднем плане – Акрополь.

Потом весь год они вели оседлый образ жизни – то диковинное существование, когда утром возвращаешься к делам, что были прерваны вечером, одежда пропитывается запахом

собственной квартиры, а ноги неутомимо протаптывают тропку на ковре.

Это не для меня. Во мне, видимо, отсутствует ген, который позволяет укорениться в любом месте, едва остановившись. Я пробовала, но корни всякий раз оказывались слишком слабы, и малейший порыв ветра вырывал меня из земли. Я не умею пускать ростки, лишена этого растительного дара. Не питаюсь земными соками, я — анти-Антей. Мою энергию порождает движение — тряска автобусов, рокот самолетов, покачивание паромов и поездов.

Я удобна, невелика, компактна и хорошо оснащена. У меня маленький, нетребовательный желудок, сильные легкие, плоский живот и крепкие мышцы рук. Я не принимаю никаких лекарств, не ношу очки, не нуждаюсь в гормонах. Волосы стригу машинкой, раз в три месяца, косметикой почти не пользуюсь. У меня здоровые зубы, может, не слишком ровные, но целые, всего одна старая пломба, кажется, в нижней левой шестерке. Печень — в норме. Поджелудочная — в норме. Почки, правая и левая, — в превосходном состоянии. Брюшной отдел аорты — в норме. Мочевой пузырь — правильной формы. Гемоглобин — 12,7. Лейкоциты — 4,5. Гематокрит — 41,6. Тромбоциты — 228. Холестерин — 204. Креатинин — 1,0. Билирубин 4,2 и так далее. Мой IQ — если вы придаете этому значение — 121; сойдет. Хорошо развитое пространственное воображение, почти эйдетическое[1], а вот латеризация[2] плохая. Профиль личности — неустойчивый, видимо, полагаться на него не стоит. Возраст — психологический. Пол — грамматический. Книги я покупаю, как правило, в мягком переплете, чтобы не жалко было оставить их на перроне, для других глаз. Ничего не коллекционирую.

Я окончила университет, но, по сути, никакой профессией не овладела, о чем очень сожалею; мой прадед ткал полотно, белил его — раскладывал на пригорке, подставлял палящим лучам солнца. Вот это по мне — сплетать основу и уток, однако переносных ткацких станков не делают, ткачество — ремесло оседлых народов. В дороге я вяжу. К сожалению, в последнее время некоторые авиакомпании запрещают брать

1. Способность "видеть" образ предмета, несмотря на его фактическое отсутствие. При этом мысленный образ является точным отображением реальности, а не реконструкцией с использованием навыков памяти. Среди взрослых это умение встречается достаточно редко, но довольно распространено у детей (примерно 5 % детей обладает эйдетическим воображением). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2. Процесс, посредством которого различные функции и процессы связываются с одним или другим полушарием.

на борт самолета спицы и крючок. Как уже говорилось, никакому делу я не обучена, и все же, несмотря на опасения родителей, мне удалось выжить, хватаясь то за одно, то за другое и ни разу не скатившись на дно.

Вернувшись в город после двадцатилетнего эксперимента, утомленные засухами и морозами, здоровой едой, что всю зиму хворает в подвале, шерстью от собственных овец, старательно заталкиваемой в глотки подушек и одеял, родители выдали мне небольшую сумму, и я впервые отправилась в путь.

Я устраивалась на временную работу там, где оказывалась. На окраине мегаполиса собирала антенны для эксклюзивных яхт на интернациональной мануфактуре. Нас там было много. Нанятых нелегально, без лишних расспросов о происхождении и планах на будущее. Зарплату выдавали в пятницу, и, если что кого не устраивало — в понедельник можно было просто не приходить. Сюда стекались вчерашние школьники: между выпускными и вступительными экзаменами. Иммигранты с их вечным стремлением к идеальной, справедливой западной стране, где люди живут как братья и сестры, а сильное государство по-отечески заботливо; беглецы, удравшие от своих семейств — жен, мужей, родителей; несчастные влюбленные, рассеянные, меланхоличные и вечно зябнущие. Должники, не выплатившие кредит и преследуемые законом. Бродяги, перекати-поле. Психи, которых после очередного приступа безумия увозили в больницу, а оттуда — согласно загадочным правилам — депортировали на родину.

Только один индус работал здесь постоянно, уже многие годы, но, честно говоря, его положение ничем не отличалось от нашего. У него не было медицинской страховки, ему не полагался отпуск. Он работал молча, терпеливо, размеренно. Никогда не опаздывал, никогда не просил отгулов. Я уговорила нескольких человек организовать профсоюз (то были времена "Солидарности") — хотя бы ради этого индуса, — но оказалось, что ему это не нужно. Растроганный моим вниманием, он каждый день угощал меня острым карри, которое приносил в судках. Теперь я даже не помню, как его звали.

Я побывала официанткой, горничной в роскошном отеле и нянькой. Продавала книги, продавала билеты. На один сезон устроилась в маленький театр костюмершей и целую долгую зиму провела среди плюшевых кулис, тяжелых костюмов, атласных пелерин и париков. После университета я еще работала педагогом, консультантом в наркологическом центре, а в последнее время — библиотекаршей. Поднакопив немного денег, отправлялась дальше.

Голова в мире

Психологию я изучала в большом и мрачном коммунистическом городе, факультет занимал здание, где во время войны располагался штаб СС. Район выстроен на руинах гетто, и человек наблюдательный без труда заметит, что уровень земли здесь примерно на метр выше, чем везде в городе. Метр развалин. Мне всегда было там не по себе; среди многоэтажек и убогих скверов вечно гулял ветер, а морозный воздух казался особенно колючим, щипал лицо. Это место, хотя на нем стояли жилые дома, по сути, все еще принадлежало мертвецам. Здание факультета снится мне до сих пор — широкие, будто бы вырубленные в скале коридоры, отполированные множеством ног, стертые края ступеней, выглаженные ладонями перила — следы, отпечатавшиеся в пространстве. Вероятно поэтому к нам и наведывались призраки.

Когда мы запускали крыс в лабиринт, всегда находилась одна, которая опровергала своим поведением теорию и плевать хотела на наши хитроумные гипотезы. Она вставала на задние лапки, совершенно не интересуясь наградой на финише экспериментальной трассы; безразличная к привилегиям рефлекса Павлова, она обводила нас взглядом, а потом возвращалась обратно или же принималась неспешно обследовать лабиринт. Что-то искала в ответвлениях коридора, старалась привлечь к себе внимание. Растерянно пищала, и тогда девочки, нарушая инструкции, вытаскивали ее из лабиринта и держали в руках.

Мышцы мертвой распяленной лягушки сокращались и расслаблялись, повинуясь электрическим импульсам, но не так, как описывал учебник, — намекая на что-то, а в движениях конечностей явственно читались угроза и издевка, опровергавшие святую веру в механическую непорочность физиологических рефлексов.

Нас учили, что мир можно описать и даже объяснить с помощью простых ответов на умные вопросы. Что по сути своей он хаотичен и мертв, подчиняется нехитрым закономерностям, которые следует растолковать и наглядно представить — желательно с использованием диаграмм. От нас требовали проведения экспериментов. Формулировки гипотез. Их проверки. Нас посвящали в тайны статистики, полагая, что она поможет успешно справиться с описанием мироустройства и что девяносто процентов всегда перевесят пять.

Но сегодня я знаю одно: ищущий порядка да бежит психологии. Лучше избрать физиологию или теологию, которые хотя бы способны обеспечить устойчивую почву под нога-

ми — материю или дух, — чтобы не поскользнуться на психике. Психика — объект весьма туманный.

Правы были те, кто утверждал, будто на факультет этот идут не ради будущей профессии, интереса или стремления нести людям помощь — причина совсем иная, очень простая. Подозреваю, что все мы имели некий глубоко скрытый дефект, хотя, вероятно, производили впечатление умных и здоровых молодых людей — замаскировав, ловко закамуфлировав свой изъян на вступительных экзаменах. Клубок эмоций, плотно переплетенных, свалявшихся — вроде тех диковинных опухолей, которые порой обнаруживаются в человеческом теле и которые можно увидеть в любом мало-мальски приличном патолого-анатомическом музее. Но, вполне возможно, наши экзаменаторы были подобны нам и хорошо отдавали себе отчет в своих действиях. А следовательно, мы — их преемники. На втором курсе, изучая функционирование защитных механизмов и с восторгом открывая могущество этой сферы психики, мы начинали понимать, что без рационализации[1], сублимации, вытеснения, без всех этих фокусов, которыми мы себя тешим — умей мы глядеть на мир с открытым забралом, честно и бесстрашно, — умерли бы от разрыва сердца.

В процессе обучения мы узнали, что состоим из оборонительных сооружений, щитов и доспехов, подобны городам, чье архитектурное разнообразие ограничивается стенами, башнями да укреплениями — этакое государство бункеров.

Все тесты, опросы и обследования мы опробовали друг на друге, и после третьего курса я была уже в состоянии назвать то, что меня беспокоило — мне как будто открылось собственное сокровенное имя, используемое лишь для обряда инициации.

Я недолго занималась тем, чему меня обучили. В одной из поездок, застряв без гроша в большом городе и устроившись в гостиницу горничной, начала писать книгу. Это была повесть, которую хорошо читать в дороге, в поезде — я словно бы писала ее для себя. Книга-тартинка — умещается во рту целиком, не приходится откусывать.

1. Рационализация — механизм психологической защиты, при котором в мышлении используется только та часть воспринимаемой информации и делаются только те выводы, благодаря которым собственное поведение предстает как хорошо контролируемое и не противоречащее объективным обстоятельствам. Иначе говоря, подбор (поиск) рационального объяснения для поведения или решений, имеющих иные, неосознаваемые причины. Термин был предложен Зигмундом Фрейдом, в дальнейшем понятие развила его дочь Анна Фрейд.

Мне удавалось хорошенько сосредоточиться и сконцентрироваться, на некоторое время обратившись в гигантское ухо, что прислушивается к шорохам, эху и шелесту; далеким голосам, доносящимся откуда-то из-за стены.

Но я так и не стала настоящей писательницей или, лучше сказать, писателем — мужской род придает этому слову весомость. Жизнь вечно ускользала от меня. Я обнаруживала только ее следы, жалкие личиночные шкурки. Стоило мне засечь ее координаты, как она меняла местоположение. Я находила лишь знаки, вроде надписи на дереве в парке: "Здесь был я". На листе бумаги жизнь оборачивалась незаконченными историями, сновидческими новеллами, туманными сюжетами, зависала на горизонте вверх ногами или в поперечном сечении — так что охватить целое было непросто.

Каждый, кто когда-либо пытался написать роман, знает, сколь мучителен этот труд — хуже занятия уж точно не придумаешь. Ты обречен на постоянное заточение внутри себя, в одиночной камере. Это контролируемый психоз, параноия и мания, приспособленные к полезному делу, а потому лишенные перьев, турнюров и венецианских масок, по которым их можно было бы опознать, — скорее уж нацепившие фартук мясника и резиновые сапоги, с тесаком в руках. С такой писательской перспективы, как из подвала, разве что ноги видны прохожих да слышен стук каблуков. Порой кто-нибудь остановится, наклонится и заглянет внутрь, тогда есть шанс увидеть человеческое лицо и даже обменяться с незнакомцем парой фраз. Однако на самом деле разум занят игрой, которую ведет сам с собой в поспешно сооруженном паноптикуме, расставляет фигурки на эфемерной сцене: автор и герой, повествовательница и читательница, та, что описывает, и та, что описана; ноги, туфли, каблуки и лица случайных прохожих рано или поздно становятся частью этой игры.

Я не жалею, что выбрала это специфическое занятие, — профессия психолога не для меня. Я не умела истолковывать, выкликать из тьмы разума семейные фотографии. Чужие исповеди... Нередко — признаюсь с грустью — они навевали на меня скуку. По правде говоря, зачастую мне хотелось поменяться с пациентом ролями и рассказать о себе. Я с трудом удерживалась, чтобы внезапно не схватить его за рукав и не прервать на полуслове: "Да что вы! А у меня совсем другое ощущение! А мне вот какой сон приснился! Послушайте..." Или: "Да что вы можете знать о бессоннице! И это вы называете приступом паники? Вы, наверное, шутите. Вот я недавно такое пережила..."

Я не умела слушать. Выходила за рамки, совершала переносы. Не доверяла статистике и апробированным теориям. На мой вкус, тезис "одна личность — один человек" отдает минимализмом. У меня была склонность затуманивать бесспорное, подвергать сомнению веские доказательства — привычка, извращенная йога для мозга, изысканная роскошь внутреннего движения. Подозрительное разглядывание всякой точки зрения, смакование ее и, наконец, предсказуемое открытие: ни одно суждение не есть истина, любое — фальшивка, подделка. Мне не хотелось обзаводиться твердыми взглядами — балласт. В спорах я становилась то на одну сторону, то на другую — и знаю, что собеседникам это не нравилось. Я замечала происходящее в моей голове странное явление: чем больше находилось аргументов "за", тем больше возникало всевозможных "против", и чем больше я прикипала душой к первым, тем привлекательнее казались вторые.

Как я могла обследовать других, если сама мучилась с каждым тестом? Личностные опросники, анкеты, колонки вопросов и шкалы ответов казались мне слишком сложными. Я быстро обнаружила в себе этот изъян, поэтому в университете, когда мы в рамках практики опрашивали друг друга, давала случайные ответы, наобум. В результате получались диковинные профили — кривые, вычерченные на оси координат. "Уверена ли ты, что лучшее решение — то, которое легче всего изменить?" Уверена ли я? Какое решение? Изменить? Когда? Насколько легче? "Войдя в комнату, ты остановишься в центре или сбоку?" В какую комнату? В какой момент? Пустая она или вдоль стен расставлены красные плюшевые диваны? А окна — какой из них открывается вид? Вопрос о книге: предпочту ли я книгу вечеринке или это зависит от книги и от вечеринки?

Что за методы! Подразумевающие, что человек себя не знает, но стоит подсунуть ему хитроумный вопросник — и он тут же прозреет. Сам задаст себе вопрос и сам же на него ответит. По рассеянности выдаст себе тайну, о которой понятия не имеет.

И второй тезис, смертельно опасный: будто мы неизменны, а наши реакции — предсказуемы.

Кунсткамера

Я никогда не была любительницей художественных галерей и, будь моя воля, охотно променяла бы их на кунсткамеры, где собрано и выставлено редкое и неповторимое, диковин-

ное и жутковатое. Бытующее в тени сознания и исчезающее из поля зрения, стоит обратить на него взгляд. Да, я наверняка страдаю этим проклятым синдромом. Меня привлекают не те коллекции, что экспонируются в центре города, а скромные больничные собрания, зачастую перенесенные в подвал как недостойные солидных витрин и выдающие сомнительные пристрастия прежних собирателей. Саламандра о двух хвостах в овальной банке, мордочкой кверху, ожидающая Судного дня, когда воскреснут наконец все препараты на свете. Почка дельфина в формалине. Череп овцы, аномалия чистой воды, двойной набор глаз, ушей и ртов, прекрасный, словно лик многозначного древнего божества. Человеческий плод, украшенный бусами и снабженный каллиграфической подписью: "Fetus Aethiopis 5 mensium"[1]. Годами коллекционируемые капризы природы, двуглавые и безголовые, так и не рожденные, сонно плавающие в растворе формальдегида. Или случай Cephalothoracopagus Monosymmetro[2], по сей день экспонируемого в музее в Пенсильвании: патологическая морфология плода с одной головой и двумя телами опровергает основы логики 1 = 2. И, наконец, трогательный домашний кулинарный препарат: яблоки урожая 1848 года, спящие в спирту, все диковинные, необычной формы; видимо, кто-то решил, что эти казусы заслуживают бессмертия и что вечно пребудет лишь уникальное.

Именно к этому я терпеливо продвигаюсь в своих странствиях, выискивая просчеты и осечки творения.

Я научилась писать в поездах, отелях и залах ожидания. На откидном столике в самолете. Я делаю пометки под столом во время обеда или в туалете. Пишу на музейной лестнице, в кафе, в машине, припаркованной на обочине. Записываю на клочках бумаги, в блокнотах, на почтовых открытках, на ладони, на салфетках, на полях книг. Чаще всего это короткие фразы, сценки, но иногда и выдержки из газет. Бывает, соблазнившись какой-нибудь выхваченной из толпы фигурой, я меняю свой маршрут и некоторое время следую за этим человеком, готовясь начать повествование. Метод хороший; я его совершенствую. С каждым годом мне, как всякой женщине, все больше помогают годы — я сделалась невидима, прозрачна. Могу двигаться подобно привидению, заглядывать через плечо, подслушивать, как люди ссорятся, и наблюдать, как они спят, подложив под голову рюкзак, как

1. Плод эфиопа пятимесячный (*лат.*).
2. Моносимметричные цефалоторакопаги (*лат.*).

разговаривают, не догадываясь о моем присутствии, только шевеля губами, формулируя слова, которые я собираюсь произнести от их имени.

Видеть – значит ведать

Цель всякого моего паломничества — другой паломник. На сей раз дефектный, расчлененный.

Вот тут, например, собраны кости, но все до одной пораженные болезнью; искривленные позвоночники, полоски ребер явно извлечены из таких же искривленных тел, препарированы, высушены и вдобавок покрыты лаком. Крошечные циферки помогают отыскать описание болезни в почти истлевших инвентарных списках. Что такое бумажный век по сравнению с долголетием костей? Надо было писать прямо на костях.

Вот, к примеру, бедренная кость, которую кто-то, движимый любопытством, распилил вдоль, чтобы посмотреть, что сокрыто внутри. Вероятно, увиденное его разочаровало: он связал две половинки конопляной веревкой и, размышляя уже о чем-то другом, положил обратно под стекло.

В этой витрине — несколько десятков людей, не знакомых друг с другом, разделенных временем и пространством и теперь покоящихся в комфортабельной могиле, просторной, сухой и с подсветкой, обреченных на музейную вечность; им наверняка завидуют кости, уставшие от вечной борьбы с землей. Возможно, иные из них, кости католиков, тревожатся: как они отыщут друг друга на Страшном суде, как, разрозненные, вновь составят тело, совершавшее дурные и благие поступки?

Черепа с наростами самого разного вида, простреленные, продырявленные, выщербленные. Косточки кисти, искореженные ревматизмом. Плечо, сломанное в нескольких местах, сросшееся как попало, неправильно; окаменелость многолетней боли.

Слишком короткие длинные кости и слишком длинные — короткие, изъеденные туберкулезом, словно источенные жучком.

Бедные человеческие черепа в подсвеченных викторианских витринах щерятся, демонстрируя челюсти. Вон у того, например, посреди лба здоровенная дыра, зато зубы красивые. Интересно, оказалось ли это отверстие смертельным. Необязательно. Одному человеку, инженеру-путейцу, пробило голову металлическим прутом, и он прожил с этой раной еще долгие годы, чем принес очевидную пользу нейропсихо-

логии, во всеуслышание заявлявшей, что наш мозг есть наше бытие. Тот инженер не умер, но очень изменился. По словам окружающих, стал совершенно другим человеком. Раз нашу суть определяет мозг, поскорее направимся к соответствующим витринам. Вот они! Кремовые актинии в растворе, большие и маленькие, гениальные и те, что не умели сложить два и два.

Однако дальше перед нами открывается отдел экспозиции, отведенный человеческим плодам. Куколки, фигурки; все такое миниатюрное, что человечек целиком умещается в маленькой баночке. Самые младшие, эмбрионы, почти неразличимы — крошечные рыбки, лягушки, подвешенные на конском волосе в формалиновых просторах. Те, что побольше, демонстрируют строение человеческого тела, его чудесную оболочку. Крошки-недочеловеки, малыши-полугоминиды, их существование так и не преодолело магической грани потенциального. Обретя форму, они не доросли до духа — быть может, его наличие как-то зависит от размеров? Здесь материя с вялым упорством начала структурироваться в жизнь, собирать ткани, формировать группы органов, устанавливать связи между ними; вот уже заложена основа глаза и подготовлены легкие, хотя до света и воздуха далеко.

В следующем ряду те же органы, но уже зрелые, довольные, что обстоятельства позволили им обрести нужный размер. Нужный? Откуда им знать, до какого момента следует расти, когда остановиться? А вот некоторые как раз и не знали — эти кишки все росли и росли, ученые с трудом отыскали подходящую банку. Еще труднее представить себе, как умещались они в животе того мужчины, что фигурирует на этикетке в виде инициалов.

Сердце. Все его тайны разгаданы окончательно — вот этот бесформенный предмет размером с кулак, грязно-кремовый. Это и есть цвет нашего тела, серо-кремовый, серо-коричневый, некрасивый — надо его запомнить. Мы бы не стали жить в комнате с такими стенами, не купили бы машину такого цвета. Это цвет нутра, темноты, места, которого не достигают солнечные лучи, влажного убежища, в котором материя скрывается от чужих глаз, а, следовательно, ей уже нет нужды играть на публику. Только кровь придает ей яркость; кровь призвана служить предостережением, ее красный цвет — сигнал тревоги: раковина нашего тела вскрыта. Целостность тканей — нарушена.

На самом деле изнутри мы бесцветны. Если сердце как следует отполоскать от крови, именно так оно выглядит — словно комок слизи.

Семь лет путешествия

— Каждый год — одно путешествие, вот уже семь лет, с тех пор как мы поженились, — рассказывал попутчик — молодой мужчина в длинном черном элегантном пальто, с твердым черным портфелем, напоминающим роскошный футляр для столовых приборов.

У нас множество фотографий, говорил он, все разложено по порядку. Южная Франция, Тунис, Турция, Италия, Крит, Хорватия и даже Скандинавия. Мужчина объяснил, что обычно они смотрят фотографии несколько раз: с родственниками, с коллегами, потом с друзьями, а затем снимки годами хранятся в неприкосновенности, упакованные в пластиковые конверты, словно улики в сейфе у следователя: мы там побывали!

Он задумался и выглянул в окно, за которым бежали уже опоздавшие куда-то пейзажи. Возможно, задумался: а что, собственно, значит — "побывали"? Куда подевались те две недели во Франции, которые сегодня умещаются в пару воспоминаний — внезапное чувство голода у стен средневекового города и вечерние мгновения в ресторанчике под увитой виноградом крышей? Что сделалось с Норвегией? От нее остался лишь холод озерной воды да день, что никак не кончался, а еще радость — успели купить пиво перед самым закрытием магазина, или впервые открывшийся ошеломительный вид фиорда.

— Увиденное мною — принадлежит мне, — подытожил тот человек, внезапно оживившись, и звонко шлепнул себя по колену.

Гадание по Чорану

Другой человек, застенчивый и милый, в каждую командировку брал книгу Чорана, один из его сборников, с очень короткими текстами. В гостинице он всегда клал Чорана на тумбочку возле кровати, а проснувшись, сразу открывал наобум, в поисках формулы для наступающего дня. Он считал, что в европейских гостиницах следует срочно заменить Библию на Чорана. От Румынии до Франции. Мол, Библия для гадания уже не годится. Что нам с таких, к примеру, строк, откройся они по неосторожности в апрельскую пятницу или декабрьскую среду: "Все принадлежности скинии для всякого употребления в ней, и все колья ее, и все колья двора — из меди" (Исход. 27:19). Как это понимать? Впрочем, почему обязательно Чоран? Поглядев на меня с вызовом, он предложил:

— Пожалуйста, назовите что-нибудь другое.

Мне ничего не приходило в голову. Тогда он вынул из рюкзака тонкий потрепанный томик, открыл наугад, и лицо его прояснилось.

— "Вместо того чтобы обращать внимание на лица прохожих, я посмотрел на их ноги, и суетливость всех этих людей оказалась сведенной к торопливым шагам, устремленным... куда? И мне показалось очевидным, что наше предназначение состоит в том, чтобы топтаться в пыли в поисках некоей тайны, лишенной всякого серьезного значения"[1], — прочитал он удовлетворенно.

Везде и нигде

Отправляясь в путь, я исчезаю с карт. Никто не знает, где я нахожусь. В точке, из которой вышла, или в точке, к которой устремилась? Существует ли некое "между"? Или я подобна дню, утраченному при перелете на восток, и ночи, обретенной при перелете на запад? Распространяется ли на меня закон, составляющий гордость квантовой физики: частица может существовать одновременно в двух местах? Или другой, пока нам неведомый и недоказанный: в одном и том же месте можно не существовать вдвойне?

Думаю, нас таких много. Исчезнувших, отсутствующих. Вдруг возникающих в зале прилета и начинающих существовать в тот момент, когда пограничник ставит в паспорт штамп или любезный портье вручает ключ от номера. Эти люди, вероятно, уже обнаружили собственную неустойчивость и зависимость от места, времени суток, языка или города с его микроклиматом. Текучесть, мобильность, иллюзорность — вот что значит быть цивилизованным человеком. Варвары не путешествуют, они просто идут к цели или совершают набеги.

Подобной точки зрения придерживается женщина, угощающая меня травяным чаем из термоса: мы дожидаемся автобуса, который доставит нас с вокзала в аэропорт; кисти рук у нее разрисованы хной — причудливый узор, который с каждым днем становится все неразборчивее. В автобусе она читает мне лекцию о времени. Говорит, что оседлые, аграрные народы предпочитают прелести циклического времени, когда каждое событие возвращается к своему началу, сворачи-

1. Э. Чоран. Признания и проклятия / Перев. О. Акимовой. — СПб.: 2004. — С. 107.

вается в эмбрион и повторяет процесс созревания и смерти. Однако номады и торговцы, отправляясь в путь, вынуждены были изобрести для себя иное время, лучше приспособленное для путешествия. Это время линейное, более практичное, поскольку является мерилом стремления к цели и обрастания процентами. Каждое мгновение отлично от другого и никогда не повторится, а, следовательно, благоприятствует риску и жажде жить на полную катушку, пользуясь всякой оказией. На самом деле открытие это оказалось горьким: смена времени неизбежна, утрата и траур становятся повседневностью. Поэтому с уст этих людей не сходят слова "тщетный", "исчерпанный" и тому подобные.

— Тщетные усилия, исчерпанные ресурсы, — смеется женщина и закидывает раскрашенные руки за голову.

Она говорит, что единственный способ выжить в таком растянутом линейном времени — соблюдать дистанцию, совершать танец, каждое движение которого приближает и отдаляет: шаг вперед — шаг назад, влево-вправо, такие движения легко запомнить. Чем больше расширяется мир, тем большую дистанцию можно завоевать таким танцем — эмигрировать за семь морей, за два языка, за целую религию.

Однако на этот счет я придерживаюсь иного мнения. Время путешественника неоднородно, это великое множество времен внутри одного времени. Это время островное, архипелаги порядка в океане хаоса, время, вырабатываемое вокзальными часами, — в каждой точке свое собственное, условное, меридианное, а потому не стоит воспринимать его всерьез. Часы тают в летящем самолете — в мгновение ока светает, а на пятки уже наступают полдень и вечер. Это гектическое[1] время крупных городов, где задерживаешься на мгновение, отдаваясь в рабство случайному вечеру, и ленивое — безлюдных равнин за иллюминатором.

Еще мне кажется, что мир у нас внутри, в извилине мозга, в шишковидной железе, он стоит в горле, этот глобус. В сущности, откашлявшись, можно его выплюнуть.

Аэропорты

Вот большие аэропорты, которые собирают нас, приманивая пересадкой на другой самолет; это система расписаний рейсов, подчиненная движению. Но даже если в ближайшие

1. От hektikos (*греч.*) — продолжительный, привычный.

несколько дней мы никуда не собираемся, любой аэропорт стóит того, чтобы познакомиться с ним поближе.

Когда-то они располагались на окраине, служа дополнением к городу, наподобие вокзала. Однако сегодня аэропорты уже обретают собственное лицо. Скоро можно будет утверждать, что это города являются их придатками, обеспечивающими рабочие и спальные места. Ведь известно, что подлинная жизнь и есть движение.

Чем сегодняшние аэропорты хуже обычных городов? Там проходят интересные выставки, есть конференц-залы, в которых устраиваются фестивали и просмотры. Есть сады и променады, осуществляются просветительские проекты. В Схипхоле[1] можно увидеть прекрасные копии Рембрандта, а в одном азиатском аэропорту имеется отличный Музей религии. Есть и приличные отели, и всевозможные рестораны с барами. Маленькие лавочки, супермаркеты и торговые центры, в которых можно не только купить все необходимое для путешествия, но и заодно сразу приобрести сувениры, чтобы потом, на месте, не тратить на это время. Есть фитнесс-клубы, салоны классического и восточного массажа, работают парикмахеры и торговые менеджеры, представительства банков и сотовых компаний. Наконец, удовлетворив физические потребности, мы можем получить духовную поддержку в многочисленных часовнях и комнатах для медитации. На некоторых аэродромах проходят литературные и авторские вечера. Где-то в рюкзаке у меня до сих пор хранятся программки: "Психология путешествий: история и основные проблемы", "Развитие анатомии в семнадцатом веке".

Все прекрасно организовано; траволаторы помогают пассажирам перебираться из зала в зал, а затем те перемещаются с аэродрома на аэродром (иные из которых разделяет десять с лишним часов лету!), неприметные служащие следят за порядком и контролируют безупречное функционирование этого огромного механизма.

Это уже больше, чем аэропорт, это — особая разновидность города-государства, местоположение которого постоянно, а граждане меняются. Аэрореспублики, члены Союза аэропортов мира, пока не имеющего представительства в ООН, но это вопрос времени. Пример государственного устройства, при котором внутренняя политика менее важна, чем связи с другими аэропортами — членами Союза, — единственно оправдывающие их существование. Пример экстра-

1. Аэропорт в Амстердаме.

вертного строя; конституция напечатана на каждом билете, а единственным удостоверением личности является посадочный талон.

Число жителей здесь неустанно меняется и колеблется. Интересно, что население увеличивается в туман и грозу. Чтобы повсюду чувствовать себя комфортно, гражданам рекомендуется не привлекать к себе внимания. Порой, когда стоишь на траволаторе, а мимо проплывают братья и сестры по путешествию, может показаться, что все мы — анатомические препараты, глазеющие друг на друга из стеклянных банок с формалином. Персонажи, вырезанные из иллюстраций в журнале, фотографий в путеводителе. Наш адрес — место в самолете: скажем, 7D или 16A. Огромные транспортеры развозят нас в противоположных направлениях: кто-то в шубе и шапке, кто-то — в футболке с пальмами и бермудах, у этих глаза выцвели от снега, у тех — прикрыты темными очками; одни пропитались северной сыростью, запахом гнилой листвы и размокшей земли, другие несут в сандалиях песок пустынь. Одни — смуглые, подгоревшие, закопченные, другие — ослепительно-белые, флюоресцирующие. Те, кто бреет голову, и те, кто никогда не стрижется. Высокие и грузные — вроде этого мужчины, и миниатюрные, филигранные — вроде той женщины, ему по пояс.

И музыка здесь особая. Симфония самолетных двигателей, набор бесхитростных звуков, распростертых в лишенном ритма пространстве. Ортодоксальный двухмоторный хор, мрачный, минорный, инфракрасный, инфрачерный, ларго, основанное на одном аккорде, что сам себе наскучил. Реквием с мощным introitus[1] старта и заходящим на посадку "аминь" в финале.

Путешествие к истокам

На хостелы следует подать в суд за агеизм — дискриминацию по возрасту. По каким-то причинам они предоставляют ночлег только молодежи; возрастной потолок устанавливается произвольно, но сорокалетнему уж точно ничего не светит. Отчего молодым такие преимущества? Разве сама биология и без того не осыпает их привилегиями?

1. Introitus — вступление (*лат.*) — псалом, который исполнялся хором певчих, в то время как служащий мессу священник переходил из ризницы к алтарю.

Взять хотя бы этих бекпакеров[1], которые заполняют большинство хостелов: сильные и высокие — и мужчины, и женщины, — светлокожие здоровяки, редко курят или принимают какую-нибудь пакость, разве что изредка позволят себе косячок-другой. Пользуются экологически безвредным транспортом — сухопутным; их перевозят ночные поезда, битком набитые автобусы дальнего следования. В некоторых странах еще удается воспользоваться автостопом. Вечером они добираются до очередного такого хостела и за ужином задают друг другу Три Вопроса Путешественника: Откуда ты родом? Откуда приехал? Куда едешь? Первый вопрос намечает вертикаль, два другие — горизонтали. Создав таким образом своеобразную систему координат, они размещают друг друга на этой карте и спокойно засыпают.

Человек, которого я встретила в поезде, путешествовал, как почти все они, в поисках своих корней. Дорога ему предстояла нелегкая. Бабка по матери — российская еврейка, дед — виленский поляк (покинул Россию вместе с армией генерала Андерса, после войны осел в Канаде); дед по отцу — испанец, а бабушка — индианка из племени, названия которого я не запомнила.

Он только начинал свое странствие и, похоже, был несколько растерян.

Дорожная косметика

В наше время каждый уважающий себя парфюмерный магазин предлагает покупателям специальную серию дорожной косметики. Иные торговые сети даже отводят под нее отдельную витрину. Здесь можно приобрести все, что пригодится в дороге: шампунь, тюбик жидкого мыла для стирки белья в гостиничной ванной, зубные щеточки, складывающиеся пополам, крем от солнца, спрей от комаров, влажные салфетки для обуви (вся цветовая гамма), средства интимной гигиены, крем для ног, крем для рук. Отличительная черта всех этих товаров — размер: это мини-копии, тюбики и баночки, бутылочки размером с большой палец; микроскопический набор швейных принадлежностей включает в себя три иголки, пять моточков ни-

1. "Самостоятельные" путешественники (в отличие от организованных туристов). В конце XX в. бекпакеров стало так много, что индустрия туризма уже не могла их игнорировать: стали появляться специальные отели для бекпакеров, агентства автостопа, дешевые закусочные и бары, малобюджетные автобусные и авиакомпании.

ток разного цвета, по три метра каждый, две белые аварийные пуговицы и английскую булавку. Очень полезная штука — лак для волос, малюсенький спрей умещается в ладони.

Похоже, косметическая промышленность признала феномен путешествия миниатюрным слепком оседлой жизни, его забавной, немного игрушечной микрокопией.

Поезд трусливых

Существуют поезда, специально предназначенные для того, чтобы спать. Весь состав — сплошь спальные вагоны плюс один вагон-бар (даже не ресторан, это лишнее). Такой поезд курсирует, например, от Щецина до Вроцлава. Уходит в 22.30 и прибывает в 7.00, но расстояние невелико, всего 340 километров, которые можно преодолеть за пять часов. Однако быстрее — не всегда лучше, фирма заботится о комфорте пассажиров. Поезд останавливается среди полей и замирает в ночном тумане; спокойная гостиница на колесах. Нет смысла бегать наперегонки с ночью.

Есть вполне приличный поезд Берлин–Париж. И Будапешт–Белград. А также Бухарест–Цюрих.

Я полагаю, изобрели их для тех, кто боится летать самолетами. Стыдно признаваться, что ты — из числа таких пассажиров. Впрочем, они себя особо и не афишируют. Это поезда для постоянных клиентов, для того несчастного процента человечества, что при взлете и посадке всякий раз умирает от страха. Для тех, у кого потеют руки, кто беспомощно комкает бесчисленные платочки и хватает стюардессу за рукав.

Эти составы скромно прибывают на отдаленные платформы, не бросаются в глаза. (Например, тот, что следует из Гамбурга в Краков, поджидает пассажиров в Альтоне[1], укрывшись за рекламами и стендами.) Новичкам придется поплутать по вокзалу, чтобы отыскать свой поезд. Пассажиры спешат поскорее войти в вагон. В боковых карманах дорожных сумок лежат пижамы и тапочки, косметички, беруши. Одежда аккуратно развешивается на специальных плечиках, а на микроскопические умывальники, спрятанные в шкафчиках, выкладываются зубные щетки и тюбики с пастой. Скоро кондуктор начнет спрашивать, что подать на завтрак. Кофе или чай — эрзац железнодорожной свободы выбора. Купи пассажир авиабилет со скидкой — через час был бы уже на месте, да и вышло

1. Áльтона — район Гамбурга.

бы дешевле. "Сэкономил" бы ночь, чтобы провести ее в объятиях истосковавшейся возлюбленной, поужинать в ресторане на рю Бле-бле, где такие вкусные устрицы. Моцартовский концерт в соборе. Прогулка по набережной. А так они вынуждены полностью отдаться времени в вагоне, несущемся по рельсам, подобно многим поколениям предков лично преодолеть каждый километр, проехать в этом земном странствии каждый мост, виадук и туннель. Ничего не удастся обойти, перескочить. Колесо коснется каждого миллиметра пути, на мгновение обратив его в свою касательную, и всякий раз конфигурация будет неповторимой — сочетание колеса и рельса, времени и места, единственное во вселенной.

Едва этот поезд трусливых почти без предупреждения тронется в ночь, бар быстро заполнится. Туда потянутся мужчины в костюмах — опрокинуть пару рюмок, выпить кружку пива, чтобы крепче спалось; принаряженные геи, стреляющие глазами, точно кастаньетами; растерянные болельщики какого-то клуба, отколовшиеся от основной группы, что полетела самолетом, робкие, словно отбившиеся от стада овцы; подружки не первой молодости, которые, оставив дома занудных мужей, отправились на поиски приключений.

Вот уже не осталось свободных мест, пассажиры ведут себя как гости на многолюдной вечеринке, со временем симпатичные бармены начинают их знакомить: "Этот человек ездит с нами раз в неделю", "Тед, он всегда уверяет, что не станет ложиться, а сам заваливается спать первым", "Этот пассажир каждую неделю катается к жене — должно быть, очень любит", мадам "Никогда-больше-не-поеду-поездом".

Посреди ночи, когда поезд медленно вползает в бельгийские или мазурские равнины, когда ночной туман густеет и размывает все вокруг, в баре появляется вторая смена: пассажиры, измученные бессонницей, не стесняющиеся своих тапочек на босу ногу. Эти присоединяются к остальным так, словно отдаются фатуму — будь, что будет.

Однако я считаю, что их ждет только хорошее. Ведь они находятся в подвижной точке, перемещаются в черном пространстве, увлекаемые ночью. Никого не знать и никем не быть узнанным. Выйти из собственной жизни, а после вернуться — целым и невредимым.

Покинутая квартира

Квартира не понимает, что случилось. Квартира думает, что хозяин умер. После того как захлопнулась дверь и в замке за-

скрежетал ключ, все звуки доходят сюда приглушенными — смутные пятна без теней и контуров. Пространство, никем не востребованное, не тревожимое сквозняками, колыханием занавесок, густеет, и в этой неподвижности начинают робко кристаллизоваться пробные формы, на мгновение зависающие в прихожей между полом и потолком.

Конечно, ничего нового здесь не возникнет, да и откуда бы? Это лишь имитации уже известных форм, сплетенные в пузырчатые клубки, лишь на краткий миг сохраняющие контуры. Отдельные эпизоды, движения, не более того — например, беспрестанное возникновение и исчезновение (всегда в одном и том же месте) отпечатка ступни. Или рука, выводящая буквы в воздухе над столом — движение совершенно непонятное, ибо совершается без участия пера, бумаги, почерка и остального тела.

Психология путешествий

Lectio brevis[1]

В последние полтора года я встречала в аэропортах пары ученых, которые в дорожном гаме, между объявлениями отлетов и прилетов, читают небольшие лекции. Один человек объяснил мне, что это какой-то всемирный (а может, евросоюзный) информационный проект. Так что, увидев в зале ожидания экран и группу зевак, я остановилась.

— Уважаемые господа, — начала молодая женщина, немного нервно поправляя цветастую шаль, а ее коллега, мужчина в твидовом пиджаке с кожаными заплатками на локтях, вешал на стену экран. — Психология путешествий изучает человека странствующего, человека, находящегося в движении, а следовательно, противостоит традиционной психологии, которая всегда рассматривала человеческую личность в постоянном контексте, в состоянии устойчивости и покоя — например, через призму биологической структуры, семейных связей, социального положения и так далее. Для психологии путешествий эти проблемы имеют меньшее, второстепенное значение.

Если мы стремимся к правдоподобному описанию человека, то должны привести его в движение, направить из одной точки в другую. Сам факт наличия такого количества неубе-

1. Краткий отрывок (*лат.*).

дительных описаний стабильного, неизменного человека ставит, как нам представляется, под сомнение понятие безотносительного "я". Поэтому с некоторых пор в рамках психологии путешествий возникают идеи превосходства, согласно которым единственная психология, имеющая право на существование, — это психология путешествий.

Немногочисленные слушатели беспокойно зашевелились. Дело в том, что мимо проследовала шумная группа высоких парней, помеченных цветными шарфиками какого-то спортивного клуба, — болельщики. Одновременно к нам то и дело подходили люди, чье внимание привлекли экран на стене и два ряда стульев. Они присаживались на минутку по пути к выходу на посадку или во время ленивой прогулки по магазинам. На многих лицах читались усталость и потерянность во времени; они бы явно с удовольствием вздремнули и, видимо, не знали, что совсем рядом, за ближайшим углом есть удобный зал ожидания — кресла там с откидывающейся спинкой. Когда женщина заговорила, несколько пассажиров остановились. Какая-то юная пара, обнявшись и нежно поглаживая друг друга по спине, внимательно слушала.

Женщина сделала небольшую паузу и продолжила:

— Важным понятием психологии путешествий является желание: именно оно приводит личность в движение и определяет вектор, а также пробуждает тягу к чему-либо. Само по себе желание не наполнено, то есть указывает лишь направление, но не цель, ибо цель всегда остается эфемерной и туманной: чем она ближе, тем более загадочна. Достичь цели, удовлетворив тем самым желание, невозможно. Понятие, наглядно демонстрирующее этот процесс, — предлог "к". "Стремление к чему-то".

Тут женщина посмотрела на слушателей поверх очков, обвела их внимательным взглядом, словно ожидая подтверждения, что ее слова не пропали втуне. Это не понравилось семейству с двумя детьми в коляске: переглянувшись, родители покатили свой багаж дальше — рассматривать фальшивого Рембрандта.

— Психология путешествий не отрицает своей связи с психоанализом... — продолжала женщина, а мне сделалось жаль этих молодых лекторов. Они обращались к случайной аудитории, которую все это явно не слишком интересовало. Я отошла к автомату с кофе, бросила в стакан несколько кусочков сахару, для бодрости, а вернувшись, обнаружила, что слово взял мужчина.

— ...стержневым понятием, — говорил он, — является понятие констеллятивности, это же — первый тезис психоло-

гии путешествий: в жизни, в противоположность науке (хотя и в науке многое притягивается за уши) не существует никакого философского primum. То есть невозможно ни выстроить логичную причинно-следственную цепочку аргументов, ни создать повествование, в котором события четко следовали бы одно за другим и вытекали одно из другого. Это было бы аппроксимацией[1], подобно тому, как сетка меридианов и параллелей является приблизительной копией поверхности шара. Напротив: для возможно более точного отражения нашего опыта следует сложить целое из фрагментов, имеющих примерно одинаковое значение, концентрически распределенных по одной плоскости. Констелляция, а не последовательность является носителем истины. Поэтому психология путешествий описывает человека в схожих ситуациях, не стремясь изобразить его жизнь хоть сколько-нибудь непрерывной. Человеческая жизнь состоит из ситуаций. Тем не менее в поведении человека можно заметить определенную склонность к повторению поступков. Такого рода закономерности, однако, не дают нам права придавать жизни видимость какого-либо последовательного целого.

С некоторым беспокойством мужчина взглянул поверх очков на слушателей, вероятно, желая удостовериться, что они действительно слушают. Мы внимательно слушали.

В этот момент мимо пронеслась группа пассажиров с детьми; похоже, они опаздывали на пересадку. Это немного отвлекло нас — некоторое время мы рассматривали их раскрасневшиеся лица, тростниковые шляпы, сувенирные барабаны и маски, ожерелья из ракушек. Мужчина несколько раз кашлянул, призывая слушателей к порядку, набрал воздуха в легкие, но, взглянув на нас еще раз, выдохнул и промолчал. Перелистнул пару страниц в своих записях и наконец сказал:

— История. Теперь несколько слов об истории психологии путешествий. Эта дисциплина сложилась после войны (в пятидесятые годы прошлого века) как раздел авиапсихологии, порожденной развитием гражданской авиации. Сначала она занималась специфическими проблемами, связанными с пассажирским движением, — такими, как действия целевых групп в ситуации опасности, как психологическая динамика полета; позже ее интересы распространились на организацию аэропортов и отелей, освоение новых территорий, межкультурные аспекты путешествия. Со временем выделились

1. Аппроксимация, или приближение, — научный метод, состоящий в замене одних объектов другими, в том или ином смысле близкими к исходным, но более простыми.

отдельные специальности, такие, как психогеография, психотопология. Возникли также клинические дисциплины...

Я перестала слушать, лекция затянулась. Им следует выдавать эту информацию меньшими порциями.

Я заинтересовалась человеком, плохо одетым, помятым — видимо, его путешествие затянулось. Он нашел черный зонтик и внимательно его рассматривал. Оказалось, однако, что зонтик уже никуда не годится. Спицы были сломаны и черный купол никак не желал раскрываться. Тогда, к моему удивлению, мужчина начал аккуратно отцеплять ткань от спиц, что заняло некоторое время. Он делал это сосредоточенно, неподвижный в плывущей мимо толпе пассажиров. Закончив, сложил материю в квадратик, спрятал в карман и исчез в людском потоке.

Я отвернулась и тоже пошла по своим делам.

Удачное время и место

Многие верят, что есть в системе координат мира некая идеальная точка, в которой время и место достигают гармонии. Быть может, именно это заставляет людей покидать свои дома — они полагают, что даже хаотическое движение увеличивает вероятность найти такую точку. Попасть в нужный момент в нужное место, воспользоваться шансом, ухватить мгновение за хвост — и вот уже шифр замка взломан, выигрышная комбинация цифр найдена, истина открыта. Не упустить, скользить по волнам случая, стечения обстоятельств, предначертания судьбы. Делать ничего не нужно — только прибыть, оказаться в этом неповторимом сочетании времени и места. Там можно найти большую любовь, счастье, выигрыш в лотерею или разгадку тайны, над которой столетиями тщетно бьется человечество, а возможно, и собственную смерть. Бывает поутру вдруг покажется — момент этот уже близок: не исключено, что он настанет уже сегодня.

Полярные экспедиции

Мне вспоминается то, что вспоминал как-то Борхес — будто бы он где-то вычитал, что пасторы в период становления Датской империи объявляли в храмах: душа участника экспедиции на Северный полюс легче обретет спасение. А поскольку желающих было маловато, добавляли, что предприятие это долгое и трудное, не каждому по плечу, только

смельчакам. Но добровольцев все равно больше не находилось. Тогда, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре, священнослужители уточнили свой призыв: в сущности, полярной экспедицией можно считать любое путешествие, даже небольшую прогулку или поездку — к примеру, на городском извозчике.

А сегодня, вне всяких сомнений, — даже поездку на метро.

Подчистка карты

Я вымарываю со своих карт то, что причиняет мне боль. С них исчезают места, где я споткнулась, упала, где меня ударили, задели за живое, где у меня что-нибудь болело.

Таким манером я стерла несколько больших городов и одну провинцию. Возможно, однажды мне придется стереть целую страну. Карты воспринимают это с пониманием, они тоскуют по белым пятнам, по своему безмятежному детству.

Порой, если мне случалось вновь оказаться в этих исчезнувших местах (я стараюсь не быть злопамятной), я обращалась в глаз, передвигающийся в призрачном городе подобно привидению. Небольшое усилие — и я могла бы просунуть ладонь в самый мощный бетон, пройти по самой многолюдной улице, сквозь ряды машин — целой и невредимой, бесшумно.

Я не делаю этого, принимая правила игры местных жителей. Стараюсь не открывать им территории иллюзии, в которой бедолаги пребывают стертые. Буду улыбаться и поддакивать. Зачем морочить людям голову — уверять, что они не существуют.

Устремившись за ночью

Я плохо сплю, если остаюсь в чужом городе всего на одну ночь.

Мегаполис медленно остывал, затихал. Я застряла в отеле авиалиний — стоимость номера была включена в цену билета. Ждала утра.

На тумбочке лежала голубая пачка презервативов. У кровати — Библия и изречения Будды. К сожалению, вилка электрочайника не подходила к розетке — что ж, обойдусь без чая. Впрочем, может, сейчас пора пить кофе? Мое тело понятия не имело, что означает время на часах радиоприемника, стоявшего на тумбочке, хоть цифры и международные, пусть даже арабские. Желтое зарево за окном — занимающийся

рассвет или скорее сумерки, сгущающиеся в ночь? Трудно сообразить, что такое эта часть мира, над которой вот-вот появится или только что зашло солнце — восток или запад. Я сосредоточенно подсчитывала часы в самолете, помогая себе картинкой, которую однажды видела в Интернете: земной шар и линия ночи, движущаяся с востока на запад, словно огромный рот, постепенно заглатывающий мир.

Площадь перед отелем была пуста, вокруг закрытых лотков перелаивались бездомные псы. Должно быть, середина ночи, решила я наконец и, не выпив чаю и не приняв душ, улеглась в постель. Однако в моем личном времени, времени, которое я вожу в своем мобильнике, был ранний вечер. Поэтому не стоило наивно рассчитывать, будто мне удастся уснуть.

Завернуться в одеяло и включить телевизор — без звука, пускай себе шелестит, пульсирует, бормочет, жалуется. Выставить вперед пульт, словно дуло пистолета, и палить в центр экрана. Каждый выстрел убивает один канал, порождая другой. Но моя игра заключается в том, чтобы следовать за ночью, выбирать только те программы, которые транслируются оттуда, где сейчас царит мрак. Представлять себе земной шар и темный шрам на его плавной покатости, доказательство древнего преступления; шрам от дерзкого разделения сиамских близнецов — света и тьмы.

Ночь никогда не кончается, всегда властвует над какой-нибудь частью мира. За ней можно следить с помощью телевизионного пульта, можно искать станции, находящиеся в зоне тени, в темной впадине ладони, которая поддерживает землю, час за часом сдвигаясь на запад — страна за страной. И тогда обнаружится интересный феномен.

Первый выстрел в гладкое бездумное чело телевизора открыл канал 348 Holy God. Передо мной возникает сцена распятия, фильм шестидесятых годов. Брови у Богоматери аккуратно выщипаны, а у Марии Магдалины под блекло-голубым сермяжным платьем явно надет корсет — видно, что это неудачно раскрашенный черно-белый фильм. Большая грудь — коническая, неестественно высокая; осиная талия. Уродливые воины, смеясь, делили одежды Иисуса, потом пошли кадры со всевозможными природными катаклизмами — казалось, их вырезали из программ о природе и как есть монтировали в фильм. Вот тучи, стремительно сгущающиеся, молнии и небеса, устремленная к земле воронка, смерч, перст божий, принимающийся выписывать на поверхности

суши завитушки. А вот разъяренные волны бьются о берег, парусники (весьма убогие декорации), разбиваемые в щепки обезумевшими водами. Извержения вулканов, огненная эякуляция наверняка способна оплодотворить небо, но, увы, лава лишь бессильно стекает по склонам. Пламенный экстаз оборачиваеся обычной ночной поллюцией.

Хватит. Следующий выстрел. Канал 350 Blue Line TV: мастурбирующая женщина. Кончики пальцев прячутся между стройными бедрами. Женщина с кем-то беседует по-итальянски, говорит в микрофон: длинный язычок слизывает с ее уст каждое итальянское слово, каждое "si, si" и "prego"[1].

354 — Sexsatelita 1: на сей раз мастурбацией занимаются две скучающие девушки, их смена, видимо, подходит к концу, потому что они даже не скрывают усталости. Одна с помощью пульта настраивает снимающую их камеру, в этом смысле девушки абсолютно самодостаточны. Время от времени они, похоже, вспоминают, что от них требуется, и тогда на лицах появляется гримаса — глаза прикрыты, губы полуоткрыты, — но всего на мгновение. И опять они унылы, рассеянны. Никто им не звонит, несмотря на призывные арабские титры.

А вот откуда ни возьмись — кириллица: Книга Бытие кириллицей. Слова, возникшие внизу экрана, явно проникнуты пафосом. Иллюстрацией служат горы, море, облака, растения и животные.

По 358-му показывают избранные сцены с участием какой-то порнозвезды, молодца по имени Рокко. Я задержалась там на мгновение, заметив у него на лице каплю пота. Выполняя фрикционные движения над какими-то безвестными ягодицами, он уперся рукой в бок — казалось, парень старательно разучивает движения самбы или сальсы: и-раз, и-два.

На 288-м — Oman TV — читали Коран. Так я думаю. Красивый, совершенно непонятный узор арабских букв плавно бежал по экрану. Хотелось взять его в руку, потрогать, прежде чем задуматься о смысле. Расправить спутанные завитушки, разгладить эти письмена и превратить в безмятежную прямую.

Очередной выстрел — и моему взору предстал ораторствующий темнокожий священник, которому паства с энтузиазмом вторила: "Аллилуйя".

Ночь заставила стихнуть шумные и агрессивные информационные, метео- и киноканалы, отстранила дневную суету ми-

1. Да-да... пожалуйста (*итал.*).

ра и принесла облегчение, какое дает простейшая система координат: секс и религия. Тело и Бог. Физиология и теология.

Прокладки

На каждой упаковке купленных в аптеке прокладок была краткая забавная информация:

Слово "летологика"[1] означает неспособность подобрать нужное слово.

Ропография – живописный термин, обозначающий пристрастие художника к деталям и нюансам.

Рипарография – рисование скверны, безобразного.

Леонардо да Винчи изобрел ножницы.

В ванной, где я открыла новую упаковку с этими необычными словарными статьями, меня вдруг осенило: это же часть проекта гигантской открытой энциклопедии, призванной охватить всё и вся. Я вернулась в магазин и отыскала на полках изделия этой странной фирмы, что решила совместить необходимое с полезным. Какой смысл изображать на бумаге цветочки или клубнички – ведь она задумывалась как носитель идеи. Оберточная бумага – расточительство, ее следует запретить. Если уж упаковывать – то исключительно в романы и поэмы, да непременно так, чтобы налицо была связь между содержимым и упаковкой.

После тридцати человек начинает медленно скукоживаться.

От копыт лягающегося осла за год погибает людей больше, чем в авиакатастрофах.

Со дна колодца даже днем можно увидеть звезды.

Знаешь ли ты, что в день твоего рождения появилось на свет еще девять миллионов человек?

Самая короткая война в истории человечества произошла между Занзибаром и Англией в 1896 году. Она продолжалась всего тридцать восемь минут.

Будь угол наклона земной оси всего на один градус больше, Земля была бы необитаема, поскольку на территориях, прилегающих к экватору, оказалось бы слишком жарко, а вокруг полюсов – слишком холодно.

Вследствие вращения земного шара любой предмет, брошенный на запад, пролетит больше, чем тот, что брошен на восток.

1. Временная неспособность вспоминать имена собственные.

Тело среднестатистического человека содержит достаточно серы, чтобы убить собаку.

Арахибутирофобия — боязнь того, что арахисовое масло прилипнет к нёбу.

Однако больше всего меня поразило вот что:

Самая сильная мышца человеческого тела — язык.

Признак паломника

Один старый знакомый рассказал мне, что не любит путешествовать один. Когда он видит нечто необыкновенное, новое, красивое, ему так хочется с кем-нибудь поделиться, что, если никого не оказывается рядом, он чувствует себя несчастным.

Мне кажется, паломник из него не получится.

Мой дом — мой отель

Я еще раз внимательно разглядываю каждый предмет. Смотрю снова и снова, словно вижу впервые. Открываю для себя детали. Восхищаюсь хозяевами отеля, умелыми цветоводами — растения такие крупные и красивые, листья блестят, земля достаточно влажная, а эта тетрастигма — просто фантастика. Какая большая спальня — белье, правда, могли бы дать и получше: белое, полотняное, хорошо накрахмаленное. А то — застиранный жатый ситец, не требующий глажки. Но зато библиотека на первом этаже — довольно интересная и, в общем, как раз в моем вкусе: есть все, что понадобилось бы мне, реши я здесь поселиться. Может, я даже задержусь тут, именно из-за книг.

И, по странному стечению обстоятельств, в шкафу обнаруживается одежда моего размера, большей частью — любимых мною темных тонов. Все сидит на мне идеально, черная блуза с капюшоном такая мягкая и удобная. И — вот уж и впрямь чудо — на тумбочке у кровати я нахожу свои витамины и беруши любимой фирмы; это даже чересчур.

Еще мне нравится, что хозяев не видно, горничные не стучат по утрам в дверь, да и вообще никто здесь не мелькает. Никакой стойки портье. Даже кофе по утрам я варю себе сама, по своему вкусу. Эспрессо, со взбитым молоком.

Да, я подыскала вполне приличный отель по доступной цене, правда несколько на отшибе, вдали от шоссе, которое зимой засыпает снег, но, если есть машина, это не так уж важ-

но. Нужно свернуть с автострады в городе С. и проехать десятка полтора километров по грунтовке, потом за Г. свернуть на каштановую аллею, которая приведет к щебеночной дороге. Зимой приходится оставлять машину у последнего гидранта и дальше идти пешком.

Соотечественники

Тем временем женщина в аэропорту закончила первую часть лекции, и пассажиры принялись робко задавать вопросы, однако совсем не те, которые должны бы. Так мне, во всяком случае, казалось. Но сама я не решилась спросить. И отошла к ближайшему бару — выпить кофе. Там уже стояла группа людей, разговаривавших, как выяснилось, на моем родном языке. Я взглянула подозрительно — они были похожи на меня. Да, эти женщины могли бы быть моими сестрами. Поэтому я села подальше от них и заказала кофе.

Меня ничуть не радует встреча с соотечественниками на чужбине. Я делала вид, что не понимаю родного языка. Мне хотелось анонимности. Я рассматривала их со стороны и наслаждалась тем, что они не подозревают: их речь кому-то понятна. Понаблюдала краем глаза и ушла.

В этом задумчиво признался мне и усталый британец, который, меряя входящих взглядом, пил уже не первую кружку пива. Мы немного поболтали, но говорить, в общем-то, было не о чем.

— Меня ничуть не радует встреча с соотечественниками на чужбине.

Я допила кофе и вернулась к лекторам, притворившись, будто очень тороплюсь. На самом деле это было не так. Я успела услышать конец дискуссии — женщина что-то горячо объясняла троице обступивших ее слушателей, наиболее терпеливых.

Самая сильная мышца человека – язык

В некоторых странах люди говорят по-английски. Но не так, как мы, прячущие родной язык в ручную кладь, в косметичку, и английский использующие только в путешествии, в чужих странах и с посторонними. Это трудно себе представить, но английский — действительно их язык! Зачастую единственный. Им не к чему вернуться или обратиться в минуты сомнений.

Какими же потерянными они, должно быть, чувствуют себя в мире, где любая инструкция, текст самой дурацкой песенки, меню в ресторане, деловая корреспонденция, кнопки в лифте — все существует на их приватном языке. Кто угодно может в любую минуту понять их слова, а записки, вероятно, приходится специально шифровать. Где бы они ни оказались, все имеют к ним неограниченный доступ — все и вся.

Я слыхала, что уже есть предложения взять их под защиту, быть может, даже выделить им какой-нибудь маленький язык, из тех, вымерших, невостребованных, — пусть у них будет что-нибудь личное, свое собственное.

Иркутск–Москва

Самолет Иркутск–Москва. Вылетает из Иркутска в восемь утра, прилетает в Москву тогда же — в восемь утра того же дня. Это момент, когда восходит солнце, так что летишь все время на рассвете. Зависаешь в одном мгновении, в огромном, спокойном, пространном, точно Сибирь, СЕЙЧАС.

Это, наверное, время для исповеди всей жизни. Время плывет внутри самолета, но не вытекает наружу.

Мобильность – это реальность

Огромный плакат на стеклянной стене аэропорта утверждает со стопроцентной уверенностью:

МОБИЛЬНОСТЬ СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ[1].

Спорим — это всего лишь реклама сотовых телефонов.

Бегуны

Ночью над миром восходит ад. Перво-наперво он искажает пространство; все делает плотнее, массивнее, неподвижнее. Исчезают детали, предметы теряют привычный облик, становятся приземисты и расплывчаты; странно, что днем их можно назвать "красивыми" или "полезными"; теперь они напоминают нескладные глыбы, назначение которых трудно угадать. Но в аду все условно. Все это дневное разнообразие форм. Цвета и оттенки обнаруживают свою бесполезность —

1. В оригинале по-русски.

к чему они? Зачем кремовая обивка кресла, листики на обоях, бахрома на шторах? Какой смысл в зеленом цвете платья, висящего на спинке стула; теперь уже трудно объяснить жадный взгляд, рассматривавший его в витрине магазина. Нет больше пуговиц, крючков и петель, кнопок; пальцы в темноте нащупывают лишь шершавость, выпуклости, шероховатости жесткой материи.

Затем ад безжалостно прерывает сон. Порой подсовывает какие-то тревожные картины, жуткие или гротескные, например, отрезанную голову, любимое тело, залитое кровью, человеческие кости, покрытые пеплом; да, он, пожалуй, склонен к эпатажу. Но чаще всего будит без всяких церемоний — глаза открываются в темноту, и наружу устремляется поток мыслей во главе со взглядом, целящимся в черное ничто. Ночной мозг — Пенелопа, распускающая по ночам старательно сотканный днем ковер смыслов. Порой вытягивается одна нитка, иногда больше; сложный узор распадается на составные части — уток и основу; уток отпадает, остаются прямые параллельные линии, штрихкод мира.

Тогда становится очевидно: ночь возвращает миру его естественный первоначальный вид, и никакая это не фантазия; день — причуда, свет — не более чем мелкое исключение, недосмотр, отступление от заведенного порядка. На самом деле мир темен, почти черен. Неподвижен и холоден.

Выпрямившись, она садится на постели, в ложбинке между грудями щекочет капля пота, ночная рубашка липнет к телу, словно готовая к линьке кожа, которую вот-вот предстоит сбросить. Аннушка прислушивается в темноте — из Петиной комнаты доносится тихое хныканье. Мгновение она нащупывает ногами тапочки, потом сдается. Босиком бежит к сыну. Краем глаза видит в сумраке силуэт, слышит вздох.

— Что? — не просыпаясь спрашивает мужчина и отрешенно падает обратно на подушку.

— Ничего. Петя.

Аннушка зажигает маленькую лампочку в комнате ребенка и сразу видит его глаза. Они совсем не сонные, глядят на нее из темных впадин, тщательно прорисованных на лице светотенями. Аннушка касается Петиного лба — машинально, привычно. Он не горячий — в испарине, холодный. Она осторожно усаживает сына и массирует ему спину. Голова мальчика лежит у нее на плече, Аннушка чувствует запах Петиного пота, распознает в нем боль, она уже знает — когда Пете больно, запах меняется.

— Дотерпишь до утра? — спрашивает она шепотом, ласково, и тут же понимает, что вопрос глупый. Почему он должен терпеть? Зачем? Аннушка берет с тумбочки таблетки, выдавливает из пластинки одну и кладет мальчику в рот. Теперь стакан с теплой водой. Мальчик пьет, давится, и немного погодя она снова дает ему попить, теперь уже осторожнее. Сейчас таблетка начнет действовать, Аннушка укладывает беспомощное тело на правый бок, подтягивает Петины колени к животу — ей кажется, что так сыну будет удобнее. Ложится рядом, с краешку, и прижимается головой к его худенькой спине. Аннушка слышит, как воздух превращается в дыхание, как он входит в легкие и уходит в ночь. Дожидается, пока этот процесс станет ритмичным, свободным, рефлекторным, а потом осторожно встает и на цыпочках возвращается в постель. Она бы предпочла спать в Петиной комнате, как делала до возвращения мужа. Аннушке было спокойнее, когда, засыпая и просыпаясь, она видела ребенка. Не раскладывать каждый вечер двуспальный супружеский диван, пускай себе стоит, заброшенный. Но муж есть муж.

Он вернулся четыре месяца назад, спустя два года. Вернулся в гражданской одежде, той же, в которой ушел — уже немодной, хотя явно не ношенной. Аннушка обнюхала вещи — они ничем не пахли, разве что немного сыростью, запахом неподвижности, склада, запертого на четыре замка.

Он вернулся другим человеком — это Аннушка заметила сразу — и таким уже остался. В первую ночь она исследовала его тело — оно тоже изменилось: стало тверже, больше, мускулистее, но и — парадоксальным образом — слабее.

Аннушка нащупала шрамы — на руке и под волосами, заметно поредевшими и поседевшими. Кисти стали массивнее, пальцы толще, словно он занимался физическим трудом. Аннушка положила их на свою обнаженную грудь, но они остались нерешительными. Попыталась возбудить мужа рукой, но он лежал так тихо, дышал так спокойно, что Аннушке стало неловко.

Ночью муж просыпался с каким-то жутким гортанным криком, садился в темноте, потом вставал и подходил к мебельной стенке, где был бар, наливал себе водки. Потом Аннушка чувствовала его фруктовое, яблочное дыхание. Тогда он просил ее: "Трогай меня, трогай".

— Расскажи, как там было, тебе станет легче, расскажи, — шептала Аннушка ему на ухо, соблазняла горячим дыханием.

Но он молчал.

Пока Аннушка занималась Петей, он расхаживал по квартире в полосатой пижаме, пил кофе, жутко крепкий, рассматривая в окно микрорайон. Потом заглядывал в комнату к мальчику, иногда присаживался перед ним на корточки и пытался пообщаться. После включал телевизор и задергивал желтые занавески, так что дневной свет делался больным, вязким, горячечным. Одевался он лишь ближе к полудню, когда к Пете должна была прийти медсестра, да и то не всегда. Порой просто закрывал дверь, и звук телевизора рассеивался, превращаясь в раздражающий шум, тщетный вызов миру.

Деньги приходили регулярно, каждый месяц. Даже вполне приличные — хватало на лекарства для Пети, новую коляску, пользовались которой нечасто, медсестру.

Сегодня мальчиком заниматься не надо, сегодня у Аннушки выходной. Сейчас появится свекровь, и трудно сказать, кого она навещает в первую очередь — сына или внука, о ком заботится нежнее. Поставит у порога клетчатую пластиковую сумку, вынет из нее нейлоновый халат и домашние тапочки. Заглянет к сыну, о чем-то спросит, тот ответит, не отводя глаз от телевизора: да или нет. И все, больше ничего не дождешься, так что она пойдет к внуку. Мальчика нужно умыть и накормить, сменить мокрую от пота и описанную постель, дать лекарства. Потом загрузить стиральную машину и приниматься за готовку. Затем поиграть с ребенком, а если погода хорошая, мальчика можно вынести на балкон, хотя вид оттуда небогатый — многоэтажки, похожие на огромные серые коралловые рифы высохшего моря, населенные подвижными организмами, опирающиеся на туманный горизонт большого города, гигантской Москвы. Но взгляд мальчика всегда устремляется к небу, зависает на подбрюшье облаков и некоторое время плывет вместе с ними до границ поля зрения.

Аннушка благодарна свекрови за этот один раз в неделю. Уходя, она целует ее в мягкую бархатистую щеку, мимоходом. Они и видятся только в такие минуты, на пороге; сейчас Аннушка сбежит по лестнице, с каждой ступенькой делаясь все более невесомой. Впереди целый день. Но Аннушка вовсе не собирается посвятить его себе, она займется делами. Оплатит счета, купит продукты, возьмет рецепты для Пети, сходит на кладбище, а потом поедет на противоположный конец этого огромного бесчеловечного города, чтобы посидеть в темноте и поплакать. Путь неблизкий — повсюду пробки, и, зажатая со всех сторон, Аннушка глядит в окно переполненного автобуса на большие автомобили с затемненными стеклами, которые без всякого усилия, каким-то дьявольским об-

разом продвигаются вперед, хотя все вокруг стоит. Она смотрит на скверы, заполненные молодежью, на импровизированные базарчики, где торгуют дешевыми китайскими шмотками.

Аннушка всегда делает пересадку на Киевском вокзале и там, вынырнув из-под земли, пробирается через толчею. Однако никто не привлекает ее внимания. Лишь одна странная фигура наводит на нее ужас — та, что стоит у выхода, на фоне строительных заборов, окружающих котлован, заборов, плотно обклеенных рекламами — кажется, будто они кричат в голос.

Эта женщина все время топчется на полоске ничейной земли, между стеной и недавно положенными плитками тротуара, мимо течет бесконечный людской поток, а она принимает парад усталых торопливых прохожих, большинство из которых еще только на полпути с работы или на работу; сейчас они сделают пересадку, сменят метро на автобус.

Одета женщина иначе, чем другие люди, на ней куча вещей: брюки, несколько юбок, одна на другой — из-под пятницы суббота; и точно такой же верх — множество рубашек, кофт, безрукавок. А поверх всего серый ватник, писк изысканной простоты, эхо далекого восточного монастыря или трудовой колонии. Вместе получается даже стильно, Аннушке нравится, ей кажется, что цвета тщательно подобраны, но, возможно, это не человеческий выбор, а haute couture энтропии — блекнущих цветов, обтерханности и старения.

Однако диковиннее всего выглядит голова — она плотно замотана куском ткани, придавленным шапкой-ушанкой; лицо закрыто, виден только рот, без устали изрыгающий проклятия. Эта картина так поражает Аннушку, что она ни разу не попыталась понять, есть ли в этих речах что-нибудь, кроме проклятий. И теперь тоже проходит мимо, ускорив шаг, — боится обратить на себя внимание, ведь тогда поток яростных слов обрушится прямо на нее.

Погожий декабрьский день, тротуары сухие, чистые, а сапоги удобные. Вместо того чтобы сесть в автобус, Аннушка переходит мост и теперь шагает вдоль широкой мостовой, ей кажется, будто это набережная большой реки, через которую забыли перекинуть мост. Аннушка радуется прогулке, плакать она начнет только в своей церкви, в темном углу, где всегда опускается на колени и стоит в этой неудобной позе, пока не затекут ноги, пока, пройдя через оцепенение, мурашки и боль, она не достигнет следующей ступени — великого ничто. Но сейчас она перекидывает сумку через плечо и крепко

держит пластиковый пакет, из которого торчат цветы на могилу, тоже пластиковые. Аннушка старается ни о чем не думать, в особенности — о том месте, откуда она ушла утром. Вот уже элитный район, здесь есть на что посмотреть — масса магазинов, где стройные гладкие манекены равнодушно демонстрируют баснословно дорогую одежду. Аннушка останавливается, разглядывая дамскую сумочку, расшитую миллионом бусинок, украшенную тюлем и кружевом — просто прелесть. В конце концов она добирается до специализированной аптеки — там стоит очередь. Зато она получит нужные лекарства. Бесполезные, лишь смягчающие симптомы болезни.

На лотке Аннушка покупает пакет пончиков и съедает их, присев в сквере на скамейку.

В этой небольшой церкви много людей, туристов. Молодой священник, который обычно расхаживает по храму, словно хозяин лавки, на сей раз занят — рассказывает туристам об истории церкви и иконостасе. Он певуче декламирует заученный текст, голова, венчающая высокое стройное тело, возвышается над толпой. Красивая светлая борода напоминает соскользнувший с головы на грудь чудесный ореол. Аннушка пятится и выходит — не станет же она молиться и плакать среди туристов. Она все ждет и ждет, но входит следующая группа, и тогда Аннушка решает поискать для своих слез другое место — неподалеку есть еще одна церковь, маленькая и старая, почти всегда запертая. Однажды Аннушка туда зашла, но ей не понравилось — холодно и пахнет отсыревшей древесиной.

Однако на этот раз Аннушка не привередничает, надо где-нибудь наконец поплакать — чтобы было тихо, но не безлюдно; ей необходимо ощущать присутствие чего-то большего, чем она, широко распахнутых объятий, пульсирующих жизнью. Еще Аннушке нужно чувствовать на себе чей-то взгляд, чтобы кто-нибудь видел, как она плачет, чтобы слова не падали в пустоту. Пускай это будут нарисованные на дереве глаза, не дремлющие, не знающие усталости, неизменно спокойные, пусть они наблюдают за ней не моргая.

Аннушка берет три свечки и бросает монеты в банку. Одна свеча — за Петю, другая — за молчаливого мужа, третья — за свекровь в нейлоновом халате. Аннушка зажигает их от других горящих свечей — их немного — и глазами выбирает себе место справа, в темной нише, чтобы не мешать молящимся старухам. Трижды размашисто крестится, с этого жеста начинается ритуал плача.

Но когда она поднимает глаза для молитвы, из мрака проступает иное лицо — огромный лик мрачной иконы. Квадратная доска, высоко, почти под самым куполом, а на ней — бесхитростный образ Христа, написанный оттенками коричневого и серого. Темное лицо на темном фоне, ни нимба, ни венца; горят только очи, устремленные на нее, как она и хотела. Но не о таком взгляде мечтала Аннушка, она ждала ласковых глаз, исполненных любви; эти же сковывают ее, гипнотизируют. Под этим взором тело Аннушки съеживается. Он проник сюда на мгновение, стекает по сводам издалека, из глубочайшей тьмы — обители Бога, его убежища. Этот Бог не нуждается ни в каком теле, он имеет только лицо, с которым Аннушка оказалась теперь один на один. Этот взгляд пронзителен, он острым шурупом ввинчивается в ее голову, продырявливая мозг. Это лицо не спасителя, а утопленника, который, однако, не умер — скрылся от вездесущей смерти под водой, а теперь, вынесенный неведомыми течениями на поверхность, к сознанию, сверхсознанию, говорит: смотри, вот я. Но Аннушка не хочет смотреть на него, опускает глаза; она не хочет видеть, что Бог слаб и повержен, изгнан и прячется среди отбросов, в вонючих омутах мира. Нечего плакать, тут не место для слез. Этот Бог не поможет, не поддержит, не ободрит, не очистит, не спасет. Взгляд утопленника упирается в ее макушку, она слышит гул, далекий подземный грохот, вибрацию под полом церкви.

Аннушка сегодня почти не спала, почти ничего не ела, отсюда дурнота. Слез нет, от них остались высохшие русла.

Она вскакивает и выходит. Идет как заведенная, прямо к метро.

Аннушке кажется, будто она что-то пережила, будто что-то пронизало ее, натянуло изнутри, словно струну, чтобы звук был чист, ни для кого не различим. Этот тихий звук адресован ее телу — краткое соло в хрупкой концертной раковине. Но Аннушка по-прежнему прислушивается, все ее внимание направлено внутрь, в глубину, но в ушах только пульсирует собственная кровь.

Эскалатор едет вниз, ей кажется, что это продолжается бесконечно долго: одни — вниз, другие — наверх. Обычно взгляд лишь бегло скользит по лицам, но теперь, пораженные ликом на иконе, глаза беспомощны — цепляются за каждого человека, и каждое лицо — словно пощечина, крепкая, от души. Вот уже нет сил выносить эту картину, Аннушка готова заслонить глаза, как та сумасшедшая у вокзала, и тоже начать выкрикивать проклятия.

— Помилуй, помилуй, — шепчет Аннушка и цепляется за поручень, обгоняющий ступеньки эскалатора, — надо поскорее отпустить, а то она упадет.

Она видит молчаливую толпу людей, которые едут вверх и вниз, плечом к плечу, в толчее. Движутся, словно по канату, каждый к своей точке — где-то на далекой окраине, на каком-нибудь одиннадцатом этаже, где можно натянуть на голову одеяло и погрузиться в сон, слагающийся из обрывков дня и ночи. В сущности, утром этот сон не кончается, обрывки образуют коллажи, пятна; иногда получаются занятные конфигурации — можно сказать, продуманные.

Аннушка видит хрупкость плеч, нежность век, зыбкую линию губ, чуть искаженную гримасой, видит, как слабы руки, как слабы ноги — они не способны донести до цели. Видит сердца — как мерно они бьются, одни быстрее, другие медленнее, обычное механическое движение, мешочки легких напоминают грязные пластиковые пакеты, Аннушка слышит шорох дыхания. Одежда сделалась прозрачной, так что она видит печать энтропии. Бедные, уродливые наши тела, материя, которая — вся без исключения пойдет в утиль.

Эскалатор везет всех этих существ прямо в бездну, в пропасть, вот глаза церберов в стеклянных будках в конце лестницы, вот обманчивый мрамор и колонны, мощные статуи демонов — одни с серпами, другие со снопами. Мощные ноги, плечи гигантов. Тракторы — адские машины — волокут острые, зубастые орудия пыток, которыми наносят земле незаживающие раны. Везде стиснутые в толпе люди, панически, умоляюще воздетые руки, уста, открывшиеся в преддверии крика. Здесь совершается Страшный суд. В подземелье метро, освещенном хрустальными люстрами с их мертвенным желтым светом. Судей, правда, не видно, но повсюду ощущается их присутствие. Аннушке хочется вернуться, бежать наверх, против течения, но лестница не пускает, приходится ехать вниз, ничего не поделаешь. С шипением откроются перед ней пасти подземных поездов, засосут внутрь мрачные туннели. Но ведь бездна повсюду, даже на верхних этажах города, даже на одиннадцатом и семнадцатом, на верхушках шпилей, на кончиках антенн. Никуда от нее не скрыться, разве не об этом кричала, перемежая слова проклятиями, та сумасшедшая?

Аннушку шатает, она прислоняется плечом к стене. На ворсистом пальто остаются белые следы штукатурки, помазание стены.

Теперь надо пересесть на автобус; уже темно, Аннушка выходит наугад: из окна автобуса ничего не видно, мороз ус-

пел разрисовать его серебристыми веточками, — но она знает маршрут на память и не ошибается. Еще несколько дворов — Аннушка срезает путь, — до дома рукой подать. Но она замедляет ход, ноги не желают нести ее к цели, сопротивляются, шаги все укорачиваются. Аннушка останавливается. Задирает голову и видит, что в окнах их квартиры горит свет. Ее наверняка ждут — так что Аннушка трогается с места, но через минуту опять останавливается. Холодный ветер проникает сквозь ткань пальто, развевает полы, ледяными пальцами хватает за бедра. Его ласки — точно бритва, битое стекло. От холода по щекам текут слезы, ветру это на руку — есть повод пощипать ее лицо. Аннушка бросается вперед, к подъезду, но перед самой дверью разворачивается и, подняв воротник, торопливо идет обратно.

Относительно тепло только в большом зале ожидания на Киевском вокзале и в туалетах. Аннушка останавливается в нерешительности, когда мимо проходят дежурные милиционеры (они всегда шагают неторопливо, небрежно, чуть подволакивая ноги, словно прогуливаются по приморскому бульвару), притворяется, будто читает расписание; Аннушка сама не знает, чего боится, ведь ничего плохого она не сделала. Впрочем, милиционерам есть чем заняться — они безошибочно выуживают из толпы смуглых мужчин в кожаных куртках и их женщин в платках.

Аннушка выходит из здания вокзала и издалека видит, что закутанная по-прежнему топчется на своем месте, голос охрип от проклятий, собственно, и самих проклятий уже не разобрать. Хорошо — поколебавшись, Аннушка спокойно останавливается перед ней. Женщина замирает лишь на мгновение, похоже, она хорошо видит Аннушку сквозь тряпку, закрывающую лицо. Аннушка делает еще шаг вперед и оказывается так близко, что чувствует исходящий от женщины запах — пыли и затхлости, прогорклого масла. Та говорит все тише, наконец выходит из транса и умолкает. Теперь она не топчется, а раскачивается, словно не может остановиться. Женщины стоят друг перед другом неподвижно, мимо идут люди, но не обращают внимания, только один человек бросает взгляд в их сторону; все спешат, боятся опоздать на электричку.

— Что ты говоришь? — спрашивает Аннушка.

Закутанная цепенеет, от изумления перестает дышать, потом испуганно шарахается в сторону, к проходу вдоль забора. Аннушка идет следом, по деревянному настилу, под которым мерзлая грязь, — отстав на несколько шагов, не спуская глаз с

ватника, мелко семенящих валенок. Она ее так не отпустит. Женщина оглядывается через плечо и пытается ускорить шаг, она почти бежит, но Аннушка молодая и сильная. И тренированная — столько раз она стаскивала вниз и коляску, и Петю, столько раз вносила наверх, если не работал лифт.

— Эй, ты! — окликает Аннушка время от времени, но женщина не реагирует.

Они проходят через дворы, помойки и вытоптанные скверы. Усталости Аннушка не чувствует — обидно только, что потеряла сумку с цветами на могилу, но возвращаться не хочется, жалко времени.

Наконец женщина садится на корточки и пытается отдышаться. Аннушка останавливается в нескольких метрах от нее и ждет, пока та встанет и обернется. Ведь закутанная проиграла, ничего не поделаешь. В самом деле, она оглядывается через плечо, Аннушка видит ее лицо — женщина стянула вниз повязку. Глаза светло-голубые, испуганные; смотрят на Аннушкины сапоги.

— Чего ты от меня хочешь? Зачем за мной гонишься?

Аннушка не отвечает, у нее такое ощущение, будто она поймала крупного зверя, жирную рыбу, кита, и теперь не знает, что делать со своим трофеем — бросить-то жаль. Женщина боится, видимо, от страха она растеряла все слова:

— Ты из милиции?

— Нет, — говорит Аннушка.

— Ну так что?

— Я хочу знать, что́ ты говоришь. Ты ведь все время что-то говоришь, я вижу тебя каждую неделю, когда еду в центр.

Теперь закутанная отвечает уже смелее:

— Ничего я не говорю. Отстань от меня.

Аннушка наклоняется и протягивает руку — помочь ей встать, но рука передумывает и гладит женщину по щеке. Щека теплая, мягкая, приятная на ощупь.

— Я не хотела ничего плохого.

Та сперва замирает, удивленная прикосновением, однако этот жест, видимо, заставляет ее сменить гнев на милость; женщина с трудом встает.

— Есть хочу, — говорит она. — Пойдем, тут недалеко есть киоск с дешевыми хот-догами, купишь мне чего-нибудь.

Они идут молча, плечо к плечу. В киоске Аннушка покупает две длинные булки с сыром и помидорами, поглядывая, чтобы закутанная не сбежала. Самой кусок в горло не идет. Она держит бутерброд перед собой, словно флейту, на которой сейчас заиграет зимнюю мелодию. Женщины садятся на приступочку. Закутанная съедает свою порцию, потом

молча забирает у Аннушки вторую. Она старая, старше свекрови. Щеки все в морщинках, бегущих наискосок, от лба к подбородку. Откусывает с трудом — нечем. Куски помидора выскальзывают, она еле успевает их подхватить, в последний момент, неуклюже, и тщательно засовывает обратно, между двух половинок булки. Одними губами отрывает крупные куски.

— Я не могу вернуться домой, — говорит вдруг Аннушка и опускает глаза. Она немного ошарашена собственными словами и только теперь с ужасом задумывается о том, что сказала. В ответ закутанная сперва что-то невнятно бормочет, затем, проглотив кусок, спрашивает:

— У тебя есть адрес?

— Есть, — отвечает Аннушка и говорит: — Кузнецкая, сорок шесть — семьдесят восемь.

— Ну так забудь его, — бросает женщина, не переставая жевать.

Воркута. Она родилась здесь в конце шестидесятых — блочные дома, которые теперь выглядят столетними, тогда только строились. Аннушка помнит их совсем новыми — шершавая штукатурка, запах бетона и асбеста, использовавшегося для теплоизоляции. Многообещающая гладкость плит ПВХ. Однако в холодном климате все старится быстрее, мороз разрушает плотную структуру стен, замедляет вечный круговорот электронов.

Аннушка помнит ослепительную белизну зим. Белизну и острые края затравленного света. Такая белизна служит лишь контрастом для тьмы, которой неизмеримо больше.

Отец работал истопником на крупной теплостанции, мать — в столовой, откуда всегда что-нибудь приносила, так что семья не бедствовала. Теперь Аннушке приходит в голову, что всех там точила какая-то странная болезнь — огромная, скрытая глубоко внутри тела, под одеждой, печаль, а возможно, нечто большее, чем печаль, просто Аннушка не может подобрать точное слово.

Они жили на восьмом этаже девятиэтажной башни, одной из многих, но со временем, когда Аннушка подросла, квартиры на верхних этажах стали освобождаться: люди уезжали в более благосклонные к человеку места — обычно в Москву, да куда угодно, лишь бы подальше. Оставшиеся спускались ниже, занимали пустые квартиры — потеплее, поближе к людям, к земле. Жить на девятом этаже во время долгой полярной зимы — все равно что зависнуть под бетонным сводом мира в замерзшей капле воды, в самой сердцевине студе-

ного ада. Когда Аннушка в последний раз навещала сестру и мать, они обитали на первом этаже. Отец давно умер.

К счастью, Аннушка сумела поступить в хороший московский пединститут; который, к несчастью, бросила. Закончи она учебу, работала бы учительницей и, возможно, никогда бы не познакомилась с мужчиной, ставшим ее мужем. Их гены не соединились бы в гремучую смесь, из-за которой Петя появился на свет с неизлечимой болезнью.

Много раз Аннушка пыталась сторговаться с кем-нибудь — с Богом, Богоматерью, святой Параскевой-мученицей, со всем иконостасом, даже с целым миром — что бы это ни значило, — с судьбой. Я пойду вместо Пети, возьму на себя его болезнь, умру, пусть только он выздоровеет. Мало того — Аннушка бросала на чашу весов и чужие жизни: молчаливого мужа (пусть его там застрелят) и свекровь (пускай ее разобьет паралич). Но, конечно, никакого ответа на свои предложения она не получила.

Аннушка покупает билет и спускается вниз. Вагоны по-прежнему переполнены, люди возвращаются из центра в спальные районы. Некоторые засыпают прямо в метро. Их сонное дыхание оседает на стеклах облачками тумана, на них можно рисовать пальцем — неважно что, все равно картинка мгновенно исчезает. Аннушка добирается до конечной станции — "Юго-Западная", — выходит и останавливается на перроне, но сразу понимает, что поезд сейчас поедет обратно, тот же самый. Тогда она садится на свое место и теперь катается туда-обратно, потом, сделав несколько рейсов, переходит на Кольцевую. Теперь она ездит по кругу, а ближе к полуночи возвращается на "Киевскую", словно домой. Там она сидит на перроне, пока какая-то грозная блюстительница порядка не выгоняет ее, потому что метро закрывается. Выходит Аннушка неохотно — на улице сильный мороз, но потом обнаруживает возле вокзала маленькую забегаловку — под самым потолком подвешен телевизор, за столиками несколько бесприютных пассажиров. Она заказывает стакан чаю с лимоном, потом еще один; потом борщ, невкусный, жидкий, и, подперев голову рукой, погружается в короткую дрему. Она счастлива, потому что в голове ни одной мысли, никаких тревог, никаких ожиданий или надежд. Блаженное состояние.

Первый поезд еще пуст. С каждой станцией народу становится все больше, наконец делается так тесно, что Аннушка стоит, стиснутая спинами каких-то гигантов. Поскольку она не

достает до поручня, приходится позволить этим безымянным телам себя поддерживать. Потом толпа вдруг редеет, на следующей остановке вагон пустеет. Остается несколько человек. И Аннушка обнаруживает, что на конечных станциях выходят не все. Сама она пересаживается с поезда на поезд. Но в окно видит, что некоторые люди устраиваются в торце вагона и ставят под ноги свои пакеты или рюкзаки, обычно старые, брезентовые. Они дремлют, прикрыв глаза, или разворачивают какую-то еду и, несколько раз перекрестившись и что-то бормоча себе под нос, благоговейно жуют.

Аннушка меняет поезда, потому что боится: вдруг ее заметят, поймают за руку, начнут трясти и — самое ужасное — куда-нибудь упекут. Иногда она просто переходит на другую сторону платформы, иногда делает пересадку и тогда ездит вверх-вниз на эскалаторах, путешествует по туннелям, никогда не читая никаких надписей, совершенно свободная. Например, доезжает до "Чистых прудов", пересаживается с Сокольнической линии на Калужско-Рижскую и едет до "Медведкова" и обратно, на противоположный конец города. В туалетах Аннушка приводит себя в порядок, она хочет выглядеть аккуратно, но не потому, что испытывает в этом потребность (по правде говоря — не испытывает), а чтобы ее неопрятность не привлекла внимания одной из тех церберш, что бдят из своих стеклянных будок при эскалаторах. Аннушка подозревает, что они умеют спать с открытыми глазами. В киоске Аннушка покупает прокладки, мыло, самую дешевую зубную пасту и щетку. Всю вторую половину дня спит, катаясь по кольцевой линии. Вечером поднимается наверх — проверить, не стоит ли у вокзала закутанная, но нет, не стоит. Холодно, со вчерашнего дня еще похолодало, так что Аннушка с облегчением возвращается под землю.

На следующий день закутанная оказывается на своем месте, раскачивается на негнущихся ногах и выкрикивает невнятные проклятия. Аннушка встает так, чтобы та ее увидела, на другой стороне перехода, но причитающая женщина, похоже, ничего не замечает. Наконец Аннушка, воспользовавшись тем, что толпа на мгновение редеет, останавливается прямо перед ней.

— Пойдем, я тебе булку куплю.

Та замирает, вырванная из своего транса, потирает руки в перчатках, притоптывает, словно промерзшая до костей базарная торговка. Они вместе идут к киоску. Аннушка искренне радуется встрече.

— Как тебя зовут? — спрашивает она.

Женщина, занятая булкой, только пожимает плечами. Но потом отвечает с набитым ртом:

– Галина.

– А я – Аннушка.

Вот и весь разговор. Наконец, когда мороз снова пригоняет их к вокзалу, Аннушка задает еще один вопрос:

– Галина, а где ты ночуешь?

Закутанная велит ей после закрытия метро подойти к киоску.

Весь вечер Аннушка ездит по одной линии и равнодушно рассматривает собственное лицо, отражающееся в окне на фоне темных стен подземных туннелей. Она уже узнаёт по крайней мере двоих человек. Заговорить с ними не решается. С одним она проехала несколько остановок – высокий худой мужчина, не старый, может, даже молодой, трудно сказать. Лицо закрыто редкой светлой бородой, доходящей до груди. Кепка – обычная потертая "ленинка"; длинное серое пальто с оттопыренными карманами и выцветший рюкзак. Из высоких шнурованных ботинок торчат вязаные носки, плотно обхватывающие штанины коричневых брюк. Он, похоже, ни на что не обращает внимания, погружен в свои мысли. Энергично выскакивает на платформу, словно устремлен к какой-то далекой, но конкретной цели. Еще Аннушка дважды видела его с перрона; один раз он спал в совершенно пустом поезде, который, кажется, уже ехал на ночь в депо; в другой – тоже дремал, прислонясь лбом к стеклу; его дыхание наколдовало туман, наполовину скрывший лицо.

Второй человек, которого Аннушка запомнила, – старик. Он ходит с трудом – с палкой или скорее посохом, толстой клюкой с загнутой ручкой. Входя в вагон, пытается за что-нибудь схватиться; обычно кто-нибудь ему помогает. Люди неохотно, но все же уступают ему место. Он похож на нищего. Старика Аннушка пытается поймать, как поймала закутанную. Но единственное, что ей удается – это проехаться с ним в одном вагоне, простоять рядом около получаса, досконально изучив его лицо, одежду. Но заговорить Аннушка не смеет. Мужчина сидит, опустив голову, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Потом толпа возвращающихся с работы людей увлекает Аннушку за собой. Она плывет в теплом потоке запахов и прикосновений. Освобождается только за турникетом, словно подземелье выплюнуло ее, как инородное тело. Теперь, чтобы вернуться обратно, надо купить билет, а ведь денег уже совсем мало.

Почему эти двое ей запомнились? Вероятно потому, что они обладают некоторой устойчивостью, отчего словно и

двигаются иначе, медленнее. Все остальные — река, поток, вода: текучая, образующая буруны и волны, но то формы изменчивые, мимолетные, и река о них забывает. А эти люди движутся против течения, потому и видны так отчетливо. Законы реки на них не распространяются. Думаю, именно это привлекло Аннушку.

После закрытия метро она ждет закутанную у бокового входа — та появляется, когда Аннушка уже теряет надежду. Глаз не видно, в своей многослойной одежде женщина напоминает бочонок. Закутанная велит Аннушке идти следом, и она послушно идет. Аннушка очень устала, по правде говоря, сил у нее совсем не осталось, больше всего хочется остановиться и присесть — все равно где. Женщины переходят по мосткам ров, минуют оклеенный плакатами железный забор, потом спускаются в подземный переход. Вскоре они попадают в какой-то тесный коридор, здесь блаженно тепло. Женщина указывает место на полу, Аннушка ложится, не раздеваясь, и тут же засыпает. И уже погружаясь в сон — такой, о каком она всегда мечтала, бездумный и глубокий — на мгновение видит картину, которую только что разглядела в узком коридоре.

Темная комната, из нее открыта дверь в другую, освещенную. Там стоит стол, вокруг него люди. Руки лежат на столе, спины прямые. Люди сидят и молча, не шевелясь смотрят друг на друга. Аннушке кажется, что один из них — мужчина в ленинской кепке.

Спит Аннушка крепко. Ничто не тревожит ее сон — ни шорохи, ни стоны за стеной, ни скрип кровати, ни шум телевизора. Она спит, словно утес, о который упорно бьются волны, словно упавшее дерево, обрастающее мхом и грибами. Лишь перед самым пробуждением ей снится смешной сон — будто она забавляется разноцветной косметичкой, разрисованной слониками и кошечками, вертит ее в руках. Потом вдруг отпускает, но вещица не падает, зависает в воздухе, между ладонями, и Аннушка понимает, что может двигать косметичку, не касаясь ее. Одной силой воли. Это чувство очень приятное, подобной радости она давно не испытывала — пожалуй, с самого детства. Так что Аннушка просыпается в хорошем настроении и теперь видит, что она вовсе не в заброшенном рабочем общежитии, как ей показалось вчера, а в обычной котельной. Вот почему здесь так тепло. А спит она на картонке, возле кучи угля. Рядом, на обрывке газеты лежит четвертушка довольно черствого хлеба и шмат сала, посыпанного острой паприкой. Она догадывается, что еду оставила Гали-

на, но не дотрагивается до нее, пока не справит нужду в отвратительном туалете без дверей и не помоет руки.

Ах, до чего же приятно влиться в постепенно нагревающуюся толпу людей. От пальто и дубленок пахнет чужими домами — подсолнечным маслом, стиральным порошком, сладкими духами. Аннушка проходит через турникет и погружается в первую волну. На сей раз она оказывается на Калининской линии. Стоит на перроне, чувствуя, как подходящий поезд толкает перед собой теплый подземный воздух. Двери открываются, и вот Аннушка уже внутри, сдавленная телами, даже нет нужды цепляться за поручень. На поворотах она поддается движению поезда, колышется, словно травинка среди трав, колосок среди колосьев. На следующей станции входят еще люди, хотя уже не осталось ни миллиметра свободного пространства. Аннушка прикрывает глаза: такое ощущение, будто ее укачивают, нежно обнимают со всех сторон и баюкают успокаивающе добрые руки. Вдруг, на какой-то остановке почти все выходят, и теперь приходится удерживать равновесие самостоятельно.

Когда, ближе к конечной, вагон почти совсем пустеет, Аннушка находит газету. Сперва смотрит на нее чуть недоверчиво — может, она вообще уже разучилась читать, — но потом берет в руки и с тревогой просматривает. Читает, что умерла от анорексии фотомодель и власти подумывают запретить выходить на подиум слишком худым девушкам. Читает о террористах — предотвращен очередной теракт. В квартире обнаружены тротил и взрыватели. Дезориентированные киты выплывают на отмель и там умирают. Полиция выследила через Интернет шайку педофилов. Ожидается похолодание. *Мобильность становится реальностью.*

Какая-то эта газета неправильная, наверное, фальшивая, поддельная. Каждая прочитанная фраза причиняет невыносимую боль. Аннушкины глаза наполняются слезами, и крупные капли начинают капать на газету. Плохая бумага тут же впитывает их, словно промокашка.

Там, где метро выходит на поверхность, Аннушка приникает к окну и смотрит. Город пепельного цвета, всех оттенков, от грязно-белого до черного. Он состоит из прямоугольников и фигур неправильной формы, из квадратов и пучков прямых линий. Аннушка провожает глазами высоковольтные провода и кабельные сети, потом переводит взгляд на крыши и считает антенны. Закрывает глаза. А когда открывает, оказывается, что мир уже не там, где прежде. Почти в сумерках Ан-

нушка, в очередной раз оказавшись в знакомом месте, видит, как низкое солнце на мгновение, на несколько секунд пробивается из-за белых клубов туч и освещает дома красным заревом — только верхушки, верхние этажи; кажется, будто вспыхивают гигантские факелы.

Потом Аннушка сидит на скамейке на перроне под большой рекламой. Съедает остатки завтрака. Моется в туалете и возвращается. Сейчас начнется час пик. Те, кто утром ехал туда, теперь поедет обратно. Остановившийся перед Аннушкой поезд ярко освещен и почти пуст. В вагоне только один человек — тот мужчина в кепке. Он стоит, вытянувшись как струна. Когда поезд тронется, мужчину слегка качнет; потом он исчезнет, поглощенный черной пастью подземелья.

— Я куплю тебе булку, — говорит Аннушка закутанной, и та на миг снова замирает, перестает раскачиваться, словно только в неподвижности способна переваривать услышанное. В следующую минуту она уже направляется к киоскам.

Женщины едят, прислонившись к задней стенке киоска, но прежде закутанная несколько раз крестится и кланяется.

Аннушка спрашивает ее о людях, которые молча сидели вчера в котельной, и женщина снова цепенеет, на сей раз с куском булки во рту. Произносит какую-то бессмысленную фразу, вроде "Как это?" А потом бросает зло:

— Да отстань ты от меня!

И уходит. До часу ночи Аннушка ездит на метро, потом, когда его закрывают и церберши выгоняют людей на улицу, кружит вокруг того места, где — как ей кажется — был вход в теплую котельную, но ничего не находит. Тогда она идет на вокзал и там, выгребая оставшиеся копейки, коротает ночь за чаем и борщом в пластиковых стаканах, из последних сил упираясь локтями в ламинированную столешницу.

Едва заслышав, как со скрежетом открывается решетка, Аннушка покупает в автомате билет и спускается в метро. Смотрится в окно вагона и замечает, что волосы стали жирными, от прически не осталось и следа, и другие пассажиры стараются держаться от нее подальше. Порой у Аннушки мелькает мысль: вдруг она столкнется с кем-нибудь из знакомых? — хотя по этой линии они обычно не ездят, но лучше сесть в углу, у стенки. Впрочем, какие у нее знакомые? Почтальонша, продавщица из магазина на первом этаже, сосед из квартиры напротив; Аннушка даже имен их не знает. Ей хочется закрыть лицо, как закутанная; в сущности, это неплохая мысль — прикрыть глаза, чтобы и видеть поменьше, и самой быть понеза-

метнее. Аннушку толкают, но человеческие прикосновения ей даже приятны. Рядом садится пожилая женщина, вынимает из пакета яблоко и с улыбкой подает ей. Когда на станции "Парк Культуры" Аннушка останавливается перед киоском с пирожками, молодой коротко стриженный парень покупает ей несколько штук. Она догадывается, что выглядит не лучшим образом. Благодарит, не отказывается, хотя деньги еще есть. На глазах у Аннушки происходят разные сцены: милиционеры хватают какого-то человека в кожаной куртке. Громко переругиваются супруги, оба пьяные. Молоденькая девушка, почти подросток, садится в поезд на "Черкизовской" и, всхлипывая, твердит: "Мама, мама", — и никто не решается к ней подойти, а потом уже поздно, потому что на "Комсомольской" девушка выходит. Аннушка видит, как кто-то убегает, расталкивая пассажиров — низкорослый смуглый мужчина, — но толпа на ступеньках слишком плотная, и двое настигают его, хватают, выкручивая руки. Какая-то женщина со слезами кричит, что ее обокрали — всё, всё украли! — ее голос отдаляется, затихает и наконец умолкает. И дважды в этот день Аннушка видит старика с прямой спиной и отсутствующим взглядом — он проносится мимо нее в освещенном вагоне. Аннушка даже не знает, что уже давно стемнело, наверху зажглись все фонари и лампы, из которых сочится в густой морозный воздух желтое свечение; в этот день она вообще разминулась с солнечным светом. На "Киевской" Аннушка выходит на поверхность и идет к забору вокруг стройки в надежде встретить закутанную.

Та оказывается на месте и ведет себя как обычно — похожая на узел мокрых тряпок, топчется, описывая круги и восьмерки, выкрикивая свои ругательства. Аннушка стоит перед ней и ждет, пока закутанная заметит ее и умолкнет. Потом — как будто договорившись заранее — они трогаются в путь, вместе, бодро, словно у них есть какая-то цель, которая — если не поспешить — ускользнет навеки и без предупреждения. На мосту ветер колотит женщин почем зря.

В киоске на Арбате они покупают вкусные блины — недорогие, сверху политы маслом, и еще сметаной. Закутанная кладет монеты на стеклянное блюдце и берет дымящиеся порции. Женщины устраиваются в уголке, собираясь спокойно полакомиться. Аннушка, словно загипнотизированная, глядит на молодых людей, которые, несмотря на холод, сидят на скамейках, играют на гитаре и пьют пиво. Больше шумят, чем поют. Перекрикиваются, дурачатся. Появляются две молоденькие девушки, верхом; да, картина необычная, кони высокие, ухоженные, вероятно, прямо с манежа; одна

из амазонок здоровается с гитаристами, изящно спешивается и, держа коня на короткой узде, заговаривает с парнями. Вторая пытается выцыганить у припозднившихся туристов денег на корм для лошади — во всяком случае, так она уверяет, — но те догадываются, что на пиво. Вид у лошади не голодный.

Закутанная толкает Аннушку локтем:

— Ешь.

Но Аннушка не может оторвать глаз от этой сцены, жадно смотрит на молодежь; от блинов у нее в руке идет пар. В каждом парне она видит своего Петю, они ровесники. Петя возвращается в ее тело, словно Аннушка никогда не производила его на свет. Сидит там, скорчившись, тяжелый как камень, причиняет ей боль, распухает внутри, растет — наверное, она должна родить его снова, на этот раз каждой порой кожи, чтобы он вышел вместе с потом. Пока же он подступает к горлу, вязнет в легких и может выбраться наружу только одним путем — вместе с рыданиями. Нет, не станет она есть блины, в ней не осталось места. Петя застрял у нее в горле, хотя мог бы сейчас сидеть вон там — в это мгновение он бы как раз поднимал руку с банкой пива, подавая ее наезднице, откидывался всем телом назад и разражался хохотом. Мог бы двигаться, наклониться до земли, взмахнуть руками, мог бы сунуть ногу в стремя и перекинуть другую через спину этого животного. Вскочить на коня, проехаться по улице, держась прямо, улыбаясь из-под усиков, постепенно затеняющих верхнюю губу. Мог бы взбегать по лестнице, мчаться вихрем, ведь ему столько же лет, сколько этим парням, а она, мать, беспокоилась бы, что ему грозит двойка по химии, что он не поступит в институт и кончит, как его отец, безработным, и невестка Аннушке тоже не понравится, и ребенка они заведут слишком рано.

Невыносимая свинцовая волна поднимается в ней, сливается с жестом девушки, которая бранит нетерпеливого коня — тянет узду вниз, пригибая его голову: мол, стой спокойно. А когда конь вырывается, девушка бьет его по крупу хлыстом и кричит:

— Стой, черт тебя возьми! Стой, ирод!

Аннушка роняет блины со сметаной и набрасывается на пытающуюся усмирить коня девушку с кулаками, лупит наотмашь.

— Оставь его! Оставь! — хрипит Аннушка, у нее перехватило горло.

Изумленные парни реагируют не сразу; теперь они пытаются оттащить внезапно обезумевшую женщину в клетчатом

пальто, но к ней уже спешит на помощь другая, вся замотанная в какое-то тряпье, вдвоем они пытаются отобрать у девушки вожжи, а саму ее оттолкнуть. Та визжит, заслоняя голову руками, она не ожидала этой яростной атаки. Конь лягается, фыркает, вырывается и, перепуганный, скачет по середине Арбата (к счастью, пешеходная улица в эту пору почти пуста); стук копыт, эхом отражаясь от стен, навевает мысли о каких-то уличных боях, забастовках, в домах начинают открываться окна. Но вот в конце улицы появляются двое милиционеров — они лениво шагали, обсуждая компьютерные игры, все ведь было спокойно, но теперь, заметив непорядок, в полной готовности, схватившись за дубинки, бегут к месту происшествия.

— Раскачивайся, — говорит закутанная. — Двигайся.

Они сидят в отделении милиции и дожидаются своей очереди — их должен допросить противный красномордый милиционер.

— Раскачивайся, — она уже несколько часов балобонит, как заведенная, видимо, от страха. Адреналин разбудил язык закутанной. Она шепчет Аннушке на ухо, так, чтобы никто не слышал — ни этот мужик, которого обокрали, ни две молодые смуглые бляди, ни тот, с разбитой головой, придерживающий рукой повязку. А Аннушка плачет, слезы все текут и текут по ее лицу, скоро, наверное, уже иссякнут.

Потом, когда очередь доходит до них, красномордый милиционер кричит через плечо кому-то в другую комнату:

— Это та бегунья.

В ответ раздается:

— Выпусти ее, а вторую оформи, за нарушение порядка.

И милиционер говорит закутанной:

— Гражданка, в следующий раз вывезем за черту города, за сотый километр, ясно? Сектанты нам тут не нужны.

После чего забирает у Аннушки документы и, словно сам не умеет читать, велит ей назвать имя, отчество, фамилию и адрес — адрес тоже. Аннушка упирается в столешницу кончиками пальцев и, прикрыв глаза, словно декламирует стихи, перечисляет свои данные. Адрес она повторяет дважды:

— Кузнецкая, сорок шесть, квартира семьдесят восемь.

Их выпускают по одной, с интервалом в час, закутанную первой, так что, когда выходит Аннушка, той уже и след простыл. Ничего удивительного — страшный мороз. Аннушка топчется возле отделения милиции, ноги подгоняют, им не терпится понести ее по этим широким улицам куда-то туда, где все улицы начинаются, вытекают из холмистого пригоро-

да, а дальше открывается уже другая картина — огромная равнина, забавляющаяся собственным дыханием. Но подходит Аннушкин автобус, она едва успевает вскочить.

Люди уже тронулись в путь, и на улице царит утреннее оживление, хотя солнце еще не взошло. Аннушка долго колесит на автобусе по окраинам, потом, подойдя к дому, останавливается и разглядывает свои окна, высоко наверху. Они еще темные, но, когда небо начинает проясняться, Аннушка видит, что в кухне ее квартиры зажигается свет, и направляется к входной двери.

Что говорила закутанная бегунья

Раскачивайся, двигайся. Только так ты ускользнешь от него. Тот, кто управляет миром, не властен над движением и знает, что в движении наше тело свято — ты сумеешь ускользнуть, только когда двигаешься. Ему подвластно лишь то, что недвижно и омертвело, что безвольно и бессильно.

Так что двигайся, раскачивайся, шевелись, иди, беги, убегай, стоит забыться и остановиться — тебя подхватят его ручищи и окуклят, овеет его дыхание, смердящее дымом и выхлопными газами, и гигантскими городскими свалками. Он превратит твою разноцветную душу в маленькую плоскую душонку, вырезанную из бумаги, из газеты, и станет грозить тебе огнем, болезнями и войной, запугивать, пока не лишит покоя и сна. Он пометит тебя и впишет в свои анналы, выдаст свидетельство о твоем падении. Займет твои мысли всякой чепухой — купить-продать, дешевле-дороже. Ты станешь беспокоиться по пустякам — сколько стоит бензин и как это влияет на выплату кредитов. Каждый день будет причинять боль, словно жизнь дана тебе в наказание, но кто совершил преступление, какое и когда — не узнаешь вовек.

Когда-то давно Господь пытался изменить мир, но был разгромлен, и мир канул в объятия антихриста. Бог, подлинный, добрый, был изгнан, сосуды с божественной мощью разбиты, и земля впитала ее, укрыла в своих недрах. Но когда Бог шепотом говорил из своего укрытия, его услышал один праведный человек, солдат по имени Евфимий, и слова эти запечатлелись в его разуме. Ночью он отбросил ружье, скинул форму, размотал портянки и снял сапоги. Он стоял под небом голый, каким создал его Господь, а потом бежал в леса и, кое-как прикрыв наготу, странствовал по деревням, провозглашая мрачную весть. Бегите, покиньте дома, уходите, бегуны, ибо только так избежите вы силков антихриста. Лю-

бая открытая борьба будет неизбежно проиграна. Оставьте все, что имеете, бросьте землю и отправляйтесь в путь.

Ибо все, что имеет на этом свете постоянное место, каждое государство, Церковь, человеческая власть, все, что сохранило в этом аду форму, служит ему. Все, что очерчено, измерено, разделено по рубрикам, записано в реестры, пронумеровано, учтено, нотариально заверено; все, что собрано, выставлено на обозрение, снабжено этикеткой. Все, что удерживает человека на месте, — дома, кресла, кровати, семьи, земля, посевы, насаждения, забота о росте. Планирование, ожидание результатов, вычерчивание графиков, соблюдение порядка. Поэтому вырасти своих детей, раз уж неосмотрительно родила их, и — в путь; похорони родителей, раз уж они легкомысленно произвели тебя на свет — и иди. Уезжай далеко, куда он не доберется, подальше от его кабелей и проводов, антенн и волн, и да не засекут тебя его чувствительные инструменты.

Прекративший движение — окаменеет, остановившегося пришпилят, словно насекомое, сердце его пронзят деревянной иглой, руки и стопы — продырявят и прибьют к порогу и притолоке.

Именно так погиб восставший. Его изловили, а тело распяли на кресте — обездвижили, словно насекомое, выставили на обозрение взорам человеческим и нечеловеческим — нечеловеческим в особенности, ибо им только и подавай представления; неудивительно, что его воссоздают каждый год и поклоняются ему, вознося молитвы мертвому телу.

Поэтому у тиранов всех мастей, слуг ада, ненависть к номадам в крови — поэтому они преследуют цыган и евреев, поэтому принуждают к оседлой жизни всех свободных людей, клеймят адресом, подписывающим нам приговор, и клеймо это несмываемо.

Они хотят сотворить нерушимый порядок, остановить течение времени — пусть только кажется, что оно движется. Хотят, чтобы дни стали одинаковы, неразличимы, хотят построить махину, в которой каждое существо займет свое место и создаст видимость действия. Там будут институты и офисы, печати, циркуляры, карьеры, чины и звания, заявления и отказы, паспорта, номера, регистрационные карточки, результаты выборов, презентации и подсчет баллов, коллекционирование, обмен одних предметов на другие.

Они хотят обуздать мир с помощью штрихкодов, на каждую вещь наклеить этикетку — пусть все знают, что это за товар и сколько стоит. Но да не будет этот чуждый язык внятен людям, пусть читают его машины и автоматы, пусть устраива-

ют по ночам праздники собственной штрихкодовой поэзии в больших подземных магазинах.

Двигайся, двигайся! Благословен идущий.

Гигиенический пакет

В самолете Варшава–Амстердам я машинально вертела в руках бумажный пакет, на котором позже заметила выведенные авторучкой слова:

"12.10.2006. Летим наудачу в Ирландию. Пункт назначения – Белфаст. Студенты Политехнического института в Жешове".

Надпись обнаружилась на донышке пакета, на единственном свободном месте – с обеих сторон был печатный текст. Он на нескольких языках повторял одно и то же: do you want air sickness bag... sac pour mal de l'air... Spuckbeutel... bolsa de mareo. Между этими словами чья-то рука вписала фразу, единичка была толще других цифр, словно автор на секунду засомневался, имеет ли смысл оставлять это анонимное выражение беспокойства. Надеялся ли он, что надпись на пакете найдет своего читателя? Что я таким образом окажусь свидетелем чужого путешествия?

Меня растрогал этот односторонний акт коммуникации – интересно, какая рука это писала, какими были глаза, что вели ее между строками напечатанного на пакете текста. Интересно, повезет ли им там, в Белфасте, этим студентам из Жешова. Пожалуй, мне бы хотелось когда-нибудь, уже в другом самолете, получить ответ на свой вопрос. Чтобы они написали: "Все отлично. Мы возвращаемся домой". Но я знаю, что на пакетах пишут только от волнения и неуверенности. Ни поражение, ни грандиозный успех этому не способствуют.

Стена

Кое-кто полагает, что мы уже подошли к концу нашего путешествия.

Город совершенно бел, словно кости, брошенные в пустыне, обглоданные зноем, отполированные песком. Он напоминает обызвествленную колонию кораллов, которыми поросли холмы в эпоху древнего моря.

Говорят также, что этот город – неровная взлетная полоса, представляющая трудность даже для опытного пилота: здесь некогда отрывались от земли боги. Те, кто немного раз-

бираются в той эпохе, утверждают, к сожалению, взаимоисключающие вещи. И теперь невозможно выработать единую версию.

Будьте внимательны, все паломники, туристы и бродяги, которым удалось сюда добраться: вы прибыли на пароходах, самолетах, прошли пешком через ущелья и мосты; военные заставы и засеки. Ваши машины и караваны не раз останавливали, паспорта тщательно проверяли, заглядывали в глаза. Будьте внимательны, передвигаясь по этому лабиринту уловок с помощью знаков, стояний, да ведет вас указательный палец вытянутой руки, нумерация строк в книге, римские цифры, нарисованные на стенах домов. Да не обманут вас прилавки, заваленные бусами, ковриками, кальянами, монетами — якобы древними, выкопанными из песков, — острыми приправами, что насыпаны разноцветными пирамидками; да не отвлечет внимания живописная толпа вам подобных, всевозможных мастей, оттенков кожи, лиц, волос, одежды, головных уборов и рюкзаков.

В центре лабиринта нет ни сокровищ, ни минотавра, которого предстоит одолеть; путь заканчивается внезапно, стеной — белой, как и весь город, высокой, непреодолимой. Говорят, это стена незримого храма, но факт остается фактом: мы достигли конца, дальше ничего нет.

Поэтому не удивляйтесь, когда увидите здесь застывшие в недоумении фигуры, прижимающиеся разгоряченным лбом к холодному камню, или людей, присевших от усталости и разочарования на землю и теперь по-детски прильнувших к стене.

Пора в обратный путь.

Амфитеатр во сне

В первую ночь в Нью-Йорке мне снилось, что я кружу ночью по улицам города. У меня, правда, есть карта, и время от времени я заглядываю в нее в поисках выхода из этого клетчатого лабиринта. И вдруг оказываюсь на просторной площади и вижу огромный античный амфитеатр. Останавливаюсь в изумлении. Подходит пара японских туристов и показывает амфитеатр на моей карте. Да, действительно, он там есть, вздыхаю я с облегчением.

В гуще перпендикулярных и параллельных улиц, сплетающихся, словно основа с утком, в центре этой монотонной сети я вижу устремленный в небо огромный круглый глаз.

Посадка

Он снял ботинки, рюкзак поставил себе в ноги и теперь ждет, когда объявят посадку. Густая темная щетина, почти лысый, возраст — между сорока и пятьюдесятью. Он похож на человека, недавно осознавшего, что не слишком отличается от других, то есть, можно сказать, на него снизошло своего рода озарение. Лицо еще хранит следы этого шока: глаза опущены — он смотрит только на собственные ботинки, вероятно, чтобы не скользить взглядом по окружающим; мимика и жесты отсутствуют — они больше не требуются. Посидев так, он достает тетрадь, красивый блокнот ручной работы, вероятно, купленный в одной из тех лавочек, которые дорого продают дешевую продукцию стран Третьего мира; на обложке из рециклинговой бумаги видны черные буквы Traveller's Log Book. Блокнот заполнен на треть. Человек кладет его на колени, и черная гелевая ручка выводит первую фразу.

Тогда я тоже вынимаю свой бортовой журнал и заношу туда этого пишущего мужчину. Вполне возможно, что и он в эту минуту пишет: "Женщина, которая записывает. Сняла ботинки, рюкзак поставила себе в ноги..."

Не стесняйтесь, думаю я о других, тех, что ждут посадки, достаньте свои дневники и пишите. Ведь нас много — записывающих. Мы не сводим глаз с собственной обуви, не подаем виду, что наблюдаем друг за другом. Давайте записывать друг друга — это наиболее безопасный способ коммуникации, давайте обменивать друг друга на буквы и инициалы и запечатлевать на листочках бумаги, подвергать друг друга пластинации, погружать в формалин фраз.

Вернувшись домой, положим заполненный дневник рядом с остальными — в коробку за шкафом, в нижний ящик письменного стола, на полку в тумбочке. Там описаны наши прежние путешествия. Подготовка к ним и счастливое возвращение. Восхищение закатом на грязном пляже, усеянном пластиковыми бутылками, и вечер в душном отеле. Экзотическая улица, где больная собака выпрашивала еду, но у нас не было ни крошки, и дети, обступившие нас в городке, где шофер автобуса охлаждал перегревшийся радиатор. Есть там и рецепт арахисового супа, по вкусу напоминавшего отвар половой тряпки, и глотатель огня с обожженными губами. И как мы тщательно подсчитывали расходы и безуспешно пытались срисовать орнамент, на мгновение привлекший наше внимание в метро. Странный сон, приснившийся в самолете,

и красота буддийской монахини в серых одеждах, за которой мы стояли в какой-то очереди. Тут будет все, даже моряк, отбивающий чечетку на пустой набережной, откуда раньше уходили пассажирские корабли.

Кто это прочтет?

Сейчас откроется выход. Вот уже хлопочут у стойки стюардессы, а пассажиры, прежде погруженные в летаргический сон, встают, подхватывают ручную кладь. Ищут посадочный талон, без сожаления откладывают недочитанные газеты. Каждый мысленно подводит безмолвный итог: все ли на месте — паспорт, билет, кредитные карточки, не осталось ли наличности. Куда летим. И — зачем. Найдем ли там то, чего ищем, правильное ли выбрано направление.

Стюардессы, красивые, словно ангелы, проверяют, насколько мы готовы к путешествию, и плавным движением руки позволяют нам погрузиться в мягкую, устланную ковровой дорожкой округлость туннеля, который приведет нас на борт самолета, а после студеными воздушными путями — к новым мирам. В улыбке девушек, как нам кажется, скрыто некое обещание — возможно, мы родимся вновь, и на сей раз — в нужную минуту, в нужном месте.

Жоашен Дю Белле

Сонеты из книги "Сожаления"

Переводы с французского

Вступление Марины Бородицкой

Жоашен Дю Белле (1522—1560), выдающийся французский поэт эпохи Возрождения, соратник и соперник Ронсара (проживи он подольше — еще неизвестно, кто из двоих считался бы ярчайшей звездой "Плеяды"), оставил несколько замечательных сонетных циклов. А самый своеобразный из них — самый, пожалуй, необычный из всех сонетных циклов прославленной поэтической школы XVI века и по праву вошедший в сокровищницу мировой литературы — это цикл "Regrets". Его название обычно переводится как "Сожаления", хотя не меньше подошли бы "жалобы" или "сетования", а то и "брюзжание".

Дю Белле никогда не был баловнем фортуны, к тому же в начале 50-х годов он перенес тяжелую болезнь, а к 1553 году его финансовые обстоятельства оказались столь плачевны, что ему пришлось поступить на службу к собственному дяде, кардиналу Дю Белле, и отправиться с ним в Рим в каче-

© Марина Бородицкая. Перевод, вступление 2010
© Елена Баевская. Перевод 2010
© Наталья Кудрякова. Перевод 2010
© Юрий Денисов. Перевод 2010
© Элла Шапиро. Перевод 2010
© Анна Курт. Перевод 2010
© Юлия Покровская. Перевод 2010

стве секретаря и домоправителя. Там, в Италии, а также на обратном пути во Францию в 1557 году, и сложился знаменитый цикл из 191 сонета в духе путевых заметок и дружеских посланий. В этих посланиях, адресатами которых были в основном собратья по перу (Пьер Ронсар, Реми Белло, Оливье де Маньи, Понтюс де Тиар, Жан Антуан де Баиф и другие), автор почти непрерывно сетует и брюзжит. Сетует на судьбу, несправедливо обделившую его почестями и богатством, и брюзжит на времена и нравы — в папском Риме, а впрочем, и в Париже, и во всех увиденных по пути городах и странах. Иногда против воли вырывается у него возглас восхищения ("Венеция, Маньи, для взора сущий пир!") — и тут же переходит в ехидный смешок: а море-то, оказывается, изменяет местному дожу с турецким султаном...

Дю Белле многослоен. Под маской насмешника он скрывает подлинную боль. А страдальчески сетуя на судьбу, делает это столь обаятельно, с таким великолепным сарказмом и настолько при этом опережает свое время, живописуя повседневное в ущерб возвышенному, что печальная повесть поэта, изнывающего на чужбине среди лицемеров и бюрократов, превращается в увлекательное чтение, ничуть не утратившее свежести и теперь, четыреста пятьдесят лет спустя.

Вильгельм Вениаминович Левик успел перевести 40 сонетов из этого цикла. Спустя почти 25 лет после его смерти один из крупнейших российских специалистов по французской литературе, председатель редколлегии "Литературных памятников" Андрей Дмитриевич Михайлов загорелся идеей закончить книгу силами левиковских учеников и последователей. И хотя — увы! — Андрея Дмитриевича с нами нет больше, мы надеемся, что его и наша работа будет завершена и книга выйдет, как и было задумано, в издательстве "Наука". А пока представляем вниманию читателей "ИЛ" подборку новых переводов из цикла "Сожаления" Жоашена Дю Белле.

VII

Когда мои стихи читал и слушал двор
И несравненная принцесса Маргарита,
Сестрица короля, дарила мне открыто
И слово лестное, и благосклонный взор, —

Я духом воспарял в сияющий простор,
Я ощущал в груди бессмертный жар пиита,
И Аполлонова со мной дружила свита,
И внятно для меня звучал парнасский хор.

Теперь я глух и нем, как прорицатель в храме,
Вдруг разучившийся беседовать с богами.
Что остается мне? Молчи да слезы лей...

Издревле славою питаются камены:
Им тишина не впрок — им не хватает сцены,
Восторгов публики и ласки королей.

VIII

Любезнейший Ронсар, в ком часть моей души!
Тому, что Дю Белле стихов не шлет с чужбины,
Что италийский жар и Рима дух старинный
Впрок не идут ему, — дивиться не спеши.

Ты взором осиян прекрасной госпожи,
Ты, принцем обогрет, не ведаешь кручины:
Вот пылкости твоей достойные причины,
Не зря стихи тебе послушны, как пажи.

Мне ж, разлученному с живительным светилом,
Под силу ли творить с тем вдохновенным пылом,
Какой лучи его зажгли в твоей груди?

На склонах солнечных лоснятся гроздья, зрея,
Но скудные плоды растит Гиперборея:
Лишь ветры зимние да вечные дожди.

XVII

Поплавав по волнам среди дворцовых гроз,
Где вопли бедных жертв слились в едином звуке,
Ты прибыл в чудный край: ни розни там, ни муки,
Ни рабской нищеты, ни затаенных слез.

Мы ж издали глядим на берег наших грез
И к перевозчику глухому тянем руки,
Но даром не взойдешь на борт его фелуки,
И ни катрена нет — отдать за перевоз.

На воды бурные взираешь ты с откосов
И удаляешься, влюбленный и философ,
С прекрасной дамою в лесную полутьму.

И ты давно забыл, купаясь в праздной неге,
Про всех оставленных тобой на дальнем бреге,
Кто, вслед тебе крича, цеплялся за корму.

XVIII

Ты хочешь знать, Морель, чем занят я? Служу.
Нет, не любви отнюдь, но моему сеньору:
Я дом его веду согласно договору
И прок немалый в том, признаться, нахожу.

"О боже! — скажешь ты. — Как верить миражу?
Тебе ль, мой Дю Белле, хозяйством ведать впору?
На языке чужом ты музу учишь вздору
И труд свой полюбил, как любит конь вожжу".

А дело в том, Морель, что песни чудным звоном
Звучат во мне всегда, и ни трудом поденным,
Ни прихотью певца не заглушить их звук.

Но скажешь ты в ответ: коню, мол, отдых нужен,
Не то состарится и станет он недужен,
И замертво падет, — не правда ли, мой друг?

XXI

Сиятельный мой граф, умерь свое сиянье!
Нет больше Дю Белле, остался старый пень:
Засохший, он едва отбрасывает тень,
Два-три живых листка — худое одеянье.

Пишу не о страстях — давно им отдал дань я,
Пишу о том о сем: что вижу каждый день,
Что сердце трогает, — пишу, когда не лень;
Мой стих медлителен, в нем холод увяданья.

Честь вам, художники, которым на мольберт
Дано перенести всю совокупность черт,
Все краски и штрихи сопрячь в единой гамме.

Наброски же мои хвалу и славу мне
Едва ли принесут; и впрямь я рядом с вами —
Как с Микеланджело наш портретист Жане.

XXXII

"Я философию, науку всех наук,
До точки превзойду, законов древних своды
Постигну, тайны чисел, врачебные методы
И богословских книг не выпущу из рук;

Рапира, лютня, кисть украсят мой досуг", —
Так я себе твердил, такой искал свободы,
Когда в Италию отправился на годы
И променял на Рим свой дом и ближний круг.

И что ж я приобрел? На что убил я время?
Тоска да хлопоты, старенья злое бремя —
Вот все премудрости, что я постичь сумел.

Так снятся моряку златые самородки,
А возвращается он с бочкою селедки
И рад уж до смерти, что сам остался цел.

XXXV

В порту пристанище обещано ладье,
Которая пред тем скиталась долго в море;
Быка, что целину взрыхлял на косогоре,
К обеду распрягут — не так ли, мой Дилье?

Коню, что проскакал хотя б десяток лье,
Дают передохнуть, чтоб не схватил он хвори,
И многажды врага сражавший в ратном споре,
Уходит на покой усталый шевалье.

А я, кто в жизни знал одни труды, лишенья,
Пустые хлопоты и всех надежд крушенье,
Кто чудом до сих пор не выжил из ума, —

Здесь, у Авсонских вод, я старюсь понемногу,
И не придут распрячь, и не пришлют подмогу:
Мне век не вырваться из этого ярма.

Перевод Марины Бородицкой

XLVI

Что ж, если проливать нещадно кровь и пот,
Не думать о себе, забыть о бренном теле,
Терпенье и талант стремить к единой цели,
Не спать, не есть, корпеть под бременем забот,

Что ж, если, для себя не требуя щедрот,
Смиренно преданность доказывать на деле,
За службу долгую, я думал, неужели
В конце концов ко мне награда не придет?

Но если только тот судьбами будет взыскан,
Кто в лести преуспел и в хитроумье низком,
А кто не крал, не лгал, пребудет нищ и слаб —

Тогда я хлопотал напрасно год от году:
Я строил на песке, я никудышный раб,
Я в решете, мой друг, таскать пытался воду.

XLVII

О если остриём тебя пронзала жалость
При виде чьих-нибудь несправедливых мук
И если жженьем слёз непрошеных, мой друг,
В тебе страдание чужое отзывалось,

Взгляни: моя душа бесхитростно сказалась
В стихах, простых, как я, — в них нет иных заслуг,
Но если мой удел тебя не тронет вдруг,
Не смейся всё-таки над тем, как мне досталось.

Не дай тебе господь, короче говоря,
Узнать, что ты страдал и надрывался зря,
Что твой благой порыв служил делам бесчестным:

Да будешь милостью двора отмечен ты
И в ослеплении сердечной доброты
Не вверишься вовек посулам легковесным.

LI

Не будем, милый друг, перечить злой фортуне:
Непрочны радости, нам их не удержать,
Но мы надеемся, мы ждём — и вот опять
Избыт удар судьбы, настигший накануне.

Искусный мореход, всё зная о Нептуне,
Тревожится, пока ясна морская гладь:
Не лучше ль с бурями открыто враждовать,
Чем в чаянии бед вдаль вглядываться втуне?

Удача делает из нас пустых глупцов —
Невзгоды учат, как распознавать лжецов;
Одна бесчестит нас, другие к нашей чести;

Удача льстит и лжет, нас исподволь губя, —
Невзгоды нам велят познать самих себя
И дружбу истинную отличить от лести.

Перевод Елены Баевской

LVI

Пора нам знать, Баиф, — превратности судьбы
Спокойней переждать, как бури вал могучий.
В надежной бухте встать и, положась на случай,
Нептуна не дразнить. Все перед ним слабы.

Но трусить не резон. Отчаянья рабы
Терзаньем сердце рвут — а ты себя не мучай.
Улыбка на лице — как солнце вслед за тучей,
Отраден храбрецу зов боевой трубы.

Да, мужество в нужде рождает добродетель.
Несчастье победим! И Бог тому свидетель,
Я объявляю всем, не тратя лишних слов,

Что не боюсь судьбы — фортуну испытаю,
А выиграю я иль крупно проиграю —
Последнее на кон я выложить готов.

Перевод Натальи Кудряковой

LXIV

Бастарды, мой Бизе, в любимцах у натуры —
Они умны, щедры, легко пленяют дам:
Кто от любви рожден, в любви удачлив сам;
Встречались рыцари средь них и трубадуры.

Вне брака родились Геракл и Диоскуры,
И дивнокудрый Вакх, лозу добывший нам, —
И в этом, мой Бизе, героям и богам
Подобны многие известные фигуры.

Что ни бастард у нас, то одарен и смел,
В искусствах Марса и Венеры преуспел
Почище отпрысков надменнейшего рода —

Но вспомнив одного ублюдка и лжеца
(Ты знаешь, кто сия паршивая овца),
Со вздохом я скажу: в семье не без урода.

Перевод Марины Бородицкой

LXVII

Мой друг, мне скучен тот, кто всем поёт хвалу,
В ком даже мой просчёт находит одобренье,
Кто хвалит каждое моё стихотворенье,
Точь-в-точь придворный льстец в угодливом пылу.

Но гадок мне и тот, кто, щедрый на хулу,
Себя лишь самого читает в упоеньи,
Стихи соперников считая дребеденью,
Суровой критики вонзая в них иглу.

Один меня блазнит, и я, поддавшись лени,
Пускаю в свет свои стихи без исправлений —
Так, сам себя любя, я никому не мил.

Другой меня казнит, и, угодить не в силах,
Куда глаза глядят бегу от строк постылых —
И тех, что он слагал, и тех, что я сложил.

Перевод Елены Баевской

LXVIII

Да, многих не терплю! Вот их перечисленье:
Флоренцию деляг — за скупость и подлог,
А Геную врунов — за раболепный слог,
Венецию купцов — за вечное везенье.

Ломбардцев не терплю за клятвопреступленье,
Феррарцев просто так я ненавижу — впрок,
В Неаполе царит тщеславия порок,
Рим праздный не люблю за ложь на пару с ленью.
Да, ненавижу я в шотландцах удальство,
В бургундцах хитрый ум, в французах хвастовство,
Испанцы спесью злят, тевтоны вечным пьянством...

Что ж, мусора всегда полно в чужом дому,
Несовершенен сам — и, верно, потому
Педантов не люблю с особым постоянством.

Перевод Натальи Кудряковой

XCIV

Блажен, кто на войне, к погибели готовый,
Ни ран не ведает, ни плена под замком,
Блажен, кто не продаст и не предаст свой дом,
Хотя давно живёт среди всего чужого.

Блажен, кто не страшась завистливого слова,
Обласкан папою, всему двору знаком.
Убийства избежав, заслужит сам трудом
Иль шапку красную, иль ключ Петра святого.

Блажен, кого в морях средь бурь не ждёт беда,
Блажен, кто во дворце желанный гость всегда,
Блажен, кто кончит путь, людьми не тронут злыми.

Блажен, кто сохранит богатство без забот,
И верит в честь жены; ещё блаженней тот,
Кто смог не облысеть, прожив три года в Риме.

Перевод Юрия Денисова

CXII

Когда я вижу тех господ, что облаченье
Прелатов на себя надели, бросив меч,
И тех, кто во дворце пред паствой держат речь
И в руки жезл берут в безумном ослепленье,

Когда я вижу их, скупых на снисхожденье,
Всегда просителем готовых пренебречь,
И камерария, что станет их стеречь,
Чтоб даже Иова лишить долготерпенья, —

Глухие стены здесь напоминают мне
Тропинки скрытые в загадочной стране,
Где трудно смертному проникнуть в мир заветный.

Ничтожны все дворцы, что видел я дотоль,
В сравнении с дворцом, где правит мой король,
Где крепких нет дверей и комнаты запретной.

Перевод Эллы Шапиро

CXXXIII

Венеция, Маньи, для взора сущий пир:
Собор и арсенал, трактиры и менялы,
Дворцы и корабли, каналы и каналы,
Торговцев полчища и всяческих проныр.

А шляпы странные, каких не видел мир!
А рукава, Маньи, — хоть подметай причалы!
И важный вид у всех, и знают толк немалый
Здесь в городских делах и пекарь, и банкир.

Здесь чудеса кругом, и всё пестро и ярко:
Гондолы, женщины, Риальто и Сан-Марко,
Толпа сенаторов, процессия сутан...

Но всех чуднее дож — берет он в жены море,
Хоть ясно, что рога ему наставят вскоре:
Ведь у супруги-то в любовниках — султан!

CXXXV

Вот щедрый край, Белло: из бревен их шале,
Их печи в изразцах, надежны экипажи,
Незыблем их закон, как гор седые кряжи,
И мало там таких, кто закоснел во зле.

Но пьют и день и ночь в той благостной земле,
И все обжорствуют в каком-то странном раже —
Вот наших королей наставники и стражи:
Не зря сосисками их окрестил Рабле.

Они живут, ни в чем меняться не желая,
Их пенье дикое немногим краше лая,
Но свято чтут они обычай и родство.

Озера чистые, леса, луга, ручьи ли —
Всё там в наличии... но так меня поили,
Что больше я, Белло, не помню ничего.

Перевод Марины Бородицкой

CXLII

В застолье никогда не говори о деле,
Толкуя о грехах, не называй имен,
Не откровенничай, будь сдержан и умен,
Чтобы слова твои и мухи не задели.

Секреты при себе держи, не лги без цели,
Для выгоды солгать — пожалуй, есть резон,
При этом никому не причиняй урон
Постыдной клеветой, неслыханной доселе.

Двуличия в речах старайся избегать,
Некстати не смущай фривольной шуткой знать,
Желая показать, что ты придворный ловкий.

Искусней мастерство, когда его таишь.
Проворство выдает и часто губит мышь,
И можно оплошать от собственной сноровки.

Перевод Анны Курт

CXLIII

Скорей из муравья я сделаю быка
И муху до слона раздую, как мехами,
Чем чью-то жизнь, Бизе, вдруг растопчу стихами
И наживу врагов, валяя дурака.

Остря, терять друзей я не готов пока,
Других полно вокруг с подобными грехами —
Наивно свой триумф увенчивают сами,
А лучше б им во сне отлеживать бока.

Но славословие, Бизе, есть дар подручный,
Сатира же — товар и редкостный, и штучный,
Немало тонкостей она таит на дне.

Досадно, если ты тупых острот свидетель;
Злословить *хорошо* — почти что добродетель,
Тем более что лесть чудовищна вдвойне.

CXLIV

Я мог бы, Горд, плести в застолье небылицы,
Прикинуться глухим, коль надо, тупя взор,
В два счета простакам представил бы на спор
Вороной — истину, ложь — чистой голубицей.

Вельможной дружбы я легко бы мог добиться
И нравы перенять, какие принял двор,
Льстить покровителю и, влившись в общий хор,
Жить припеваючи бы мог, как говорится.

Чтобы продвинуться, я мог бы торговать
Туманом, пустотой, дурача чернь и знать,
Лишь только б в доле быть всегда, и в деле всюду.

Стать хитрецом бы мог — и это по плечу.
Я мог бы... Не могу! Поскольку не хочу!
Но тех, кто так живет, винить и клясть не буду.

CXLV

Ты ошибаешься, Белло, здесь не нужны
Твои таланты, ум и преданность заветам.
Двор ценит только тех, кто овладел секретом,
Как пользу извлекать из гибкости спины.

Благими мыслями ты не набьешь мошны.
Куда разумней быть невеждой в мире этом,
Завистником, льстецом, стяжателем отпетым...
Такие часто здесь до звезд вознесены.

Ученый муж терпим за дверью кабинета,
Во всех гостиных он — посмешище для света,
Да, книгочеем слыть — стать пугалом и злом.

Чернь раздражить легко, достоинством пылая.
Белло — безумец ты, коль нравиться желая,
Ничтожнейшим из всех займешься ремеслом.

CLI

Я не прошу тебя читать мои труды:
Отменный съев обед, зайдя к красоткам в гости,
Ночь посвятив игре — сначала, скажем, в кости,
Потом — Венериной (в ней больше сведущ ты),

Не надо в руки брать расслабленно листы,
Ища в моих стихах цель для острот и злости,
Чтобы без устали перемывать мне кости,
Насмешкой исказив всех лучших строк черты.

Нет, кто бы ни был ты, — ты, чье оружье — слово
И чья рука, боюсь, к другому не готова,
Чтоб имя ты мое трепал, я не хочу.

Злословить погоди и прояви терпенье,
За доброту твою, за ревностное рвенье,
Увидишь: я тебе с лихвою отплачу.

Перевод Юлии Покровской

CLIV

Внимая мне, Баиф, ты превратишь Парнас
В Верховный трибунал (прости сию сатиру),
В сундук — свой дивный лавр, а трепетную лиру
В трещотку торгашей, что обирают нас.

Поверишь ли, Баиф, нажить добро сейчас,
Пожалуй, легче всех шуту или факиру;
Стихом не проживешь и не потрафишь миру,
Что прибыль не сулит, то нам и не указ.

Оставим же сестер болтливых Аполлона,
Тщету пустых услад, а с ней венок зеленый:
Лавровых листьев блеск — вот вся его казна.

У знати слух остёр и уши мягче воска
Для выгоды мирской или для шутки плоской,
Но на стихи они — точь-в-точь из чугуна.

Перевод Анны Курт

CLV

Тиар, сменивший свой влюбленно-пылкий тон,
К высокому не зря ты обратился слогу:
Петрарка твой идет с самим Платоном в ногу,
А нет мыслителя достойней, чем Платон.

Архитектурой звезд кто не был полонен,
Меж следствий и причин кто не искал дорогу,
Изъян в себе несет, внушающий тревогу,
И с человеком схож одним обличьем он.

Вглядимся же, Тиар, вновь в эту полусферу —
Мы созданы, как мир, и по его примеру...
Однако оторвем глаза от высоты:

Коль вовремя к земле лицом не повернуться,
Рискуешь каждый миг о камушек споткнуться,
Лодыжку повредить иль расшибиться ты.

Перевод Юлии Покровской

CLXXXIII

Ужасный вздор, Морель, читаю я порой
И хохочу до слез над нашими льстецами,
Что ублажают знать хвалебными стихами,
Чтоб ею помыкать, осыпав похвалой.

И можно ль смех сдержать, узрев перед собой
Ворону в парике раскрашенном, как знамя,
Или портрет свиньи, увенчанной цветами,
Иль гордого осла над лирой золотой?

Но тот, кто подлинно достоин восхваленья,
Не вызовет у нас ни смеха, ни глумленья,
Зане хвала ему — награда за труды.

Чураюсь я имен, вогнать способных в краску,
Но имя нежное владычицы Наваррской
Не устаю, Морель, твердить на все лады.

Перевод Анны Курт

Андрей Шарый

Мы как герои, герои как мы

Опыт возвращения в несоветское детство

Повторение непройденного

Целое пятилетие моей взрослой жизни оказалось возвращением в детство-отрочество-юность. Наконец-то нашлось время восполнить пробелы в советском восприятии действительности: прочитать не по моей лености в свое время не прочитанное и досмотреть не по моей вине в свое время недосмотренное. Итогом этого практикума стали пять книжек-исследований под разноцветными обложками, посвященные запретным или полузапретным в СССР знаменитым героям мировой массовой культуры — французскому преступнику Фантомасу, вождю индейского племени апачей Виннету, калифорнийскому разбойнику Зорро, трансильванскому вампиру Дракуле и британскому супершпиону с лицензией на убийство Джеймсу Бонду[1].

Эти книги — развернутый список сожалений по поводу непройденного. Детство давно кончилось, но его кумиры все еще здесь, они остаются с нами. Выбор героев произвольный, для каждого свой, но если он из советского прошлого — то непременно путаный, как путаным был мир советских и 60-х, и 80-х годов, только наполовину состоявших из отважных пионеров и несгибаемых комсомольцев. Пустоты этого иногда симпатичного, но все же во многом фальшивого ми-

© Андрей Шарый, 2010

1. А. Шарый. Знак *F*: Фантомас в книгах и на экране. — М.: НЛО, 2007; А. Шарый. Знак *W*: Индейский вождь в книгах и на экране. — М.: НЛО, 2007; А. Шарый. Знак *Z*: Зорро в книгах и на экране. — М.: НЛО, 2008; А. Шарый. В. Ведрашко. Знак *D*: Дракула в книгах и на экране. — М.: НЛО, 2009; Н. Голицына, А. Шарый. Знак 007: Джеймс Бонд в книгах и на экране. — М.: НЛО, 2010.

ра заполняли герои иностранных романов и кинофильмов, дозволявшихся к переводу и прокату советской пропагандой. Об остальном приходилось только догадываться, остальное было изъято, выхолощено из нашего счастливого детства. Посторонним книгам Иэна Флеминга и Брэма Стокера, Джонстона Маккалли и Карла Мая, Пьера Сувестра и Марселя Аллена доступ в неокрепшие умы советской детворы и молодежи строго воспрещался. Таинственным и стопроцентно враждебным агентом 007 пугали как жупелом империалистической угрозы, порочного Дракулу превратили в символ упадка буржуазной морали. Другим выдуманным и несуществовавшим повезло чуть больше: они — Зорро, Виннету, Фантомас — пусть хотя бы в одной из реинкарнаций, но все-таки смогли попасть если не на книжную полку, так хотя бы на киноэкран.

Первый в своей жизни роман Иэна Флеминга, жгущую тело крамолу, четверть века назад я вынес под рубашкой из отдела специального хранения библиотеки МГИМО, в студентах которого состоял. "Голдфингер" был прочитан за ночь, оставив ясное чувство удивления: а почему, собственно, запрещено? отчего не издано? С вампиром Дракулой — контрабандой доставленным сквозь границу томом Брэма Стокера на английском — довелось познакомиться в ту же пору. Первоисточник Фантомаса, романы Пьера Сувестра и Марселя Аллена, освоил, когда мне было уже под тридцать, а прежде и не подозревал о существовании таких писателей. Книги Карла Мая впервые прочел в середине тех же 90-х — вслух своему маленькому тогда сыну, получая едва ли меньшее, чем он, удовольствие. А Зорро в оригинале выписал по Интернету год назад из Америки, где книга и была девяносто один год назад написана Джонстоном Маккалли.

Все эти иностранные литературные и кинематографические лазутчики — каждый в меру своих вымышленных сил, но, как показало развитие событий, вполне результативно — работали в том числе над разрушением главных мифов советской официозной культуры. Все эти одинокие бойцы великолепной пятерки мировой массовой культуры — Бонд, Фантомас, Дракула, Зорро, Виннету — занимались и занимаются до сих пор решением лишь одного принципиального вопроса. Уже не первое десятилетие, уже в которой своей ипостаси они выясняют, в каких пропорциях в мире вокруг нас соотносятся добро и зло. И в каждой книге об их приключениях, в каждом фильме об их победах и их поражениях, в каждом их подвиге правду от вымысла, фантазию от реальности, сказку от были отличает не степень концентрации зла, а скромные

возможности добра. Это только кажется, что герои не переведенных когда-то книг и персонажи запретных когда-то фильмов – из нашего детства. Взрослая жизнь просто ставит иначе те же вечные проблемы.

Логика мифа

В словаре по научному коммунизму под редакцией члена ЦК КПСС академика Алексея Румянцева массовая культура определяется, в частности, так:

Индустрия по производству культурных и идеологических стереотипов, направленных на духовную стандартизацию человека... Цель массовой культуры состоит в формировании политически пассивной личности, подчиняющейся элите и ведомой ею, лишенной способности самостоятельно рассуждать и мыслить, чуждой критическому осмыслению социальных процессов, слепо воспринимающей "духовные стандарты" буржуазного общества, теряющей черты индивидуальности, человечности, гармоничности. Буржуазные пропагандисты рассматривают массовую культуру как общечеловеческий феномен, якобы не обусловленный и не связанный с социальной структурой общества... как явление универсальное, независимое от социальной природы общества. В действительности... в самом буржуазном обществе массовой культуре противостоит подлинно народная, демократическая культура, представляющая широкие социальные слои и способствующая духовному развитию, борьбе народа за свободу, социальный прогресс и мир.

Если не обращать внимания на боевитый стиль, нравоучительность и лобовое противопоставление капитализма социализму, то постановочная часть определения, в общем, представляется правильной. Сравним его с другой дефиницией, из сегодняшнего справочника:

Массовая культура – популярная и преобладающая среди широкого слоя населения в данном обществе. Содержание массовой культуры обусловлено ежедневными происшествиями, стремлениями и потребностями, составляющими жизнь большинства населения. Рассчитана на потребление большими массами населения, что предполагает стандартизованность формы и содержания, а также ориентацию на коммерческий успех.

В румянцевском словаре по вполне понятным причинам неверно выбран принцип классификации: культура во все времена и при любых политических режимах делится не на плохую и хорошую, не на прогрессивную и реакционную — а на народную и элитарную, на массовую и авангардную.

Обратимся теперь к внеидеологическому авторитету. Михаил Гаспаров пишет:

Массовая — она и есть настоящая представительная, а элитарная, авангардная культура состоит при этом серийном производстве духовных ценностей как экспериментальная лаборатория. Греческие вазы, перед которыми мы благоговеем в музеях, были массовой культурой, глиняным ширпотребом, и драмы Шекспира в "Глобусе" были массовым зрелищем, на которое ученые-гуманисты смотрели сверху вниз... Массовая культура гораздо меньше противопоставляет себя высокой, чем высокая — массовой. Когда по библиотечным отчетам оказывалось, что Вербицкую[1] читают больше, чем Льва Толстого, то это совсем не значило, что Вербицкая и ее читатели противопоставляли себя Толстому. Это было (и есть) не противоположение, а продолжение одного и того же культурного массива.

Канонизация культурных памятников, делает вывод Гаспаров, — "дело позднее и часто случайное".

Все без исключения создатели пяти моих дорогих книжных героев — бульварные писатели, из тех, кого Михаил Салтыков-Щедрин называл "подмастерьями большой литературы". Создатель образа Виннету Карл Май — самый тиражный писатель в немецкой истории, его книги (в полном собрании сочинений 87 томов) разошлись в двухстах миллионах экземпляров. Сочинитель историй про Зорро Джонстон Маккалли поставлял широкой публике рассказы и романы о похождениях разбойника из Калифорнии в течение трех с половиной десятилетий, с перерывами. Всего из-под его бойкого пера вышли десятки романов и журнальных сериалов, опубликованных под разными псевдонимами, в числе которых был даже женский. Один из литературных отцов Фантомаса, Пьер Сувестр, умер, не отметив и сорокалетия, а вот его соавтор,

1. Анастасия Вербицкая (1861–1928) — русская писательница, автор любовных романов, публиковавшихся преимущественно в журналах. Пользовалась исключительной популярностью у массового читателя. Наибольшую известность получили романы "Ключи счастья" (в шести книгах, экранизирован в 1913 и 1917 гг.), "Иго любви", "Дух времени". После событий 1917 г. творчество Вербицкой считалось примером буржуазного распада; ее книги были провозглашены порнографическими, а в 1924 г. запрещены.

Марсель Аллен, которому судьба отпустила 85 лет жизни, создал за предолгую писательскую карьеру четыре с лишним сотни произведений. Меньшей плодовитостью отличались Брэм Стокер (он автор "всего лишь" дюжины книг) и Иэн Флеминг, основной массив литературного наследия которого — двенадцать романов и два сборника рассказов о Джеймсе Бонде. Однако писательство для них обоих не стало главным делом жизни. Флеминг занялся сочинительством, выйдя после Второй мировой войны в отставку со службы в Британской военно-морской разведке. Стокер почти четверть века трудился администратором в лондонском театре "Liceum", потом стал антрепренером бывшего директора этого театра Генри Ирвинга, а в последние годы жизни был вынужден заниматься поденной журналистикой. Ни один из портретов великих героев и великих злодеев массовой культуры не начертан кровью писательского сердца; ни один из авторов, приступая к работе, не замышлял великого романа, предназначение которого — перевернуть представление о мировой литературе. Карл Май писал, чтобы свести концы с концами, из стремления вылечить свои многочисленные, уходящие корнями в детство, комплексы, но главное — из честолюбия. Джонстон Маккалли и французская бульварная парочка сочиняли исключительно из-за денег, никогда не стыдясь и никогда не скрывая этого; Стокер — по всем вышеуказанным причинам понемногу; Флеминг — чистого развлечения и *дворянской* шутки ради. И тем не менее звезды так расположились на литературном небе, что каждый из этой полудюжины — двое французов, два британца (шотландец и ирландец), немец и американец, все представители "больших" литератур — не только создал в высшей степени примечательного и запоминающегося героя, не только открыл неограниченные просторы для эпигонства, но и заложил основу самостоятельной традиции.

Образцово-типической (а следовательно — и показательной для авторов статьи о массовой культуре из словаря А. М. Румянцева) является история появления на свет Фантомаса. Летом 1907 года известный в Париже журналист Пьер Сувестр нанял в литературные помощники студента и начинающего репортера Марселя Аллена. Вскоре в газете "L'Auto" они опубликовали по главам спортивный детектив "Пробег". Чуть позже в другой газете, "Velo", под чужими именами Сувестр и Аллен поместили пародию на собственный роман под заголовком "Провал". Соавторов отличали легкость стиля, творческая смекалка, здоровая наглость и трезвое отношение к собственным литературным способностям. "Нас объе-

диняло одно качество, – заметил в мемуарах Марсель Аллен, – мы оба скверно писали. Но если придумать интересно, публика простит авторам любые глупости и ошибки". В 1910 году парижский издатель Артем Файар предложил Аллену и Сувестру создать серию из двадцати четырех детективных романов, объединенных общими героями. Первый роман суперсерии о Фантомасе соавторы закончили в декабре 1910 года; книга поступила в продажу в феврале 1911 года. Афиши с изображением нависшего над Парижем задумчивого негодяя во фраке, в белоснежной сорочке, в черных цилиндре и полумаске, с кинжалом в руке (всемирно известная ныне работа итальянского художника Жино Стараса) расклеивали по городу, который Фантомасу суждено было с невероятной легкостью покорить. Новые тома публиковались пятнадцатого числа каждого месяца, в мягкой обложке, и продавались по грошовой цене.

Идея серии историй о гениальном преступнике и умном полицейском, в которых в последний момент зло оказывается пусть на малую толику, но все же сильнее добра, в ту пору эксплуатировалась вовсю. Париж не без оснований считал себя культурной столицей мира, Монмартр и Монпарнас поднимались к пику литературно-художественной славы. Французский книжный рынок наводняли популярные "сенсационные детективы", ни одна газета не обходилась без публикации по главам криминальных романов. Читающая публика ждала именно такого героя, как Фантомас, – зловеще элегантного, обаятельного, во всех отношениях превосходного, олицетворяющего непобедимость и притягательность Зла. Литературоведы, пусть и с немалым преувеличением, называют Фантомаса "Христом сюрреализма". Сверхреальными были и сами романы о похождениях Фантомаса. Парижский историк Доминик Калифа, консультировавший меня по тонким фантомасовским вопросам, исследовал сферу общественной безопасности во Франции периода belle epoque. Эти выкладки ученый сопоставил с динамикой спроса на бульварные детективные романы и обосновал тезис о закономерности и даже неизбежности появления фигуры Фантомаса во французском общественном сознании.

Издатель Файар быстро понял, что книги о Фантомасе – золотое дно. "Мы стали богачами и знаменитыми литераторами, не написав ни слова", – шутил Аллен. По существу, он был прав: соавторы лишь диктовали свои романы, текст распечатывали машинистки. Кому какие доставались главы, четные или нечетные, чаще всего определял жребий. Начиная работу над новым томом, соавторы в течение трех дней придумыва-

ли сюжет, затем творили порознь, после чего вместе обрабатывали и правили текст. Если времени на правку не оставалось, рукопись прямо от стенографисток уплывала в типографию. На создание романа уходило примерно три недели. В поисках занимательных историй соавторы не стеснялись заимствовать из чужих, даже очень известных, романов. К сентябрю 1913 года Сувестр и Аллен наваляли тридцать два романа, которые вышли общим тиражом более пяти миллионов экземпляров. Успех превзошел все ожидания. Киностудия "Gaumont" приобрела права на экранизацию романов S & A, и вскоре маститый режиссер, классик французского немого кино Луи Фейяд поставил пятисерийный фильм о приключениях Фантомаса.

В феврале 1914 года Пьер Сувестр заболел воспалением легких и скончался. Доделывать начатое предстояло одному Аллену. Он писал о Фантомасе как заведенный, параллельно продолжая работу над другими бульварными сериями. В одиночку Аллен сочинил одиннадцать романов о Фантомасе, последний — в 1963 году. Когда его спрашивали, не хочет ли он окончательно расправиться со своим героем, писатель отвечал: "Рукопись романа, в котором умирает Фантомас, я перед смертью положу в свой гроб. Мы скончаемся вместе". Писатель умер на рубеже 70-х годов, успев посмотреть киносериал Андре Юнебеля с Жаном Марэ в роли неуловимого преступника и Луи де Фюнесом в роли вечного преследователя Фантомаса. В этих фильмах Фантомас, давший в 1930 и 1940-е годы сюжеты для десятка кинолент, еще до того превращенный Гийомом Аполлинером и Андре Бретоном в опору творческой идеологии сюрреализма, а после того вдохновивший карикатуристов многих стран на создание целых книг комиксов, переродился в персонаж, шутовская слава которого оказалась устойчивее изначального зловеще-трагического образа.

Примерно вот так, из пучины pulp fiction, обычно и рождаются большие герои массовой культуры. Первый из романов Джонстона Маккалли о Зорро, "Проклятье Капистрано"[1], опубликовал по главам в августе и сентябре 1919 года американский журнал "All-Story Weekly". Отдельным изданием и под другим, более удачным, заголовком, "Знак Зорро",

1. Сан-Хуан-Капистрано-де-Сахавит — францисканская миссия, самое большое из двух десятков поселений, основанных в последней трети XVIII — начале XIX веков испанскими колонизаторами в Калифорнии. В окрестностях этой миссии, названной в честь проповедника Джованни ди Капистрано, и проводил свои операции неуловимый Зорро.

этот роман вышел в 1924 году; к тому времени Z-героя уже прославил киноактер Дуглас Фербенкс, выпустивший на экраны авантюрный фильм с тем же названием. В общей сложности Маккалли, литератор средней руки, посвятил Зорро четыре романа и пятьдесят семь рассказов и новелл. "Подобно Зорро, который использовал стальной клинок для игры с врагами, Маккалли применил стальное перо, чтобы сделать книжные приключения инструментом поиска справедливости", — точно подметил литературный критик. При жизни автора (он скончался в 1958 году) истории о Зорро вышли на двадцати шести языках; аудиторию этих произведений критики оценивали в пятьсот миллионов человек.

Автор популярных серийных историй для развлекательной периодики Карл Май опубликовал первый роман о Виннету, в который включил фрагменты своих ранних произведений о североамериканских приключениях, в 1893 году. Карл Май отличался столь же невероятной, как и его французские коллеги Сувестр и Аллен, скорописью: менее чем за двенадцать месяцев он сочинил о Виннету три романа объемом в без малого две тысячи страниц. Для мира бульварной литературы, впрочем, это не было рекордом. К концу своей саги Май обратил вождя язычников-апачей в христианство, а потом умертвил его пулей злого индейца-сиу Огненные Губы. Но память о Виннету жила: после того как немецкий романист, прежде так убедительно описывавший то, чего никогда сам не видел, посетил Соединенные Штаты (хотя и не доехал до территории апачей в Аризоне), Май посвятил благородному вождю еще одну книгу, "Наследники Виннету". Вождь апачей действует как второстепенный герой или хотя бы упоминается еще в десятке книжек Карла Мая. А приключениям самого любимого своего героя и альтер эго, немецкого покорителя прерий Олда Шеттерхэнда, Май посвятил шестнадцать произведений. За гибель брата по крови охотник Чарли (Карл) Разящая Рука рассчитался с индейцем Огненные Губы по-лермонтовски: словно купец Калашников, свалил противника насмерть ударом кулака.

Отставной разведчик и сотрудник медиа-концерна "Kemsley Newspapers" Иэн Флеминг приступил к созданию дебютного романа о Джеймсе Бонде в 1952 году. "Казино 'Royal'" был написан за восемь месяцев и появился в продаже в апреле 1953-го. С той поры и до внезапной смерти от инфаркта в 1964 году автор аккуратно, чтобы успеть к пасхальным праздникам (когда потенциальные читатели активнее путешествуют), заканчивал очередной роман. Иногда по заказам журналов или кинокомпаний Флеминг сочинял еще рас-

сказик-другой, а, когда накапливалось с полдюжины, укладывал их под одну обложку[1]. Эти книги примерно равного объема (250–300 страниц новомодного тогда карманного формата, десять-двенадцать простых для чтения и восприятия главок) продавались в недорогих изданиях, печатались на дешевой бумаге, выходили всегда в мягких обложках — идеальное чтиво в транспорте, в очереди к парикмахеру или зубному врачу, на пляже или в постели перед сном. Интересно, что Флеминг иногда отходил от "золотого стандарта", идеального жанра и объема — чтобы, удостоверившись в бессмысленности таких экспериментов, вернуться к проверенному опытом рецепту успеха. Десятая по счету книга об агенте 007 "Шпион, который меня любил" (1962 год) — не шпионский роман, а мелодрама, рассказанная от лица влюбленной в британского секретного агента красавицы Вивьен Мишель. Флеминг счел книгу неудачной; носящий это имя фильм с Роджером Муром в главной роли появился в прокате в 1977 году и связан с литературным первоисточником только заголовком. Роман 1963 года "На секретной службе Ее Величества" (экранизирован в 1969-м с участием актера Джорджа Лейзенби) оказался почти вдвое больше по объему, чем другие эпизоды книжной серии, поскольку автор вдруг решил нарисовать развернутый психологический портрет главного героя. Критика и читатели приняли эту книгу прохладно. Однажды Флеминг написал изящную новеллу в стиле Сомерсета Моэма. Этот рассказ, "Квант милосердия", не имеет со снятым в 2008 году фильмом с Дэниелом Крейгом в главной роли сюжетного сходства. Джеймс Бонд здесь — не главное действующее лицо, а внимательный слушатель поучительной истории о чужих любви и ненависти, рассказанной губернатором Багамских островов. Сама по себе новелла неплоха, но в ряду произведений об агенте 007 она выживает только в общем строю бондо-книг со стилизованными обложками.

В случае изменения творческих планов, усталости или, не дай Бог, кончины автора о продолжительности жизни его персонажа неизменно заботятся эпигоны (в последние деся-

1. В вышедший в 1960 г. сборник рассказов "Только для ваших глаз" (установившийся в русскоязычной традиции вариант перевода; точнее было бы — "Разглашению не подлежит") Флеминг включил пять рассказов, три из которых написаны в качестве телесценариев по заказу компании Си-би-эс. Название этой книги получил снятый в 1981 г. двенадцатый эпизод кинобондианы с Роджером Муром в роли агента 007. Второй сборник, "Осьминожка" (фильм с таким названием с тем же Роджером Муром вышел в 1983 г.), включивший четыре новеллы, был подготовлен к печати после смерти Флеминга и вышел в 1966 г.

тилетия и во все возрастающей степени — вовсе не обязательно литературные). Во втором десятилетии XX века в самый мощный ракетоноситель популярного искусства превратился кинематограф (первые экранизации романов о Фантомасе — 1913 год, первые экранизации книг Карла Мая — начало 1920-х, первый кинофильм о Зорро — 1920-й, первая "пиратская" киноинтерпретация "Дракулы" — 1922-й, первая классическая экранизация книги Стокера — 1931 год), размышления о роли которого в продвижении и развитии массовой культуры давно превратились в самое общее место. Ныне без масштабной и дорогой (бюджет единицы продукции — от 100 миллионов долларов) киноподпитки ни один из самых могучих героев прошлого полноценно существовать не в состоянии. Вот иллюстрация: уже три десятилетия "голодным пайком" перебивается Фантомас, ведь последняя к сему моменту экранизация романов Сувестра и Аллена относится к 1980 году (цикл короткометражных телефильмов Клода Шаброля и сына испанского мэтра Хуана Луиса Бунюэля). Несмотря на то что французский злодей и ныне остается активно действующим и глубоко уважаемым бойцом глобального масскульта — в Париже несколько лет назад о Фантомасе поставили мюзикл, на западном побережье США дает концерты рок-группа "Fantomas", в Мексике запустили новый сериал комиксов, классические романы и их интерпретации аккуратно переиздаются по всему миру, — по большому счету, о Гении преступлений мало что слышно. Но представьте, что случилось бы, если бы в 2002 году режиссер Фредерик Форестье все-таки осуществил бы, как о том уверенно сообщала пресса, новую экранизацию романа с Жаном Рено в заглавной роли... Или, наоборот, — представьте, как драматически сложилась бы судьба Зорро, если бы режиссер Джеймс Кэмерон не нарядил в черную маску мстителя Энтони Хопкинса и Антонио Бандераса. Ясно, что несущую конструкцию бондианы составляют старые и новые кинофильмы компании "Eon Productions" (к съемкам двадцать третьего эпизода киноэпопеи готовится приступить сейчас режиссер Сэм Мендес), хотя с момента смерти Иэна Флеминга только в 1980 и 2003-м годах в свет не выходили созданные "официальными" последователями британского писателя романы о приключениях агента 007. Обороты эксплуатирующей образ Бонда многопрофильной индустрии — от игрушек и видеоигр до галстуков и трусов — сами по себе составляют сотни миллионов долларов. В видеотеке фильмов о Дракуле — более шестисот (вампирской тематике в целом посвящено по крайней мере две тысячи кинолент), и ясно, что романы Энн Райс и Стефани

Майер не продавались бы тоннами в любом книжном магазине, не выйди на экран "Вампирские хроники" с Томом Крузом и Бредом Питтом и не случись у создателей клюквенной киносаги "Сумерки" – "Новолуние" попадания в солнечное сплетение подростковой аудитории.

Герой и преступник на последней странице и в последнем кадре исчезают только для того, чтобы вернуться. Однако серийность для жизнеобеспечения подлинного кумира массовой культуры хотя и горячо приветствуется, но не то чтобы непременна. Брэм Стокер, например, не стал запускать Дракулу в серийное производство. Роман (работу над которым автор неторопливо вел несколько лет) вышел в 1897 году и почти сразу был переиздан в мягкой обложке в "популярной шестипенсовой библиотеке" Великобритании. Теперь этот роман – самая высокотиражная книга в истории литературы после Библии. Помимо своего главного знаменитого произведения, ирландский писатель посвятил вампирам изданный посмертно рассказ "Гость Дракулы", который литературоведы считают предисловием к роману, не включенным в текст из-за возражений издателей, и (отчасти) еще один роман, вышедшую в 1909 году книгу "Леди в саване". Другое дело, что к концу XIX века вампиры уже утвердились в качестве серийных персонажей европейской массовой культуры, хотя именно в творении Стокера они впервые предстали во всей полноте своей зловещей красоты.

В отличие от Сувестра–Аллена, Флеминга, Маккалли, *выдумавших* традицию, Стокер вывел на дорогу большой литературы образ, давно бродивший в дебрях готической культуры. Поклонники нового эталона девичьей красоты уже любовались картиной живописца Филипа Берн-Джонса "Вампирелла", определивший каноны внешности женщины-вамп. Интерес к восставшим из гроба мертвецам в лондонских салонах активно поддерживал эксцентричный аристократ по имени Эрик Станислаус Стенбок, автор упаднических стихов и распространявшихся в списках фантасмагорических рассказов на темы загробной жизни. Еще в 1847 году (как раз год рождения Стокера) в Лондоне отдельной книгой вышло первое крупное прозаическое произведение о вампирах, выполненное в развлекательном жанре. Издатель Эдвард Ллойд объединил под общим переплетом цикл "Варни-вампир, или Кровавый пир", получивший поначалу популярность в виде брошюр так называемых грошовых романов ужасов.

Простое сопоставление историй возникновения мировых бестселлеров и биографий их авторов наталкивает на вывод о том, что интимный акт зачатия знаменитости масскульта пре-

допределен в первую очередь не писательским талантом (достаточно и мастеровитости), а совпадением литературных случайности и удачи с переломными общественными обстоятельствами. "Дракула" – и стилистически, и идеологически – поздневикторианский роман, подводящий черту под эпохой всемирного британского господства, знаменовавшей окончание тех островных реформ, после проведения которых Ее Величество королева только "царствует, но не правит". Первый и главный цикл из романов о Фантомасе создан накануне Первой мировой войны и увядания французской культурной моды в континентальной Европе. Образ Зорро родился, когда Соединенные Штаты утверждались в качестве ведущей экономики мира; когда военный синдром лечили воспоминаниями о старых добрых временах "той справедливости, что выше закона"; когда актуализировался вопрос о равноправии женщин и введении всеобщего избирательного права. Иэн Флеминг писал свои романы в разгар холодной войны; мир той поры в страхе ожидал начала Третьей мировой. Временной период, опыт которого осмысляется в книжной бондиане, – это еще и пора развала британской империи, еще и пора окончательного формирования двухполюсной системы в мировой политике.

Так что, если хотите создать знаменитого героя масскульта – ждите подходящего момента да выдумывайте такого, который умудрится в два счета найти ответ на самые актуальные вызовы окружающей читателей и зрителей повседневной реальности. Мечтаете войти в историю популярной литературы – сочиняйте не великий роман, а составляйте энциклопедию общественных страхов и массовых фобий: политических, экономических, сексуальных, национальных, гендерных, психологических – всех, какие только возможны. Обратите внимание еще и на то, что фоном для этой вашей книги могут стать только две декорации: столкновение цивилизаций либо освоение девственного пространства. Как гласит название романа другой массовой культуры – той, что по душе авторам марксистско-ленинских словарей, – "Третьего не дано".

Heaven vs. hell[1]

Архетип героя масскульта описан столь подробно, что нет смысла в излишней его детализации. Известна и главная сю-

1. Рай или Ад (*англ.*).

жетная схема похождений героя: Мудрец вступает в борьбу со Злом за спасение Мира, для чего он должен совершить Великий Поход с посещением всех Страшных Мест, и получает в награду за победу Дочь Царя[1]. Все остальное — вариации на тему.

Знаменитые персонажи масскульта, даже внеземные ее создания, — герои христианской культуры, их образы так или иначе сводятся к упрощенным библейским парадигмам и отправляют читателя и зрителя к фигурам Спасителя (Мученика), карающего Меча Господня и противостоящего им Антихриста. Поскольку рациональное сознание не способно обойтись без логики мифа, то массовую культуру можно расценивать как "новую религиозность" со своим пантеоном божеств и своей преисподней. Некоторые авторы следуют этой схеме по-детски старательно. Карл Май, к примеру, фактически превращает язычника и воина Виннету в Иисуса Христа. Вождю апачей и его бледнолицему брату по крови противостоит в прериях пестрая дюжина мелких выродков, самый злобный и изобретательный из которых, предводитель шайки головорезов Сантэр, конечно не дотягивает до роли Сатаны, но вполне мог бы стать его старательным подручным. Фантомас в романах Сувестра и Аллена открыто и целенаправленно глумится над католической церковью — убивает священников и сам переодевается в священника, чтобы убивать; одну свою умерщвленную жертву злодей подвешивает к языку церковного колокола, чтобы перед началом мессы оросить прихожан дождем из крови и бриллиантов, высыпавшихся из карманов несчастного. А кто такие Джеймс Бонд, инспектор Жюв (книжный вариант[2]), Зорро, Олд Шеттерхэнд, если не Карающий Меч? Кто такие Фантомас и Дракула, если не отродья Дьявола?

Доведение этой схемы до логического конца превращает ее в карикатуру. В англо-американском кино в конце 1930 — начале 1950-х годов получил распространение поджанр "мультимонстр": сценаристы в рамках одной истории объединяли сразу несколько известных своими злодейством или уродством персонажей — в кадре сходились, скажем, доктор Джекил, чудовище Франкенштейн, мумия Харис и вдобавок

1. Формулировка культуролога Анны Костиной.
2. В отличие от кинокомедий Андре Юнебеля, в которых полицейский Жюв предстает уморительной фигурой, герой литературного первоисточника — лишенный иронии положительный персонаж, "лучший сыщик Франции". Инспектору (не комиссару) Жюву авторы романов о Фантомасе даже не стали придумывать имени. Точную характеристику этому герою дал в романе судья Фузелье: "Жертва долга".

какой-нибудь Человек-волк. По мере того как времена становились более безбожными, режиссеры смелели. В фильме Патрика Люссьера "Дракула-2000" (1999 год) вампир и есть сам Антихрист – не нашедший упокоения из-за библейского предательства Иуда Искариот, которому своевременно не удалось повеситься на ветке осины и, соответственно, раскаяться. Этот Дракула бросает Господу открытый вызов: "Ты создал мир по своему образу и подобию, а я его переделываю". Только через два часа заполненного различными ужасами экранного времени бедолага смог получить прощение Всевышнего и успешно удавиться кабелем, подводящим электричество к огромному светящемуся распятию. Другая (и куда более удачная) киноимпровизация на темы романа Брэма Стокера, фильм-балет канадского режиссера Гая Мэддина "Дракула: Страницы из дневника девственницы" (2002), перевернув классический сюжет с ног на голову, оставляет его в рамках той же схемы. Дракула, романтический гость-мученик с Востока, гений любовного пируэта, уничтожен едва оторвавшимися от земли посредственностями во главе с доктором Ван Хелсингом. И это при том, что голландский профессор даже в далеких от стокеровского канона версиях неизменно выступал в роли "левой руки Господа". В популярной ленте Стивена Соммерса "Ван Хелсинг" с австралийцем Хью Джексоном в главной роли (2004) образ охотника на вампиров прямо восходит к фигуре архангела Гавриила.

Применительно к болтам и гайкам литературного творчества матрицу успешного популярного романа в середине 1960-х годов научным образом очертил Умберто Эко, тогда еще не автор "Имени розы" и "Маятника Фуко", а молодой историк-медиевист и специалист по семиотике. В сборнике под его редакцией "Дело Бонда", "Il caso Bond", образ агента 007 впервые подвергнут серьезному исследованию в качестве культурного и социального феномена. Эко написал для этой книги обширную статью под названием "Нарративная структура романов Флеминга", где проанализировал содержание книг о Бонде и расклассифицировал сюжетные ходы, которые применял их автор, – "М дает задание Бонду", "Бонд соблазняет девушку", "007 вступает в схватку со злодеем" и так далее. Таких типических действий, каждому из которых присвоена буква латинского алфавита, насчитывается девять; любая книга, таким образом (за исключением любовного, а не приключенческого романа "Шпион, который меня любил"), описывается формулой вроде ABCDEFGHI ("Доктор Ноу") или BCDEACDFGDHEHI ("Голдфингер"). В этом чередовании элементов и их повторяемости от романа к роману, ут-

верждал Эко, кроется один из секретов популярности Флеминга: "Читатель следует правилам игры, в которых легко ориентироваться".

Подлежат несложной классификации и главные "идеологические" элементы любого бестселлера и блокбастера – как и основные черты характера его главных героев. Посмотрите, как много общего:

007 – (политическая) победа добра; неистребимость зла; миссионерская роль Великобритании, борьба цивилизаций (демократической и тоталитарной – в книгах и ранних фильмах; борьба с терроризмом в разных его обличьях – сейчас), маскулинность, благородства;

Фантомас – неистребимость зла; предчувствие гибели старой традиции; маскулинность; отсутствие у главного героя моральных рамок ("не-благородство"); мелодраматическая романтика;

Зорро – сиюминутная победа добра; регенерация зла; историческая романтика; гибель старой традиции; освоение нового пространства, борьба цивилизаций; маскулинность; благородство;

Индейский вождь – трагедия благородства; утрата первородной культуры; освоение нового пространства; борьба цивилизаций; мелодраматическая романтика; инакость;

Дракула – бессмертие зла; абсолютизация зла; победа смерти; борьба цивилизаций; миссионерство англосаксонского мира; эротика смерти; инакость, диссидентство.

Главный и исключительный герой любого сколько-нибудь значимого произведения масскульта – непременно мужчина. Он решает двуединую задачу Искателя-Мудреца: завоевывает пространство и попутно покоряет женщину, что, как оказывается, в сущности, одно и то же. Если кто-то из писателей и сценаристов разнообразия ради и предпочтет мужчине женщину, то эта красотка непременно наделяется мужским характером и мужским поведением; отсюда все эти "сестры Зорро" и "дочери Дракулы", типажи которых неотличимы от "отцов", "братьев" и "сыновей".

Наиболее комплексно "концепция конкистадора" воплощена в историях Джонстона Маккалли, уж больно специфический литературный материал избрал создатель образа Зорро для художественного осмысления. Хотя Маккалли вряд ли ставил перед собой задачу соткать достоверное историческое полотно, он хорошо представлял себе Калифорнию начала XIX века. Писатель верно подметил, что калифорнийские ранчо были организованы по принципу феодальных европейских владений, в которых патернализм сочетался со стро-

гой социальной иерархией. Переселенцы берегли испанские традиции, как фамильное серебро. Принадлежность к аристократии определялась благородством рода, богатством, закреплялась скрупулезным следованием законам католической морали и ритуалам поведения своего класса. Эти обстоятельства нашли отражение и в историях о едином в двух лицах Зорро: при солнечном свете он – избалованный и бесполезный сын богатого плантатора, при лунном сиянии – благородный разбойник-ловелас и защитник обездоленных. Этот Диего Вега приступает к ухаживаниям за своей суженой Лолитой только по настоянию отца. Делая предложение сеньорите, Диего говорит ее родителю дону Карлосу Пулидо: "В ваших жилах течет благородная кровь. Естественно, когда мужчина из семейства Вега решает свою судьбу, он ищет женщину прекрасных кровей". Не раз и не два автор напоминает, что настоящие дворяне в своих помыслах и поступках подчиняются зову голубой крови. Люди низкого происхождения такого зова вовсе не слышат.

Освоение испанцами Нового Света обострило кастильское представление о мужественности. Сформировался особый тип завоевателя, "взламывающего" девственное американское пространство; такой мужчина постоянно ищет борьбы и насилия. Презрение к смерти для этого храбреца есть оборотная сторона его отношения к женщине как главному объекту подчинения. Зорро – не только квинтэссенция мужского начала; черная маска скрывает его комплекс неуверенности в себе. "В тот момент, когда я надевал шляпу и маску, изнеженный дон Диего умирал во мне. Мое тело наливалось силой, новая кровь текла по моим венам, мой голос становился громким и сильным, в меня вселялся огонь" – так в конце романа сеньор Вега говорил о причинах своих превращений.

Аристократизм, обычно подтвержденный происхождением, но, на худой конец, просто обусловленный особенностями "необычной натуры" – непременная составная часть образа любого настоящего героя масскульта. О Виннету и говорить нечего, слово "благородство" – главный эпитет, который использует Карл Май для характеристики своего героя-язычника. Предки Джеймса Бонда – родовитые шотландские дворяне, на гербе которых начертан девиз "Orbis non sufficit – И целого мира мало". Из этого следует: агент 007 – денди и джентльмен, что Иэн Флеминг старательно доказывает в пространных описаниях нрава, образа жизни и привычек своего героя. Пьер Сувестр и Марсель Аллен, рассказывая о прошлом отличающегося безупречными манерами Фантомаса, упоминают, что впервые этот знаменитый преступник появился в об-

ществе в облике эрцгерцога Жана Норта. Его сын (тоже порядочный подлец) именуется князем Владимиром, в числе возлюбленных Фантомаса сплошь великосветские дамы — либо голландская принцесса, либо русская княжна, а если и попадется цирковая актриса, то конечно же сбежавшая от своего отца-барона. Загробный аристократизм древнего трансильванского дворянина Дракулы, по убеждению Брэма Стокера, — столь же заметное качество его характера, как и страсть к живой крови. Да и можно ли представить себе Дракулу-плебея?

Все эти замечательные характеры — и злодеи, и добротворцы, и исчадия ада, и Богу почти равные — стоят на защите позиций привилегированного класса. Главный положительный герой массовой культуры — благородный разведчик, отражающий на дальнем фронтире нашествие неведомых полчищ. Он гарантирует нам спокойствие, делает мир понятнее и проще. В отличие от злого героя, которому не терпится изменить положение вещей и баланс сил в мире, он — хранитель традиции, а не герой прорыва. Коммандер Бонд, консерватор до мозга костей, искренне предан Ее Величеству королеве. В борьбе с советским тоталитаризмом 007 обороняет старую добрую Англию от чумы коммунизма и международных террористов, как это делал, защищая викторианскую Британию от трансильванского чудовища, голландец Ван Хелсинг. Подвиги Зорро и вовсе не стирают социальные границы в Калифорнии. Виннету вроде бы мечтает об обществе всеобщего равенства, ожидающем его в Стране Вечной Охоты, однако понятно, что и во владениях Маниту вождь апачей останется представителем родоплеменной знати.

Разнонаправленные, но во многом похожие характеры объединяет еще и повышенная чувственность: все эти графы, кабальеро, офицеры и джентльмены наивны, как маленькие дети, жестоки и одновременно чудовищно сентиментальны. Смерть и убийство — их общее ремесло, но оно не мешает Зорро восторгаться свежим калифорнийским рассветом и розовым кустом, а Дракуле — умиляться по поводу ночного воя волков; у каждого своя мелодрама. Желание насилия в культуре психологи считают свидетельством безопасного детства. Залюбленный и заласканный ребенок всю взрослую жизнь "добирает" через массовую культуру жестокости и ужаса. Недолюбленный и недоласканный — восполняет чтением популярных романов и просмотром популярных кинофильмов нехватку сантиментов.

Не только книга о Зорро — роман с переодеванием; не один лишь калифорнийский разбойник до последнего скрывает свою суть. Это повелось еще от Робина Гуда. Дракула в

этом отношении — всего лишь старательный ученик английского йомена Робина из Локсли. В каждом романе переживает превращения "по долгу службы" Джеймс Бонд. Визитная карточка сотрудника внешнеторговой компании "Universal Export", "крыши" британской разведслужбы МИ-6 — самая простенькая "черная маска" секретного агента. В искусстве перевоплощения Бонда способен превзойти только гений преступлений Фантомас, предстающий перед читателем в облике предпринимателя Этьена Ромбера, американского детектива Тома Боба, русского морского офицера Ивана Ивановича, безымянного рыжего коридорного, немецкого дипломата барона де Наарбовека, даже императора Николая II. Фантомас — герой без истинного имени и лица, он везде и нигде, он нереален и сверхреален, неминуем и вездесущ. Он, как и Дракула, есть воплощенное Зло.

Электрическая дуга любого приключенческого романа питается лобовым столкновением плохого и хорошего. Зло в настоящем бестселлере всегда разнообразнее, изобретательнее, привлекательнее Добра. Зло непобедимо и неуничтожимо, потому что Добро без него невозможно. "Самое ужасное то, что зло глубоко коренится в добре", — говорит профессор Ван Хелсинг. "Твое зло в том, что ты не можешь быть злым", — кричит маленькая вампирелла Клодия своему создателю, доброму кровопийце Луи де Пуан дю Лаку (Бред Питт) в фильме "Интервью с вампиром". Пьер Сувестр и Марсель Аллен выстраивают характеры Фантомаса и Жюва, замыкая круг: Фантомас убивает инспектора Жюва, но тот не умирает, а сам убивает Фантомаса, тот остается жив и мстит. В тридцать втором томе сериала, захлебываясь в волнах во время гибели парохода с симпатичным названием "Гигантик", Фантомас кричит: "Жюв, ты никогда не мог меня убить, потому что ты — мой брат!"

И плохие, и хорошие любят вступать друг с другом в пространные дискуссии на абстрактные темы, вместо того чтобы побыстрее закончить дело точным выстрелом или ударом шпаги. В романе (и фильме) "Человек с золотым пистолетом" Джеймс Бонд разворачивает с матерым злодеем Франсиско Скарамангой долгий философский спор о том, в чем разница между работой секретного агента с лицензией на убийство и занятием киллера. Разговор идет на равных, Бонд и Скарамангa беседуют, как профессионал с профессионалом. Вообще уважение к самому расподлому противнику, если только он наделен должными жестокостью и коварством, — непременная часть ремесла полицейского, шпиона, охотника за вампирами или покорителя прерий. Не зря во враги Бонду подобраны агенты самых мощных коммунистических разведок; не случай-

но Иэн Флеминг наделил главаря международного терроризма, лидера преступного синдиката S.P.E.C.T.R.E. Эрнста Ставро Блофельда, самыми превосходными интеллектуальными и бойцовскими качествами — все это помогает оценить по достоинству уровень мастерства самого 007. Величие подвига невозможно постичь, если недооценен масштаб угрозы. Ван Хелсинг говорит о Дракуле: "Он обладает большим умом и незаурядными способностями. Он изучал даже схоластику и, кажется, не было такой науки, с которой он не был бы знаком. Если бы мы не встали на его пути, он сделался бы родоначальником новых существ, которые будут пребывать в смерти, а не в жизни".

Цель Зла всегда — завоевание мирового господства (всевластия над людскими душами). Писателю-классику необязательно раздвигать границы приключенческого мира до галактических пределов, рано или поздно это сделают его эпигоны. Джонстон Маккалли ограничил столкновение Добра и Зла территорией и интересами Калифорнии, но его последователи пошли дальше. В фильме "Легенда Зорро" (2002) благородный разбойник борется не против отдельно взятого истеричного испанского капитана — он противостоит возникшему еще в Средневековье ордену Дракона, который стремится помешать Соединенным Штатам утвердиться в роли ведущей мировой державы. Действие кинокартины "Дракула-3000: Бесконечная тьма" (2004) разворачивается на палубе советского космического корабля "Деметр", следующего на Землю с планеты Трансильвания с грузом вампиров. Тут открываются совсем другие пределы Ойкумены. В 1990-е годы английский писатель Ким Ньюмен выпустил пять романов серии "Anno Dracula": граф-вампир, перебравшись в Великобританию, женился на Ее Величестве королеве Виктории, а потом захватил власть над островами, устроив в Лондоне что-то вроде царства смерти. Вдохновленный успехами покорителей космоса кино-Бонд (Роджер Мур) в 1979 году поднялся на околоземную орбиту, чтобы помешать главному негодяю фильма "Лунный гонщик" Хьюго Дрэксу вывести в условиях невесомости расу киберзлодеев.

Место, время и обстоятельства столкновения Добра со Злом значения не имеют, правила этой бесконечной схватки определены. Зло всегда есть нарушение морального правила, отклонение от нравственной нормы, а Добро есть норма, за восстановление которой и сражаются герои со знаком "плюс". Об этом точно сказал писатель Михаил Шишкин: "Предполагается, что до того, как преступник совершит злодеяние, до появления первого трупа, в мире существовала некая гармо-

ния. Потом она нарушается, и сыщик не только находит убийцу, но и восстанавливает миропорядок". Спутница этого миропорядка — скука. Пресен образ профессора Ван Хелсинга, скучен положительный инспектор Жюв. Чтобы совершить подвиг и прервать серую череду будней, герои Карла Мая только и мечтают, как бы нарваться на опасное приключение. Невыразительно времяпровождение Джеймса Бонда, когда агент 007 не занят героическими свершениями. Флеминг пишет: "Задания, требующие специфических навыков, поступали не чаще двух-трех раз в год. Все остальное время Бонд вел жизнь не слишком перегруженного делами правительственного служащего. Гибкий рабочий график с девяти до шести; ланч, как правило, в местной столовой; вечера за карточной партией с немногими близкими друзьями; иногда — хладнокровные любовные игры с одной из трех замужних дам одинакового с ним социального положения, на уик-энды — гольф по высоким ставкам в одном из клубов неподалеку от Лондона". Бонд делается бодр и интересен, только когда в интересах высшей справедливости преступает черту обыденности.

Зло было и будет притягательнее Добра, потому что Зло есть воплощение свободы. Зло совершенно, комплексно и абсолютно — его следствием и партнером является бесконечная Смерть, а Добро защищает лишь скоротечную жизнь, которая если и продолжится вечно, то станет не в радость. Смерть — самый большой страх человека, Зло — главный ее часовой. Зло всемогуще и неотвратимо — Добро компромиссно и нерешительно. Даже если Добро и оказывается с кулаками, то для победы над Злом ему приходится преступать свою главную заповедь: не убий. Добро есть запрет и самоограничение, умеренность и разум, берущий верх над хотением, а Зло — вседозволенность и все остальное, что иногда так желанно, но чего делать нельзя. Зло — в конце концов огонь и ничем не скованная страсть, а Добро — умеренность во всем. Добро неизменно находится в обороне, Зло всегда атакует. Чтобы продемонстрировать силу, Добру нужен вызов Зла. Зло всегда элегантно, обаятельно, эротично, никогда и ни в чем не сомневается. Дракула-Фантомас неуловим и бессмертен, потому что не связан соображениями нравственности, а его преследователи в первую очередь руководствуются императивом морали. Читателю романа Стокера уже давно понятно, какую угрозу человечеству представляет собой трансильванский граф, а профессор Ван Хелсинг все множит высоконравственные аргументы, дающие команде охотников за вампирами моральное основание расправляться с неумирающими самым лютым образом. Добро обязано быть благородным и чуть простодушным, слег-

ка несчастным и беспрестанно стоящим перед выбором. Поэтому оно неспособно одержать окончательную и бесповоротную победу ни в одной схватке; Зло регенерирует, как хвост ящерицы. Получается круговорот без начала и конца: Фантомас неуловим, Дракула неубиваем, 007 неотвратим, Виннету неустрашим, Зорро непобедим.

Коммунистический ответ

Почему ни для одного из главных героев масскульта русский язык не родной, почему ни один из них не умеет разбирать кириллицу?[1] Потому что в русской культуре – вплоть до последних двух десятилетий – популярная традиция по разным причинам не оказывалась главенствующей. Потому что большую часть XX века Россия отгораживала себя от мирового культурного процесса. Москве не под силу воспитать своего Дракулу и своего Зорро. В идеологизированном СССР это было исключено по определению; дореволюционная и постсоветская Россия отставала и отстает от мировых лидеров по большинству ключевых показателей, оказывающих влияние на формирование высокой массовой культуры. Среди таких параметров – адаптационные возможности языка, экономический потенциал, мощь литературной и кинематографической индустрии, популярность страны и ее культуры в мире. У Штирлица нет ни малейших шансов в соревновании с Джеймсом Бондом. Эрасту Фандорину[2] не справиться с инспектором Жювом, Насте Каменской не одолеть Роберта Лэнгдона, а часовым ночного дозора не сравниться с аватарами.

В царской России и Виннету, и Фантомас, и Дракула были личностями довольно известными. Первые переводы произведений Карла Мая были в 1891 году опубликованы в издательстве Ивана Сытина. Роман "Виннету" отдельной книгой вышел в 1910 году в издательстве Петра Сойкина. "Дракула" впервые опубликован тремя годами позже в библиотеке петербургского "Синего журнала". Фильмы Луи Фейяда о Фан-

1. За исключением освоившего не менее десяти языков Джеймса Бонда. Роджер Мур и Пирс Броснан произносили с экрана по паре реплик на русском – оба говорили с тяжелым британским акцентом.
2. Георгий Чхартишвили подтвердил мое предположение о том, что, подбирая имя главному герою своих знаменитых в России романов, он воспользовался ("исключительно для того, чтобы увести читателя по ложному следу") традицией Пьера Сувестра и Марселя Аллена. Один из главных персонажей серии романов о Фантомасе – парижский журналист Жером Фандор.

томасе – с титрами на русском языке, выполненными в ателье Александра Ханжонкова, – с успехом шли в кинотеатрах крупнейших городов империи. В начале 1920-х годов успел появиться на экранах Дуглас Фербенкс в маске Зорро. Потом с этими излишествами покончили.

В ответ на каждую новую высокую волну всемирной популярности того или иного представителя чуждого нам образа жизни идеологическая культура Страны Советов и ее соседей-сателлитов искала свой (пусть косвенный) способ рефлексии. Появление в 1973 году телесериала "Семнадцать мгновений весны", конечно же нельзя считать непосредственной реакцией на подвиги Джеймса Бонда: чтобы толком ответить, нужно хотя бы в общем представлять себе объект атаки. Но в мире социализма творчество Иэна Флеминга спровоцировало по крайней мере один прямой ответ: еще в 1966 году болгарский писатель Андрей Гуляшки сочинил роман "Аввакум Захов против 07". В этой книге сотрудник болгарской контрразведки без труда справлялся с агентом империализма, потерявшим один ноль в номере лицензии на убийство. Легкомысленные детективные романы Гуляшки в СССР хотя и переводили, но относились к ним с сомнением, поскольку главный герой не дотягивал по моральным качествам до партийных норм. Роман Брэма Стокера по восточную сторону "железного занавеса" экранизировали лишь однажды: в 1973 году пражскому режиссеру Анне Прохазковой удалось поставить телефильм "Граф Дракула". Зорро пережил в советской России два всплеска известности: сразу после войны в прокат вышла "трофейная" американская картина режиссера Рубена Мамуляна с Тайроном Пауэром в главной роли (снята в 1940 году), а в середине 1970-х – франко-итальянский фильм режиссера Дуччио Тессари, в котором идеалом благородства и справедливости представал любимец советских женщин Ален Делон. Но вообразить себе, чтобы в СССР разрешили к прокату, скажем, американскую кинокомедию "Зорро, Пестрый Клинок" (1982), в которой Диего Вега (актер Джордж Хэмильтон) оказался гомосексуалистом, попросту невозможно.

Первую серию вышедшей в 1964–1967 годах комедийной кинотрилогии Андрэ Юнебеля о Фантомасе, как утверждают французские справочники, в Советском Союзе посмотрели более 60 миллионов зрителей. Даже если в этих данных и есть преувеличение, феноменальный успех фильма у советской киноаудитории сомнению не подлежит. Юнебель избрал самый верный путь возвращения Фантомаса в культурный оборот, превратив трагические мелодрамы Сувестра и Аллена в буффонады с общественно-политическим подтек-

стом. Сериал о Фантомасе (намеревались снимать двенадцать эпизодов) многие критики рассматривали как асимметричный французский ответ набиравшей популярность бондиане. Результат оказался скромнее первоначального замысла Юнебеля, что не мешает рассматривать его трилогию как удачную пародию на экранизацию романов Иэна Флеминга.

В Советском Союзе кино о Фантомасе разрешили не поэтому. К Франции брежневский режим относился снисходительнее, чем к Соединенным Штатам или Западной Германии; легкое французское кино, пусть и отрывочно, было представлено на киноэкранах советской страны. Более того: в работах Юнебеля обнаружился благоприятный для Москвы социальный контекст. Чиновники буржуазного госаппарата от министра внутренних дел и комиссара Жюва до многочисленных полицейских представлены как сборище кретинов. Французский режиссер, походя, легко позволил себе высказать в адрес властей то, о чем в отношении родного советского строя даже пикнуть не осмеливался ни один официальный отечественный художник.

Однако кинопродукция Юнебеля все-таки заключала в себе большую опасность для советских пропагандистов. Фильмы о Фантомасе — яркая демонстрация привлекательности западного образа жизни. Приключения Фантомаса и Жюва в глазах жителей Владивостока и Калининграда выглядели ничуть не более фантастическими, чем те совершенно реальные кинокартинки повседневной французской, итальянской, британской жизни, на фоне которых разворачивался комедийный сюжет. Самые смелые советские представления о запредельном заграничном шике вместила в себя сцена из первой серии "Фантомаса", в которой обворожительные женщины демонстрируют открытые платья и украшения из бриллиантов на "Terrasse Martini" над Елисейскими Полями под музыку джазового оркестра. Из этих фильмов извлекали то, чего нельзя было почерпнуть из советской печати и из казенной советской культуры: новые фасоны нарядов, новые модели причесок; чужой, запретный, но столь желанный для миллионов код социального поведения.

Советских детей, как и советских взрослых, отрицательный, но симпатичный герой Жана Марэ сразил наповал, превратившись в ключевой персонаж подросткового фольклора. В середине 70-х Фантомас неожиданно вторгся в советскую реальность. В газетах скупо написали о знаменитом деле ростовского суда 1974 года — деле о бандитизме. Преступники, братья Вячеслав и Владимир Толстопятовы, а также их со-

общники Горшков и Самасюк, получили прозвища "Фантомасы", поскольку при совершении грабежей напяливали на головы женские чулки. Банда почти пять лет держала Ростов-на-Дону в напряжении, совершив за это время полтора десятка вооруженных нападений на магазины, инкассаторов, кассиров обувной фабрики и химического завода. Наконец троих преступников схватили, а "фантомас" – Самасюк был убит при задержании. Процесс получился громким, насколько мог оказаться таковым в советские 70-е. Толстопятовых и Горшкова осудили – высшая мера наказания. Комедией тут и не пахло: приговор привели в исполнение.

В том же году на советские телеэкраны вышла вторая часть трилогии о старшем лейтенанте милиции Анискине, двухчасовая художественная лента "Анискин и Фантомас". Этот иронический детектив вместе с режиссером Владимиром Рапопортом поставил исполнитель одной из заглавных ролей актер Михаил Жаров. Сценарий по мотивам своих произведений написал Виль Липатов, в конце 60-х годов опубликовавший в журнале "Знамя" цикл рассказов об участковом уполномоченном Федоре Ивановиче Анискине из сибирской деревни Кедровка. Жарову и Липатову Фантомас понадобился всего лишь как сюжетный трюк: увлекшиеся игрой во французского кинозлодея деревенские подростки, напялив черные маски-чулки, ограбили кассира, в сумке которого находилась зарплата колхозников. Ветеран партии Анискин, шестидесятилетний мудрец в милицейской фуражке, проницательный, несуетливый, вникающий во все дела, не только ловит тех, кто подбил "фантомасов" на преступление, но и пытается реализовать советскую мировоззренческую иллюзию. Федор Иванович убежден в том, что жизнь зависит от решения человека поступать правильно и разумно, и на экране ему удается подтвердить свою правоту на практике. Может быть, вмешательство Фантомаса в стопроцентно русскую историю милиционера Анискина все же неслучайно? Проза Липатова оказалась подходящей антитезой западному опыту, ведь этот писатель сочинял "исконные" русские рассказы, тщательно стилизуя речь и быт своих персонажей под народные. Анискин, подобно инспектору Жюву – "жертва долга", только понят этот долг иначе.

Пожалуй, единственным удачным с творческой точки зрения ответом социалистической культуры буржуазному искусству стала серия из двенадцати "индейских" фильмов восточногерманской киностудии "DEFA" с участием югославского актера Гойко Митича. Этот проект оказался прямой контрпропагандистской реакцией на невероятную популярность фильмов по романам Карла Мая, снятых в 1960-е годы запад-

ными немцами с югославским участием. Это было время расцвета жанра "евровестерн", в кино торжествовала мода на костюмные приключенческие ленты. Виннету в исполнении французского кинокрасавца Пьера Бриса, статный Олда Шуттерхэнд (американский актер Лекс Баркер), бравый покоритель прерий по прозвищу Верная Рука (британец Стюарт Грэнджер) завоевали киноаудиторию многих стран. Партийное руководство ГДР считало этих Виннету и Олда Шеттерхэнда опасными для нравственности молодежи — книги Карла Мая в Восточной Германии не приветствовались, хотя писатель родился и всю жизнь до самой смерти, в 1912 году, провел в попавшей по итогам Второй мировой войны в советскую зону влияния Саксонии.

Дело в том, что среди миллионов обожателей творчества Карла Мая оказался Адольф Гитлер. В 1939 году фюрер получил в подарок 65-томное собрание сочинений Мая, а цитаты из его книг иногда включал в свои выступления. Вот что писал секретарь фюрера Альберт Шпеер: "Оказываясь в сложной ситуации, Гитлер на ночь листал книги Карла Мая о Виннету. Они давали ему ту же силу, которую другим дают философские трактаты или чтение Библии". В 1943 году в фронтовые части вермахта для подкрепления морали отправили триста тысяч экземпляров романов Карла Мая. В период подъема нацизма и после прихода Гитлера к власти тексты Карла Мая подвергались заметной правке. Как заверил меня один из руководителей немецкого общества Карла Мая Ханс Грюнерт, в основном редактура сводилась к устранению фактических ошибок и длиннот, что позволяло удачнее "переводить" прежде публиковавшиеся в газетах романы в книжный формат. Однако многие литературоведы указывают: наследники Карла Мая, прежде всего его симпатизировавшая нацистам вдова Клара, делали все для того, чтобы Олд Шеттерхэнд и другие немецкие покорители новых территорий и при национал-социалистах оставались любимцами читающей публики. В 1940 году литератор-политэмигрант Клаус Манн писал в статье "Ковбой, учитель фюрера": "Олд Шеттерхэнд постоянно ссылался на Библию, якобы дававшую ему святое право истреблять представителей неполноценных рас, и Гитлер неоднократно высказывался в том же роде". Манн, считавший Третий рейх "посмертным триумфом Карла Мая", считал воздействие его книг на умы молодежи тлетворным: "Он отравил их сердца и души прославлением жестокости".

В ГДР произведения Мая не печатались, даже чтение их, как рассказывали мои немецкие собеседники старшего поколения, приводило к неприятностям. Время жесткого

идеологического противостояния — через полвека после смерти Карла Мая — превратило его в политического бойца. В ГДР, в отличие даже от Советского Союза, не показывали ни "Сокровища Серебряного озера", ни "Виннету — вождь апачей". Немцы из Восточного Берлина, Ростока, Лейпцига, Дрездена ездили смотреть эти картины в пражские и варшавские кинозалы. Идеологические послабления в ГДР произошли только в начале 1980-х, после чего книги Карла Мая, пусть и небольшими тиражами, стали издаваться, а фильмы с Пьером Брисом и Лексом Баркером вышли в прокат.

Кстати, в сталинские 30-е годы в Москве планировали выпустить многотомное собрание сочинений Карла Мая, но не успели: тесная дружба с Германией обернулась смертельной войной, и на имени писателя в Советском Союзе надолго поставили крест. Немногие закупленные для советского проката фильмы о Виннету мы смотрели, понятия не имея о том, кто выдумал вождя апачей. А восточногерманская киностудия "DEFA" в середине 60-х годов приступила к съемкам "своих" фильмов "про индейцев". У "западного" Виннету появились "восточные" аналоги в облике Ульзаны, Токей Ито, Зоркого Сокола. На Западе иронизировали: в ГДР снимают индейские фильмы не по Карлу Маю, а по Карлу Марксу. Над сценарием первого фильма гэдээровской эпопеи работала восточногерманский литератор Лизелотта Вельскопф-Генрих, автор основанной на реальных событиях трилогии о бедах индейцев дакота "Сыновья Большой Медведицы". Лучшей кандидатуры сценариста, чем Вельскопф-Генрих, ветеран антифашистской борьбы и первая в ГДР женщина-академик, для кинофильма, "парирующего" экранизации романов Карла Мая, и вообразить было трудно.

Фильм "Сыновья Большой Медведицы", съемки которого поручили чехословацкому режиссеру Йозефу Маху, вышел на экраны в начале 1966 года (идеологические соперники к тому моменту запустили в прокат восемь картин о Виннету). На исполнение главной кинопартии даже не проводили кастинга: Токей Ито мог быть только мужественным красавцем с лицом и фигурой Гойко Митича, уже набравшегося опыта в фильмах о Виннету (рядом с Пьером Брисом он сыграл пять эпизодических ролей). "Индейский" эпос стартовал удачно: фильм сделал приличные сборы, его продали всему социалистическому содружеству и во многие капстраны, от Финляндии до Италии, не говоря уж о государствах Азии и Африки. Ударом для организаторов проекта оказалась критика Лизелотты Вельскопф-Генрих: как ни старалась съемочная группа соблюсти историческую достоверность, принять

во внимание этнографические детали, сценарист осталась недовольна точностью адаптации и отказалась предоставить для экранизации другие свои романы. От первоначальной идеи сериала, объединенного фигурами главных героев, пришлось отказаться.

Совокупный кинообраз благородного индейца Гойко Митич создавал в течение семнадцати лет, сыграв в общей сложности роли десяти вождей восьми племен. В самом конце 60-х годов была реализована идея подключить к "индейскому производству", рассматривавшемуся как общий проект социалистического содружества, советских кинематографистов. "След Сокола" частично сняли в 1968 году в Грузии, "Белые волки" — с участием грузинских актеров. В сотрудничестве с "Мосфильмом" "DEFA" поставила три фильма. Съемки священного города индейцев Типпеканоэ и тихоокеанского побережья Америки проходили в феврале 1972 года в горах вблизи Ялты и на крымской Ривьере ("Текумзе"). Через год съемочная группа отправилась под Самарканд, где оборудовали мексиканскую пустыню Чиуауа ("Апачи" и "Ульзана"). У индейцев или ковбоев из массовок могли быть, соответственно, кавказские, хорватские или даже узбекские лица, но о достоверности действия вместе с Гойко Митичем заботились хорошие немецкие актеры. В фильме "Братья по крови" снялся популярный в ГДР и Советском Союзе американский певец-марксист Дин Рид, сыгравший разочаровавшегося в действиях правительства США и влюбленного в индейскую девушку, Молодую Косулю, — знаменосца полка драгунов. Поклонники "Indianerfilme" сравнивают "Братьев по крови" и "Танцы с волками" Кевина Костнера, только вместо семи статуэток "Оскар" фильм Вернера Валльрота получил премию как лучший фильм ГДР 1975 года.

Судить о качестве "Indianerfilme" имеет смысл только в пределах избранного их создателями жанра и учитывая общественные обстоятельства, сопутствовавшие выходу этих лент на экран. Сценарии социальной направленности писали, исходя из берлинских представлений о Великих озерах и Аризоне. Снимали как умели и как могли. Одним из главных достоинств "Indianerfilme" киноведы считают стремление к обработке исторических сюжетов и точному воссозданию старой реальности, быта индейских племен. Но очевидно, что лучше американцев Америку не способен снять никто. "Немецкие вестерны, что с Запада, что с Востока, могут быть хорошо выполнены технически, но им никогда не соответствовать реальности", — сокрушался кинокритик западногерманской газеты "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Гойко Ми-

тич еще в 60-е годы навсегда перебрался в Германию. Он и теперь живет в Берлине, играет в театре и кино. К своей карьере киновождя относится со всей серьезностью, подчеркивая: "Философия индейцев стала и моей философией". Жив и Пьер Брис, навсегда оставшийся для десятков миллионов зрителей благородным Виннету. Берлинский кинокритик Франк Буркхард Хабель рассказал мне забавную байку о встрече на одном из светских приемов Митича и Бриса с лидером немецкой посткоммунистической Партии демократического социализма Грегором Гизи. "Собрались три краснокожих вождя", — так оценил эту компанию Митич.

Как и другие воспоминания о противостоянии культур Востока и Запада, "индейские фильмы" Гойко Митича теперь воспринимаются в ироническом ключе. Герои буржуазного масскульта вышли из советского подполья. Русский перевод романа очередного последователя Иэна Флеминга Себастьяна Фокса "Дьявол не любит ждать" о новых приключениях Джеймса Бонда в 2008 году появился на прилавках московских магазинов в тот же день, что и в Лондоне англоязычный оригинал книги. Российское отделение общества Дракулы действует едва ли не активнее британской штаб-квартиры организации. Литератор Ростислав Нестеров и композитор Виктор Попов превратили роман Брэма Стокера в детскую аудиосказку, где вампир говорит голосом Александра Филиппенко. Пермский театр драмы поставил пьесу по первому роману Пьера Сувестра и Марселя Аллена. О Фантомасе поет Гарик Сукачов, об агенте 007 гнусавит Сергей Шнуров. Круг замкнулся. Россия, словно Диего Вега — в Зорро, словно укушенный Дракулой — в вампира, превратилась — нет, не в ведущего производителя! — в рядового потребителя всемирного масскульта. Мир оказался куда более единым и взаимозависимым, чем это представляли себе авторы словаря по научному коммунизму. Этот мир, вечно стремящийся к благополучию и спокойствию, по-прежнему находится в поиске великолепного героя, готового страдать, рисковать, пугать, бороться, побеждать, пока мы с вами сидим в темноте кинозала.

Игорь Кузнецов
Человек по имени Милорад

За три дня *до того* я бродил по случайным сайтам и мне попалось на глаза его интервью. В честь восьмидесятилетия. А мне ведь и в голову не приходило, что ему может быть уже столько лет. Хотя я и сам писал: родился 15 октября 1929-го; пальцы должны были помнить, но — не помнили. Да и встретился я с ним, когда был он не слишком-то юным. Во всяком случае, свою знаменитую трубку он уже не курил.

На фото, приложенном к интервью и рассчитанном на сиюминутность, он ничуть не изменился. Но мне стало почему-то не по себе. Никакой мистики. Простое совпадение. Хотя жена, когда я ей сказал о своем ощущении, почувствовала то же самое, в чем призналась лишь *потом*, уже после 30 ноября 2009 года — года многих потерь, когда и он тоже вдруг умер.

А ведь было время, когда имя Милорада Павича в стране нашей знали считаные единицы. Благодаря писателю Олегу Шишкину и я оказался в их числе. Дал он мне тогда почитать выходивший по-русски журнал "Югославия" с фрагментами "Хазарского словаря". Год стоял эдак восемьдесят девятый от Рождества Христова.

Шишкин — известный мистификатор, так что полученные из его рук сведения и даже объективные факты следует или просто принимать на веру, или уж сомневаться до последнего — пока сам не убедишься в их неоспоримой подлинности. Что-то он мне такое рассказывал о писателе-затворнике из Белграда и о неких тайных силах, то ли его поддерживающих, то ли — до времени — скрывающих чуть ли не в неком святилище на берегах Савы.

Прочитанные мною главы из "Хазарского словаря" вполне в эту конспирологическую концепцию вписывались. Это было настолько необычайно, таинственно и волшебно, что ты сразу понимал — перед тобой автор из ряда вон выходящий — и не просто неизвестно куда, а в иную, незнакомую реальность.

Одно смущало — отсутствие уверенности в существовании самого автора. Метафизический сквознячок сложно задуманной и исполненной мистификации словно шелестел передо мною страницами журнала, который ни прежде, ни

© Игорь Кузнецов, 2010

потом не попадался мне больше в руки, — тот единственный экземпляр Шишкин у меня по прочтении отобрал.

Дальше "история с Павичем" развивалась не менее замысловато. В один прекрасный день я оказался на маленьком рынке возле метро "Беляево". В центре, под крышами, торговали цветами и ранней зеленью, а чуть в стороне на дощатых прилавках разложились со своей случайной мелочевкой угрюмые мужики — ловцы удачи заради выпить без ущерба для скудного семейного бюджета; времена тянулись небогатые, самое начало 90-х. Перед одним из них был разложен довольно неожиданный набор предметов: медный подсвечник, паяльник, ключи гаечные и один разводной, какие-то шурупы-винтики горстками по размеру и, совсем уж вроде некстати, альбом по Древнему Египту, а также стопочка читаных, но вполне еще свежих номеров "Иностранки". Альбом оказался всем хорош — вот только на таинственном венгерском языке. А среди журналов я тут же и едва ли не с дрожью в руках обнаружил мартовский номер за текущий 1991 год. Там был "Хазарский словарь". А я и не знал, что он уже благополучно вышел. Сильно сокращенный вариант, но иного-то ведь и в помине не было, разве что у переводчицы Ларисы Савельевой, которой тогда я еще не был представлен.

На радостях я купил и венгерский "Египет", и, естественно, русский вариант "Словаря". Вдогонку добавлю — в том же году, чуть позже, я уже вполне сознательно разыскивал в киосках "Союзпечати" журнал "Согласие", где — я откуда-то это знал — был опубликован "Пейзаж, нарисованный чаем". Моя ахиллова погоня за мифическим Павичем продолжалась.

В первой половине 90-х я одно время усердно посещал лекции в новообразованном Православном университете. Занятия нередко проходили в храме Сергия Радонежского в Высокопетровском монастыре. Храм был уже вроде как действующий — кажется, один из пределов успели освятить, — но вдоль стен еще тянулась странная потертая труба, при ближайшем рассмотрении напоминавшая бесконечный балетный станок. Глаза не обманывали — прежде, еще совсем недавно, здесь репетировали артисты танцевального ансамбля "Березка".

Свой курс по истории балканского православия читал здесь и академик-славист Никита Ильич Толстой. После одной из лекций я подошел к нему и спросил не о сербских монастырях, а о Павиче. Ответил он с улыбкой, явно обрадовавшись. О "небольшого роста писателе с трубкой" мы проговорили больше часа. А потом, встречаясь взглядами перед или после лекций, со значением друг другу кивали, будто нас связывала замечательная тайна.

Поддавшись непреодолимому соблазну, в середине 90-х

я написал "словарное" эссе обо всем, что вышло к тому времени у Павича по-русски[1]. Познакомился с переводчицей Ларисой Савельевой, уверенно заявлявшей, что она с ним лично знакома. Выяснил, что Павич даже входит в состав Международного совета журнала "Иностранная литература" наряду с Миланом Кундерой, Кэндзабуро Оэ и Умберто Эко. Но все равно сомневался в его реальности и в том же эссе поименовал его "отчасти фигурой мифологической". Возможно, я подсознательно ждал буквального, физического, а не метафизического подтверждения его существования в мире. Хотел лично убедиться в нем с окончательной и бесповоротной ясностью. И шанс такой мне вскоре представился.

Затеялся тогда полноцветный и крупноформатный журнал "Ясная Поляна" под редакторством праправнука и директора толстовской усадьбы Владимира Толстого и Анатолия Кима. Я тоже принимал в нем посильное участие. С моей подачи мы и решили в первом номере из переводного непременно напечатать Павича. Долго ли коротко ли — Лариса Савельева и Григорий Чхартишвили были тогда моими сообщниками — мы раздобыли какой-то вроде бы реальный номер факса, по которому якобы можно было с ним связаться. Написали. Отослали. Стали ждать. И ответ не замедлил прийти: господин Павич отдавал нам права на журнальную публикацию "Внутренней стороны ветра", а в качестве гонорара предлагал пригласить его с женой в Москву и Ясную Поляну.

Журнал вышел, и Павич прибыл в Москву. Был май 1997 года. Я понимал, что мы просто обязаны с ним встретиться, но до конца все равно не верил.

Ощущение было, как перед первым в жизни пересечением границы. Помню раннее, еще темное утро. Поезд стоит в Чопе. Пограничники с собаками бродят вдоль вагона, а напротив окна — вышка наподобие лагерной, и на одной из верхних перекладин ее крутится телекамера, хищно обозревая окрестности. Вроде уже и пограничный контроль прошли, и с таможенниками благополучно пообщались, а все на сердце не спокойно. Поезд наконец трогается. На берегу Тисы с нашей стороны будка с солдатиком на страже. А на той стороне — будка поменьше, и из нее торчат ноги уже венгерского солдата. Он благополучно спит. И только тут я понял, что теперь уж я точно за границей.

Зная, что в первый же московский день у Павича намечено посещение толстовской усадьбы в Хамовниках, я прибыл вовремя и оказался в маленькой группе, осматриваю-

1. И. Кузнецов. Регулярный парк сновидений (По следам Милорада Павича. Фрагменты словаря). — "Иностранная литература", 1995, № 12.

щей дом и сад: сам Павич, его жена Ясмина Михайлович, директор усадьбы и я, вроде как лицо к чему-то или кому-то приближенное. Но — не представленное. Ну и Бог с ним, подумал я, осматривая вместе с ними парадные комнаты и антресоли толстовского дома, где кабинет Льва Николаевича и рабочая комната, где он временами тачал сапоги.

Павич был реальный, живой, небольшого роста, в пшеничных усах и клетчатом пиджаке. Красивая, высокая Ясмина в черной широкополой шляпе придавала нашей группе окончательно заграничный вид, хотя и говорили все по-русски.

Гуляли мы по дорожкам цветущего сада, поднимались на горку, стояли у колодца, от которого Толстой по утрам носил в дом воду. Но вот путешествие по усадьбе закончилось.

Мы стояли почти у калитки, и Павич с Ясминой собирались уезжать. Я, завладев ненадолго их вниманием, вручил Павичу номер "Ясной Поляны" с "Внутренней стороной ветра" и моим послесловием к нему, а также номер "Иностранки" с моим же пространным эссе о нем же. Он благодарно кивнул, передал журналы Ясмине и принялся прощаться с директором. Я чувствовал себя несказанно глупо — по всей вероятности, Павич принял меня за курьера из редакции — и уже начал тихо пятиться к калитке, малодушно откладывая настоящее знакомство на потом, как встретился взглядом с Ясминой, успевшей заглянуть в журналы. Она аккуратно взяла Павича за локоток и подвела ко мне, показывая заодно на раскрытую страницу "Ясной Поляны" с моим текстом и объясняя ему по ходу, что я и есть автор. Как она догадалась? Наверное, по моему растерянному виду.

Так я оказался вместе с ними в старомодном зеленом "мерседесе", который и отвез нас в "Метрополь", где Павич с Ясминой остановились.

Мы сидели в глубоких креслах за низким столиком и пили кофе. Я рассказывал о нашей конспирологической версии его жизни — он улыбался, кивал и ничего не отрицал, — о рыночном мужике с подсвечником, венгерским "Египтом" и "Хазарским словарем". Эта история ему нравилась. Вспоминали Никиту Ильича Толстого.

Павич же поведал о том, что "Словарь" собираются снимать в Америке с Марлоном Брандо во всех главных ролях. Тут я подошел к давно занимавшему меня, хотя и несколько щекотливому вопросу. По слухам он живет в белградской квартире, подаренной ему на условии, что когда-нибудь там будет его музей. Это оказалось правдой. Квартиру ему выделила еврейская община Белграда в ознаменование его заслуг перед хазарским народом. А потом он подписал мне "Хазарский словарь" — мужскую версию, только что вышедшую в Петербурге. Пора было про-

щаться — назавтра мы встречались вновь.

Была еще презентация журнала "Ясная Поляна" в Доме журналистов при большом стечении публики. И встреча с редакцией "Иностранки" в кабинете главного редактора. Добрая и деловая: беседовали о литературе и договаривались о планах публикаций.

Потом отправились в Ясную Поляну. По пути, как принято, остановились в Туле, в только что отреставрированном представительстве толстовской усадьбы, где расположился издательский дом, галерея, книжная лавка и музейно-туристические службы. К нашему приезду во дворе под красными зонтиками были накрыты столы с выпивкой и легкой закуской. Мы чокнулись с Павичем, и я поинтересовался: "Господин Павич, а как к вам можно обращаться проще, по-человечески?" — "Зови просто Милорадом", — улыбнувшись в усы, ответил он. Ясмина же, успевшая внимательно ознакомиться с моими сочинениями о Павиче и обнаружившая там зерно сомнения в реальности павичевского существовании, предложила нам с ним немедленно сфотографироваться, дабы всякие сомнения и в будущем более не возникали. Что мы немедленно и сделали.

Несколько светлых, теплых, праздничных яснополянских дней слились в один почти бесконечный — посему отмечу лишь некоторые детали. Как хороша была пара, нет, не только Ясмина с Милорадом, но и Милорад с Ильей Владимировичем Толстым, правнуком. Единственные из всех нас одетые в белоснежные рубашки с галстуками, в накинутых на плечи пиджаках, они и выглядели, и были настоящими аристократами, гуляющими по

Игорь и Маша Кузнецовы, Илья Владимирович Толстой и Милорад Павич. Ясная Поляна, май 1997
Фото Павла Кривцова

дорожкам барской усадьбы. Оба они родились в Югославии, с разницей в один год, так что им было о чем поговорить и что вспомнить.

Мы не ходили толпой, но все как-то постоянно были вместе. И вдруг однажды Ясмина с Милорадом напрочь исчезли. Их не было час, два, больше. Меня, вроде как "почти приятеля", отрядили проведать их номер. Я вежливо и без особой настойчивости постучался. Мне тотчас открыли и пригласили. Оказалось, они, как молодые влюбленные, в уединении пили шампанское. Я посчитал своим долгом быстренько ретироваться, но нет – меня оставили, и мы зависли уже вместе. Говорили, естественно, о Толстом.

Осталась и грустная нота. Ездили в Кочаки. Там, возле Никольского храма – родовое кладбище Толстых, где похоронены его предки, близкие, некоторые дети и потомки. Поклонились и могиле годом раньше ушедшего Никиты Ильича Толстого. В каком жутком сне можно было себе представить, что жизнерадостный, красивый и счастливый Илья Владимирович буквально спустя считаные дни тоже обретет здесь свое последнее пристанище.

И опять, спустя время, – "Иностранка". Павич должен был выступить в конференц-зале перед журналистами. Меня предупредили, что по независящим от него причинам он задерживается на неопределенное время. Я сидел у себя в "Литературке" и время от времени позванивал осведомленным лицам. Наконец, сказали: через полчаса будет. Я отправился в "Иностранку" и, конечно, опоздал. В зале не было уже ни одного места, даже стоячего, пришлось пристроиться в дверях. Павич говорил. Я не успел еще вникнуть в его слова, но тут он меня увидел и, прервав речь, помахал рукой: "Игорь, иди сюда!" – и указал *беспрекословно* на место рядом с собой и Ясминой. Все присутствующие обернулись на меня, некоторые – с завистью. Но без злобы – все же интеллигентные люди. Как оказалось, то была наша последняя встреча.

Выходили его новые книги. Павич стал фантастически знаменит. А я все надеялся попасть в Белград, чтобы хоть разок прогуляться с ним по берегу Савы. Уже не прогуляюсь.

Зато точно знаю, куда он ушел и где его искать. В "Хазарском словаре". Причем не в переносном, а в буквальном смысле – среди новых его героев, которые, знаю, появляются там сами по себе при очередном прочтении. По большому счету – все там будем.

Лариса Савельева

Встречи с Милорадом Павичем

С Милорадом Павичем я познакомилась в Белграде в конце ноября 1989 года, ровно за двадцать лет до его смерти, почти день в день. Таким совпадениям, конечно, не стоит придавать значение, но почему-то все равно придаешь. Может быть, потому что где-то в глубине все-таки сидит мысль, что ничего случайного в нашей жизни нет. Посмотрим, так ли это.

С того момента как я в первый раз услышала, а точнее "увидела", что есть такой писатель, до нашего знакомства прошло пять лет. И все эти пять лет я постоянно думала о нем. Сейчас объясню, почему я написала "увидела". Я приехала в Белград осенью 1984 года и в витринах всех книжных магазинов, а в центре города их очень много, увидела книгу "Хазарский словарь". Во многих витринах стояло сразу по нескольку экземпляров. Это производило сильное впечатление: идешь по улице, а на тебя отовсюду смотрит одна книга. Она летом того года вышла, ну а к осени и критики, и владельцы книжных магазинов уже распробовали, что это такое. Кстати, Павич мне потом рассказал, что поначалу несколько югославских издательств вернули ему рукопись, даже не прочитав, просто перелистали и сказали: нет, извините...

А теперь про то, почему я пять лет про него постоянно думала. "Хазарский словарь" я тогда, конечно, привезла в Москву, причем попал он ко мне довольно необычным путем, но, должно быть, здесь этой истории не место, хотя и она подтверждает, что судьба уже тогда готовила нам встречу. По дороге в Москву, в поезде, я эту книгу прочитала, причем увлеклась настолько, что почти не заметила всегда болезненного момента пересечения государственной границы СССР. И в Москве, разумеется, тут же отправилась по издательствам и редакциям. И все получилось даже еще хуже, чем у Павича: редакционные тетеньки и дяденьки закатывали глаза и страшным многозначительным шепотом говорили: "Вы что, не понимаете, что предлагаете?!"

Ну а к 1989 году мировая слава "Хазарского словаря" стала настолько бесспорной (к тому же в СССР появилась "гласность"), что журнал "Иностранная литература" решил напечатать фрагменты из романа, а я, опять же по воле случая оказавшись в Белграде, стала искать встречи с его автором.

© Лариса Савельева, 2010

Мой друг, поэт Милорад Блечич, позвонил Павичу, и мне было назначено в такой-то день и час прийти к нему домой. Павич жил тогда с первой женой, Бранкой Баста, в небольшом особнячке, практически в центре Белграда, неподалеку от главного кладбища, посербски оно называется "Ново гробле" (теперь на этом кладбище он похоронен). Был конец ноября, но очень тепло, еще цвели цветы, ограда и фасад дома были оплетены вьющимися розами, мелкими, но их было много. Когда я точно в назначенное время позвонила у калитки, с кладбища послышался колокольный звон – зазвонили к вечерней службе. Я думаю, тут проявилась его страсть к игре, он любил украшать жизнь такими немножко театральными штучками, а потом она уже и сама ему начала подсовывать всякие эффектные повороты и ситуации. Вот, например, после того как "Иностранная литература" в 1991 году напечатала "Хазарский словарь", Павич прислал мне в подарок керамическую брошку ручной работы, похожую на щит, разумеется, хазарский. Брошку эту никто, кроме меня и моих близких, не видел, а когда наконец-то "Хазарский словарь" вышел в 1996 году отдельной книгой, оказалось, что его обложка один в один такого же оттенка и того же цвета, что и брошка...

Из дома на террасу вышел невысокого роста мужчина в сопровождении двух русских борзых. Глаза небольшие, голубые, очень внимательные, нос немного крючковатый, кажется, прихрамывает на левую ногу, сдержанно любезный, элегантный, настоящий джентльмен, но что-то в нем есть не то чтобы зловещее, нет, но загадочное точно. Собаки смотрели на него с обожанием. Потом я уже узнала, что русские борзые были его страстью, и вот что интересно – в США "Хазарский словарь" опубликовало издательство "Кнопф", на книгах которого изображен силуэт бегущей борзой. Тут еще, может быть, уместно заметить, что у Павича есть одно стихотворение, посвященное собаке, оно невероятно проникновенное, читаешь и чувствуешь, с какой страстной нежностью он относился к этим животным.

Мы вошли в дом, прошли в комнату, что-то среднее между гостиной и библиотекой, что-то такое готическое, как мне тогда показалось. Там была резная мебель, огромные кожаные кресла, много картин, все очень старое, настоящее. Труба подзорная, большой глобус, тоже старый. Сели. Мне немного не по себе было, такой писатель знаменитый, на весь мир можно сказать, да еще и это ощущение, что находишься рядом с чем-то загадочным, необъяснимым, невидимым, но явно присутствующим. Ну я бы сказала, магнетизм какой-то ощущался вокруг него. А уж когда вошла бледная, высокая, худощавая дама с распущенными волосами, в руках которой был сереб-

ряный поднос, а на подносе две хрустальные старинные рюмки и графин, наполненный густой темно-красной жидкостью, в голове у меня мелькнуло — это ее кровь, поэтому она такая бледная, наверное это его муза такая. Дама с улыбкой поставила поднос на столик и исчезла. А в графине оказалась домашняя вишневая наливка. Так что все обошлось.

И даже потом, когда мы уже были хорошо знакомы, когда отношения стали довольно доверительными и непринужденными, магнетизм этот все равно чувствовался. При том что Павич был очень практичен, великолепно вел дела, умел отстаивать свои интересы перед издателями, любил вкусно поесть, очень хорошо одевался, прекрасно водил машину, играл в компьютерные игры, следил за новинками кино — все равно всегда оставалось впечатление, что параллельно он живет какой-то иной жизнью в каком-то ином мире. Или, по крайней мере, регулярно туда наведывается. И этот мир он постоянно достраивал, переустраивал, украшал, наслаждался им и с радостью давал возможность побывать в нем и другим — нам, читателям.

Потом, а это потом длилось двадцать лет, мы встречались еще то в Белграде, то в Москве, куда он приезжал уже со второй женой, Ясминой Михайлович, тоже писателем (в ее книгах, кстати, с большой наблюдательностью описаны некоторые обстоятельства их визитов в Россию). И эти встречи всегда были радостью. Он любил и умел радовать других людей, любил показать какое-нибудь особенное здание в Белграде, поделиться интересной мыслью, угостить необычным блюдом, познакомить с новым талантливым автором (так, он подарил русским читателям счастье встречи с прозаиком Гораном Петровичем, когда порекомендовал его книгу журналу "Иностранная литература"). Так что, Милорад Павич, который самого себя определял как "человека пишущего" и "человека играющего", был, несомненно, еще и "человеком радующимся". Жизнь была к нему щедра, но и он был очень благодарным ее сыном.

Должно быть, такое радостно-благодарное отношение к жизни у него складывалось с самого детства, потому что, когда смотришь на его детские фотографии, сразу видно, что это мальчик, которого любят и воспитывают ответственно, то есть разумно и доброжелательно. Для меня эти фотографии самые пронзительные — на них изображен подросток, который несомненно и непоколебимо ориентирован на добро. Кстати, о фотографиях. Я никогда не видела ни одной фотографии, где были бы Милорад и я. Мне кажется, что это тоже не случайно.

Последний раз мы встречались весной 2009 года, в Белграде. К Павичу приехал директор "Амфоры" Олег Седов подписать договор на издание

собрания сочинений, ну и меня пригласил с собой, чтобы гарантировать полное понимание сторон во время переговоров. Милорад был вполне бодр, ласков, мил, как всегда невероятно элегантен, только ходить ему было трудно, болели ноги, осенью он собирался оперировать суставы и надеялся опять стать совсем молодцом. Сидели в огромном и очень уютном кабинете академика Павича на третьем этаже здания Сербской академии наук. Сидели долго, Павич держался твердо, но был очень доброжелателен, на кофейном столике нас всех ждали бокалы и бутылка "Хеннесси", к которой мы договорились не прикасаться, пока договор не будет подписан. Вроде как для мотивации.

После того как дело было сделано, мы еще долго наслаждались коньяком, обсуждали предстоящий приезд Милорада в Москву, летом, на открытие его бюста в атрии Библиотеки иностранной литературы, Павич с нежностью рассказывал про внучку, расспрашивал Олега о его детях, потом пригласил нас в ресторан "Вук", неподалеку от Академии. После обеда пошла проводить Павича, по дороге он предложил зайти на выставку, посвященную одному сербскому астроному, мы как раз мимо проходили. Зашли, и когда Павич заговорил о планетах, кометах, звездах, Вселенной, то карты и схемы, висевшие по стенам, сделанные из папье-маше модели небесных тел, скрипящие конструкции, изображающие их взаимное расположение и движение, короче говоря, весь этот хлам, который всегда оставлял меня совершенно равнодушной и никак не соотносился с великолепием звездного неба, вдруг ожил, заискрился, обрел бездонную глубину и безграничность.

На следующее утро он позвонил, как мы и договаривались, и предложил немного погулять по центру Белграда. Но ходить ему все-таки было тяжело, так что мы просто посидели за чаем в уютном кафе под тихую классическую музыку неподалеку от его дома. Ни о чем серьезном не говорили, так, перебирали общих знакомых, новые книги, планы на лето. Когда мы вышли, Павич как-то очень твердо сказал, что провожать его не надо. Обнялись, поцеловались — до встречи в Москве, до встречи. Я долго стояла и смотрела на его медленно удаляющуюся вниз по улице фигуру, смотрела до тех пор, пока он не исчез из вида.

Был один из последних дней марта, на следующее утро, улетая из Белграда, я сообразила, что вчера был день моего рождения.

Милорад Павич
Избранник

Рассказ

Перевод с сербского Василия Соколова

Послесловие Владимира Пиштало

ОДНАЖДЫ в полдень, когда мы сидели в кофейне, Реля Мияч поведал мне о своем школьном товарище Мияте Стефановиче. Мы сидели в земунском "Карпе", на Дунае был ледоход. Белки глаз Рели Мияча, жирные, как стерляжье мясо, медленно ворочались, и, каждый раз моргнув и отхлебнув вино пополам с газировкой, он пристально смотрел мне в глаза. Его волосы распространяли запах мешка с картошкой. От былого Мияча практически ничего не осталось. Говорили, что в ранней молодости он так безрассудно расходовал свои таланты, будто сам был их наследником. В тот год зима настолько одолела меня, что я неделями шатался по дому, сонный, глядя на все словно сквозь паутину. И только изредка покидал квартиру и, утомленный чиханием матери, выходил на серую, продуваемую ветрами Земунскую набережную. Там я встречался с Миячем. Я ослаб от зимы, и ноги мои немели от первой рюмки коньяку. За стол я садился голодным и в ожидании заказанного блюда съедал кусочка два хлеба, макая их в соль.

Мияч вливал в дважды пересоленную уху горячее вино, перемешивал ложкой и съедал, раскрасневшись от усердия. Однажды он, сверяя наши часы, посмотрел на мои пальцы и, увидев обгрызенные ногти, тряхнул головой так, будто сбрасывал пыль с волос. Покрутив перстень на безымянном пальце, он поведал мне эту историю.

Когда Мияч закончил свой рассказ, мы обнаружили, что к нашему разговору прислушивается вся кофейня. За соседними столами молча сидели люди, курили и пускали табачный дым в стаканы. Потом все захлопали, и аплодисменты звучали ровно столько, сколько хватило бы птице, чтобы перелететь из Земуна в Старый город. Любопытные взгляды с соседних столов впитали все вино, что стояло перед нами, и тогда

© Василий Соколов. Перевод, 2010

мы, придя в себя, поднялись и, молча покинув кофейню, разошлись в разные стороны.

Мият Стефанович, рассказывал Реля Мияч, жил на Чубуре со своим дедом, Илларионом Стефановичем, майором в отставке. Жили они на улице, где почти все лето чем-то жутко воняло: то ли смердело дохлой кошкой, то ли гнилой рыбой.

Известно, что существуют два рода людей: одни, которые думают по внутренней необходимости, и другие, которые только думают, что думают. Мият принадлежал к первым. На себе он был сосредоточен до такой степени, что утратил обоняние и с детских лет не чувствовал никакого смрада. Но когда город, вылизанный ветрами, становился все белее и белее, он всегда слышал, как его дед Илларион, замерев на пороге, говорил: "Вот теперь хорошо. Зима чистая".

Мият Стефанович был назван в честь отца, которого не помнил. Его отец так и не покинул той ночи, когда впервые спал с женщиной и оплодотворил мать Мията. Утро застало его мертвым, с головой так глубоко зарытой в подушку, будто он всю ночь прятался от кого-то. Его отец умел играть на скрипке и играл так напористо, словно старался смычком достучаться в чьи-то запертые двери. Говорили, что он был прекрасным оратором и что в спорах, размахивая руками, как колдун, доказывал правильность своих взглядов на этот мир так убедительно, что его противник неизменно тушевался. Пот у него был густой и пах сосновой смолой. После смерти его имя девять месяцев отдыхало, а потом его принял сын.

Мият Стефанович-младший понимал, что человек никогда не узнает, достиг ли он того, чего мог достичь там, где он находится. Своими мыслями он ни с кем не делился, разве что иногда особо спорную сообщал деду Илларию и, выслушав из его уст подтверждение своей правоты, чувствовал себя так, будто увидел в зеркале не лицо свое, а лик.

— Человек узнает о себе, когда узнает мир, а о мире — когда узнает себя, — говорил он.

Однажды вечером дед Илларион спросил его:

— Если бы тебя заперли в башне на девять лет и разрешили выбрать что-то одно — окно или зеркало, что бы ты выбрал?

— Для меня что окно, что зеркало, — ответил Мият.

— Мыслящий не видит призраков, — хрипло рассмеялся старик.

У Илариона Стефановича, Миятова деда, ресницы еще с Солунского фронта были полны соли. В молодости его

пальцы были такими сильными, что он мог голыми руками разорвать человека на куски. По утрам дед молча бросал на сковородку бифштекс и, пока тот скворчал, посыпал его молотым миндалем и красным перцем, потом вкладывал его меж двух кусков хлеба и протягивал внуку. Присаливая салат трепетанием своих просоленных ресниц, он часто произносил фразу, когда-то прочитанную им в некой книге: *Кто сам себе лжет, тот сам себя и оскорбляет.* А еще он мог на указательном пальце удерживать зарезанную овцу до тех пор, пока ее не освежуют.

Вечерами Илларион Стефанович пил горячую ракию, всегда из одного и того же стакана. Этот тяжелый мутный стакан с гранеными краями откуда-то попал в его хозяйство, пролез как незваный гость, похоже, в нем давали в долг соль или крупу, да так и позабыли забрать, а может — во что сам Илларион Стефанович хотел верить, — сам по себе откуда-то явился, как являются погорельцы; все их хозяйство пропало, а он вот очутился в этом кухонном шкафчике, да так тут и остался. Майор Стефанович вечерами сидел за столом, смотрел сквозь стакан на лампочку и размышлял над тем, когда же он впервые взял в руки этот стакан, но обретался ли стакан здесь до того, как он вернулся с войны, в тысяча девятьсот девятнадцатом, этого он вспомнить не мог.

В ночь перед тем, как отправиться на фронт, он, накинув на плечи шинель и окружив себя цыганами, побросал в воды Дуная все дукаты из своего кошеля, загадав только одно желание — вернуться живым! Последний дукат он положил на хлеб и пустил его вниз по течению, в направлении, противоположном Вене. Возвращаясь с войны, он верхом въехал на окраину города, бросил цыганам по ветру горсть бумажных денег, спешился, вошел в дом, снял офицерскую форму и никогда больше не надевал ее.

Во время войны у него случилась встреча, о которой он никому не рассказывал. В Призрене в одном трактире он заказал кофе. Кофе сварили, и какая-то женщина, зажав ручку джезвы двумя пальцами так, как держат длинные мундштуки, небрежно опустила ее на стол перед ним. Из трактира он вышел злой и побрел вдоль по темной улице, и тут ему навстречу попался мелкий турок с такими дряхлыми веками, что даже будучи закрытыми, они не могли защитить глаза от света. На феске у него горела свеча. Прищурившись, он посмотрел Илариону прямо в глаза и сказал:

— Не забывается тот, кого видишь во сне. Я Фейхаман Аран. Однажды ты уже видел меня, в последний раз уви-

дишь меня за три дня до смерти, и тогда ты разучишься читать. Умрешь в то мгновение, когда приснишься себе сам, с волосами, слипшимися от ушной серы. На войне не погибнешь. Кровь твоего рода становится все тяжелее, злее, а течет она все быстрее, но смотри: кратчайшая дорога не всегда лучшая...

И тут налетел порыв ветра и с печальным вздохом погасил свечу на феске.

Илларион Стефанович искал незнакомца, ползая по мостовой, протыкая саблей мрачные кусты по обочинам, но так и не нашел его, хотя исследовал даже глубокие канавы. Шло время, его трепали ветры, он оглох от артиллерийской канонады, и жил он, заткнув уши зубчиками чеснока. Войну он более не вспоминал. И только изредка являлись ему в полнолуние вереницы теней.

К Стефановичам, деду и внуку, мало кто приходил в гости, только несколько школьных друзей Мията, таких как и Реля Мияч. Среди этих редких визитеров появлялся и некий Игнят Баяц. У Баяца один глаз был в два раза больше другого. Лицо — красивое, но рябое, так что он походил на икону, источенную жучками. Он бросил теологический факультет и перешел на философский. Он говорил: "Человек причиняет зло, если не умеет от него защищаться. Я часто упрекаю себя именно в этом". Он давно уже не ходил в церковь.

— Что дошло до нас с момента возникновения мира? — спрашивал он, так сильно выдыхая воздух сквозь нос, что борода его делилась надвое. — Важнейшие изначальные предания трактуются слишком вольно. К нам они приходят полностью искаженными в результате пересказов.

Баяц ходил сгорбившись, дышал так, будто у него в груди играл сломанный орган, а отрыжка отдавала лекарствами. Однажды он застал Мията сидящим лицом к стене с лампой за спиной и передвигающим поочередно черные и белые фигуры — Мият играл в шахматы со своей тенью.

— Когда на небе только левая половинка луны, я не проигрываю, — сказал Мият, увидев его.

Баяц коротко улыбнулся и испуганно, будто выдавливая из себя что-то, сказал:

— Опасайся шахмат. Все в мире поделено и разделено: чет и нечет, правое и левое, черное и белое, женское и мужское. Так и должно быть. Ничего случайного быть не может, и тот, кому это известно, втягивает голову в плечи, как горбун, и контролирует каждый свой шаг. Пока партия не началась, на доске царит гармония. Не следует даже начинать.

Но это случилось в птичью среду, когда советы забываются, и Мият Стефанович ни разу не припомнил слов Баяца. Вскоре тот отбыл на лечение, и они больше не встречались. В то время о Мияте Стефановиче говорили, что он так много думает, что уже давно стал не таким, каким родился. Илларион Стефанович все чаще попрекал внука:

— В жизни, сынок, человек, совершающий глупости, обновляет стержень своей силы. Ты слишком серьезно живешь, Мият. Горишь изнутри. И отец твой так жил. За месяц стареешь так, как иные за год.

Каждое утро Мият, проснувшись, ножом срезал с груди волосы, которые росли как бешеные. Он был молчаливым, но все знали, что он здоров как бык и ловок настолько, что мог перепрыгивать через собственные сцепленные руки. Также было известно, что со школьных времен он набивает оба кармана пиджака красным молотым перцем. В драке он сначала бросал противнику в глаза полную пригоршню перца, только потом наносил удар. Это был человек с такой тяжелой кровью, что присутствующие в помещении ощущали каждый его вздох. И люди не задирали его.

Так оно все и было, пока в его жизни не появилась Теодора Крстич. Он учился на философском, она — на биологическом. Встретились они на лекции в Коларчевом университете, после чего стали в городе здороваться. Теодора Крстич носила такие остроносые туфли, что могла запросто ранить носком человека. Волосы у нее были длиной в три конских хвоста, и она легко дважды опоясывалась ими. Сначала она была блондинкой, потом рыжей, потом черной как уголь. Она была не из тех женщин, у которых ногти ядовиты, но взгляд ее обжигал, вызывая перемены в погоде.

Однажды вечером они встретились на углу Князь-Михайловой и Чика-Любиной, где раздваиваются ветры. Они шли рядом. Теодора Крстич все время молчала и на прощание, во мраке перед своим домом, поцеловала его ртом, полным коньяку. У него заложило уши. Он ощутил ее груди на своей груди и возжелал прижаться к ним, но не шелохнулся... Она сердито отпрянула и ушла.

— Он из тех, кому нравится только то, что уже миновало, — теперь так она говорила о нем.

Мият Стефанович в тот день сумел проглотить только две ложки фасоли. Вечером он запил и продолжил пить во сне, так что наутро почувствовал себя куда хуже, чем накануне. Выйдя тем утром в город, он встретил на улице товарища по гимназии. Его звали Новица Лукич-Сочанац. "Толстяк, одетый сам в себя", — подумал Мият, заметив его. Сочанаца

с детства домашние научили особой гримасой оскорблять людей. Разговаривая, он никогда не раскрывал рот шире, чем было необходимо для того, чтобы проглотить лесной орех. Обычно он выгуливал пса, узкая голова которого, когда он ласкал его, ложилась в его ладонь, как рукоятка трости. В кармане жилета он всегда носил ложку, которой в пивной на Теразиях сначала съедал пену с кружки и только потом приступал к пиву. На плечах у него лежала перхоть, хотя волосы были так густо смазаны, что замаслились даже глаза. Слегка наклонив голову к плечу, он рассматривал Мията, уверенно читая, сколько тому оставалось жить, а глаза у Мията были в четыре раза глубже, чем у Сочанаца, и смотрел он мрачно, как ночь.

— Сочанац из тех, что никогда не пердят, — сказал о нем Реля Мияч, которому тот очень нравился. По лицу Новицы Сочанаца разлилась улыбка, легкая, как винное пятно на рубашке.

— Никогда не научишься тому, что тебе не дано, — сказал он Мияту. — Говорят, тебя по всему городу разыскивает Теодора Крстич.

Мият, сощурившись, посмотрел на него и правой ладонью отвесил такую пощечину, что Сочанац сумел расслышать последовавшие за ней слова только правым ухом:

— Когда в следующий раз встретишь меня, прикуси нижнюю губу и взглядом чисти ботинки, пока я не пройду мимо тебя.

Сочанаца охватил гнев, но он сдержался и только беззвучно, как карп, открывал и закрывал рот, а Мият Стефанович, возвращаясь домой, ощутил на ладони неприятный запах от его мази для волос. До этого момента он не воспринимал смрада. Домой он вернулся печальный и хмурый.

— Кто общается с духами, теряется среди людей, — утешал его Илларион. — У человека, прежде чем он заведет веселую песню, всегда болит корень языка.

Тем же вечером Мият сел за стол, чтобы написать Теодоре Крстич письмо. Он вытаскивал другим концом карандаша мух, что падали в его кофе, и все писал и писал. Письмо начиналось словами: "Пишу я лучше, чем говорю, потому что терпеливая бумага может выслушать меня..."

Теодора Крстич ответила ему взглядом просто знакомого человека, только более язвительным.

Мият обладал такой замечательной памятью, что зимою в течение дня обычно пересчитывал снежинки, а вечером наделял их именами. Но наступившая зима была совсем другой, чем прежде, и это занятие более не успокаивало его.

— Берегись, — говорил ему Илларион Стефанович, — женщины не различают истину и ложь.

Мият Стефанович ночами сидел неподвижно, держа перед собой нож и стараясь рассмотреть в лезвии лицо. Одну растопыренную руку он положил на столешницу, а другой вонзал нож между пальцами, все быстрее и быстрее. Наконец однажды ночью он поднялся, положил под язык перечное зерно и вышел, захлопнув дверь с такой силой, что перепугал птиц на соседней улице. Пальто его промокло от пота, когда он постучал в двери Теодоры Крстич. Сначала в комнату из затхлого коридора вошел мрак, а из мрака вынырнул Мият, выбритый северо-восточным ветром с Дуная. Он вытащил нож и поднял его перед лицом так, что лезвие разделяло их лица на половинки. Потом он сжал его зубами, и лезвие почти разрезало ему губы, затем прижал ее и поцеловал так, что в ушах у нее долго раздавался звон. Касание его руки внутренней стороны бедра вызвало у нее дрожь в животе. Он вытащил из кармана горсть красного перца и жестом сеятеля высыпал его на кровать, и они опустились на ложе.

— У тебя это впервые? — хихикнула она.

— Да, — ответил Мият и вытянулся на кровати, поскольку дыхание его успокоилось.

— У многих видов страсть заканчивается после удовлетворения сексуального желания, — засмеялась Теодора Крстич. — Функция оплодотворения завершена, и особи больше незачем жить. Вот так устроена жизнь у некоторых видов биологических существ.

Убаюканная собственным трепом, она заснула на его плече, а волосы на его груди перестали расти как бешеные. Они вместе уплыли в сон. Когда Мият впервые коснулся ее волос, ему показалось, что в его пальцы вонзились колючки, хотя волосы были мягче паутины. Погружаясь в сон, он ощутил, как ширится угасание. Он заснул, и его голова совсем неприметно дернулась, будто он что-то почувствовал или захотел спрятаться от кого-то, а потом голова его стала тихо утопать в подушке.

Этот текст был напечатан в югославском журнале "Литературное ревю" ("Књижевна ревија"), № 213 от 25 июня 1983-го, год спустя после выхода в свет "Хазарского словаря". На последней странице номера было сделано небольшое примечание: "Человеку крайне трудно скрыть присущий ему с детства акцент, когда он говорит на чужом языке. Не имея привычки лгать, признаюсь, что автор этого рассказа — я, Владимир Пиштало. Надеюсь, что это признание не сильно повлияет на его восприятие читателем; пусть он сочтет, что оно ему просто приснилось. Хотелось бы верить, что автора "Записок на лошадиной попоне" не оскорбит мой поступок, — во-первых, потому что рассказ совершенно в стиле его творчества, а во-вторых, потому что автор "Записок" в каком-то смысле получил ответ на свои слова, брошенные сквозь пламя и стены".

Учитывая популярность Милорада Павича в России, смею предположить, что этот рассказ заинтересует и русского читателя.

Редакция благодарит Владимира Пиштало за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации рассказа на страницах журнала.

Леонид Гиршович

Новое сообщение Броуди[1], сделанное им во французском Лионе на литературном симпозиуме, посвященном интриге

Милостивые государыни, милостивые государи,

полагаю, понятие "интрига" в данном случае требует максимально широкого толкования и не должно ограничиваться рамками драмы или эпоса. Также, полагаю, я здесь для того, чтобы восславить интригу – делаю это от всего сердца и с превеликим удовольствием. Итак,

Похвала интриге

Бродский сказал — или за кем-то повторил: писать стихи без рифмы — это то же, что играть в теннис без сетки. Это относится и к интриге, когда речь заходит о кино, театре, литературе — и, в частности, романе, моем жанре. Тот же Бродский писал, что разделение литературы на поэзию и прозу началось с возникновения последней. Верней было бы сказать, что литература началась с разделения человечества на Шахразаду и Шахрияра, то есть с великого умения рассказать историю. Не тягаясь с гением Бродского ни в чем и никогда, в одном я все же дерзну с ним поспорить: в профессиональном чванстве. На его "Dichtung, Dichtung über alles"[1] я гряну *хором*: "Роман, роман превыше всего". В отличие от стихотворения, роман может быть пересказан своими словами, являясь и сам пересказом чего-то, в свою очередь, тоже пересказанного. Погружаемся в незапамятные времена — это к спорам о том, чья профессия древнее.

К счастью — подчеркиваю, к счастью, — литература, как и жизнь, не блещет разнообразием сюжетов. Несмотря на попытки их комбинировать, они

© Леонид Гиршович, 2010

1. Аллюзия на известный рассказ Х. Л. Борхеса "Сообщение Броуди".

1. Поэзия, поэзия превыше всего (*нем.*).

плохо размножаются — больше клонируются. Не только ничего не скажешь нового, но даже по-новому ничего не скажешь. Максимум возможного — обладать приятным тембром голоса, быть изысканнее или, наоборот, проще в обращении с читателем — последнее, ввиду опрощения нравов, сулит больший успех. Но почему тогда скудный выбор сюжетов надо почитать за счастье? Какая радость от того, что они без конца повторяются? Радость узнавания. Узнавание — эстетическая категория, восходящая к античности. Сюжет, который первичен по отношению к интриге, это не просто mise en abîme[1], это Нарцисс в анфиладе зеркал.

Подобно фамильным драгоценностям, сюжеты наследуются. Теряясь на дне веков, они тем самым декларируют: наша родина — первобытная орда. Неслучайно сюжетность — признак молодой литературы, играющей мускулами. Увы, молодость как таковая еще не залог долголетия. Иному вундеркинду отпущен недолгий срок, но не будем о грустном.

Есть глубокий смысл в том, что сюжет драгоценен, что их наперечет и, чтобы выстроить интригу, приходится скрести по сусекам. Зато сюжеты странствуют по белу свету, не ведая ни национальной, ни религиозной розни. Они, как обруч, стягивают бочку цивилизации, благо цивилизация возможна только в единственном числе, только земная, прочие — внеземные, с ними и воюем.

Миротворческая миссия интриги универсальна. В художественном произведении интрига примиряет извечных культурных антагонистов: этику и эстетику. Я не об "идейно-воспитательной работе" — пропаганде добра и осуждении зла. Воспитательная функция искусства может быть лишь сугубо образовательной и то опосредованно, при благоприятном стечении житейских обстоятельств. Учительство, чтение прописей — не цель художественной литературы, а всего лишь одна из возможностей ее выживания. В противном случае "Хижина дяди Тома" была бы лучшим из того, что когда-либо создавалось на американском континенте. Вспомним, что начиная с XVIII века раздаются голоса: Ветхий Завет чудовищен, Библия повинна в том, что зло в мире неискоренимо — или, по меньшей мере, не искоренено. По мне, если и позволительно восставать на Библию, то по причине прямо противоположной: это слишком увлекательное чтение, чтобы наставлять человечество на путь истинный. Его душеспасительный характер как-то подозрительно быстро бывает задвинут в глубь ящика.

Перед нами история превращения комка глины в человеческий хор, постепенно наполняющий собою вселенную. Основополагающее здесь — поступок, или даже проступок — это как посмотреть, — повлек-

1. Помещение в бездну (*франц.*).

ший за собой изгнание из рая и зовущийся грехопадением. Вокруг первого любовного треугольника – Адам, Ева и Змий – разворачивается до того захватывающая интрига, что вот уже тысячелетия люди гадают: волен ли Творец был не сотворить человека таким – каким Он его сотворил? Если да, то почему Он уподобил творение Себе – а значит, наделил человека Своим творческим потенциалом, который тот не может рано или поздно не реализовать? Или Он как раз втайне этого желал? Сотворил человека на погибель некоему Узурпатору? Или сотворил, а потом передумал? Или начал Один, а завершил Другой? Бог и Дьявол – Кто есть Кто? С Кем в действительности разговаривал Адам тогда в лесу?

Пособие по этике не может быть одновременно и остросюжетным детективом. Сотворение мира, как оно изложено в Библии, это чистой воды детектив, который мы никак не можем распутать. Должно быть, отсюда наша страсть к чтению детективов – занятию якобы непродуктивному, с чем я категорически не могу согласиться. Далеко не каждый детектив написан симпатическими чернилами, чтобы наутро снова обратиться в чистый лист, как райская гурия – к которой по утру возвращается невинность. Яркий пример – евангелие от Честертона, чьи проповеди не выполняют своей задачи по причине, чрезвычайно лестной для проповедника, – захватывающей интриге. А Лев Толстой, казнивший Анну Каренину с такой болезненной яростью, с какой можно лишь казниться? Не входя в противоречие с авторским замыслом, "Анна Каренина" в дополнение к угрожающему эпиграфу могла бы еще иметь подзаголовок: "Яснополянский праведник против прелюбодейки". Роман полностью абсорбировал авторский замысел. Такова природа художественного творчества: самонаведение. Поняв это, глубоко разочарованный автор переключился на другие жанры.

То же и изъясняться притчами: с одной стороны, это вернейший способ заставить людей заслушаться, с другой стороны, именно поэтому донести до них мысль, не расплескав половины, – невозможно. То есть невозможно заставить на практике следовать учению, изложенному столь занимательно. Куда действенней речевки, шествия, скандирование вслед за оратором лозунгов от силы из двух слов, например: "Господь велик!" или "Смерть..." – и далее по смыслу.

Неважно, претендует или нет повествование на роль транспортного средства для доставки *мессиджа* (слово, над которым потешался Набоков: дескать, для этого есть почта), остроумный сюжет, ловко закрученная интрига проникнуты высокой идеей, как и любое проявление высокого артистизма, – идеей творчества. Фильм Хичкока ближе к Богу, чем все увещевания "пророче-

ствующих во стане". На память приходит рычаг второго рода из школьного курса физики: направление сил противоположно друг другу.

Впрочем, сюжет сам по себе может быть иероглифом, в котором запечатлено сообщение — оно непереводимо, оно рассыпается в прах при первой же попытке осмыслить его в системе понятий, выражаемых посредством слова. Тем не менее оно может быть прочитано. Конфета съедается прямо в блестящей обертке-капсуле. Главное, "остерегайтесь подделок!", остерегайтесь квазимессиджа, мнимого сообщения, фальшивые признаки которого маскируют творческую импотентность. Я боюсь называть имена и произведения — боюсь дискредитировать свою мысль: а вдруг кто-то клюнул на эту имитацию подлинности. Обертка вроде бы блестит.

Сюжет — это видимость деятельности на протяжении какого-то определенного отрезка времени, тогда как отсутствие сюжета превращает нас в бездельников в собственных глазах. Интрига — форма данного времяпрепровождения. Ничем не заполненное или, лучше сказать, ничего собой не заполняющее, время давит на человека убийственно. Смертельная скука не фигура речи. Депрессия с ее суицидальными поползновениями — это неспособность выйти или быть выведенным из временно́го хаоса. Вот почему интрига самоценна. Со времен создания Библии литература не знает сюжетов, достойных осуждения ввиду чего бы то ни было и уж менее всего из-за жестокости. Сюжет добр к человеку самим фактом своего наличия, бессюжетность — проявление бесчеловечности к читателю.

Бывает, наличие сюжета перестает замечаться. Он делается обрамлением тонких психологических портретов, изысканных видов, натюрмортов — того рефлектирующего гурманства, из которого, как из снов, внутри сюжетного времени соткано новое время, образуя своего рода театр в театре. Отсюда ощущение разрывов сюжетной ткани, фрагментарность. Ну, конечно же Пруст. Но и Стерн, и Гомер — оргазм мгновений, длящихся вечность, когда эпизод затмевает целое и ты букашкой едва ползешь по каменным отрогам, которые оказываются то ноздрей Джорджа Вашингтона, то ногтем Авраама Линкольна. Кроме сцены из фильма "На север через северо-запад", у меня есть и более почтенная аллюзия на немыслимую гипертрофию привычно малого: барочное группетто, превратившееся за сто лет из птичьей трели в мелодическую фигуру, отяжелевшую под воздействием позднеромантической австрийской музы, исполненную малеровского пафоса, растянувшуюся на полтакта. Другими словами, и сюжет и интрига незримо присутствуют всегда, но несоразмерность с нами делает

их в какой-то момент невидимками.

Этический аспект интриги — как это понимать? Если согласиться с тем, что демократия при всех ее издержках — наилучший социальный порядок, известный нам, то интрига — лучшее, что может предложить читателю литература в социальном плане. Равенство всех перед интригой очевидно. Точно так же, как все равны перед природными катаклизмами, физической болью, половым влечением, все равны в потребности себя развлечь — от принца крови до разносчика пиццы. "Да здравствует демократия!" в условиях несвободы может быть заменено вполне безобидной на первый взгляд бессмыслицей: "Да здравствует интрига!" Так в подмандатной Палестине позывными радиостанции "Кол Исраэль" была "Влтава" Сметаны — сионистский гимн, только в ритме вальса.

Интрига — это прежде всего комбинаторика, сочетание первоэлементов сюжета, выбор которых достаточно ограничен, о чем уже говорилось и чему я успел порадоваться в силу парадоксалистских своих наклонностей: беспрепятственная миграция сюжетов под видом беспрепятственной миграции людей, лишенных возможности приобщиться к земной цивилизации и так далее. Но сочетание — это одновременно и сочетаемость с зависимостью ее от общественного вкуса, который все больше формируется в границах поколения, нежели сословия. Я не приемлю ни джинсы в сочетании с жилеткой от костюма тройки, ни Микки-Мауса рядом с квадригой Аполлона над фронтоном оперного театра. Моя буржуазность, в отличие от буржуазности моих детей, себя не стесняется и в кавычки себя не берет. По этой причине мое восприятие интриги как комбинации микросюжетов иное, чем у них, смешивающих и соединяющих вещи, на мой взгляд, несоединимые. Интрига — это еще и измерительный прибор, с помощью которого составляется фоторобот поколения. (Учитель — ученику, в этот момент ломающему голову, где раздобыть денег на аборт соседке по парте: "В каком году Екатерина Великая даровала вольности благородному дворянству?" — "Мне бы ваши заботы, господин учитель".)

У декадентов сам термин "интрига" устойчиво ассоциировался с водевилем и тому подобным неприличием. Ату ее! Но изгнания в никуда не бывает. Став нерукопожатной в храме искусства, интрига сделалась в жизни его жрецов тем же, чем была на сцене или на страницах книг. Не то чтобы в кругу артистической богемы склоки, ревность, измены были чем-то новым. Просто новая эстетика поведения включала в себя эстетику скандала, то есть его театрализацию, как и театрализацию еще многого из того, что

имеет отношение к интриге. В этом "обратном превращении Бедлама в Вифлеем" ее триумф.

Для меня лично слово "интрига" началось с "Трех мушкетеров", субъективно, быть может, прекраснейшей книги моей жизни. Интрига — это звон клинков, развевающиеся плащи с крестами, клевреты кардинала, бастион Сен-Жерве, иллюстрации Лелуара. Интрига не дает уснуть, а утром — в школу...

Я благодарю вас за внимание.

Что вы за писатель?

Экспресс-тест

Перевод с немецкого и вступление Н. Васильевой

Экспресс-тесты (медицинские, психологические, политические) стали неотъемлемой частью современной жизни и незаменимым сегодня инструментом самопознания. Предлагаем вниманию читателей "литературный" экспресс-тест. Он был разработан газетой "Франкфуртер альгемайне цайтунг" и предназначен для быстрой диагностики писательского "я" в стрессовых условиях Франкфуртской книжной ярмарки.

В случае возникновения негативных побочных эффектов в результате тестирования просим обращаться непосредственно в "ФАЦ".

Краткая информация о писателях и политиках, до сих пор недостаточно известных русскому читателю, дается в приложении к тесту.

Вы оказались на Франкфуртской книжной ярмарке, кругом — шум, суета. Может быть, вы даже заблудились. И тут вас останавливают незнакомые люди, просят подписать книгу. Вы же все-таки знаменитость.

А что, если во всей этой кутерьме вы вдруг как назло забыли, кто вы на самом деле? Немудрено, здесь ведь сотни подобных вам, часто и различия уловимы лишь в конкретных деталях.

Выйти из затруднения вам поможет наш экспресс-тест, он займет у вас не более минуты. Если у вас из-за перегруженности графика встреч даже и на это нет времени, не огорчайтесь, все и так ясно: вы — Франк Шетцинг.

© Н. Васильева. Перевод, вступление, 2010

Вы сербофил?

Нет

Вы хорошо пишете?

Нет

Вы написали хотя бы один бестселлер?

Нет

Да

Вы — Ж. М. Г. Леклезио

Вы можете похвастаться ангельскими локонами?

Нет

Да

Вы понимаете шутки?

Нет

Вы — Уве Телькамп

Вы по натуре человек скорее чувствительный?

Нет

Да

Вы — Гюнтер Грасс

Петер Штрук уже когда-то путал вас с Андреей Налес?

Нет

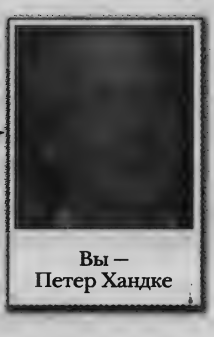
Да

Вы — Рихард Давид Прехт

Вы — Алекса Хеннинг фон Ланге

Вы — Инго Шульце

Да



Вы — Петер Хандке

Да

Вы пишете чертовски хорошо?

Нет

Да

Ваши лучшие времена уже позади?

Вы — Райнхард Йиргль

Нет

Нет

Вы цените лаконичность?

Да

Да

Да

Вы — Дэвид Фостер Уоллес

Играть в футбол вас одноклассники всегда брали последним?

Это вы открыли межчелюстную кость?

Да

Нет

Вы — Вольфганг Гёте

Нет

Да

Вы — Юдит Герман

Вы — Эльфрида Елинек

Вы — Даниэль Кельман

Франк Шетцинг (р. 1957) — немецкий писатель, автор политриллера "Беззвучно" (2000) и технотриллера "Стая" (2004)[1], обе книги стали бестселлерами. "Стая" занимала в Германии в списке бестселлеров второе место после "Кода да Винчи" Дэна Брауна. В 2009 г. вышел новый научно-фантастический триллер Шетцинга "Лимит", который уже возглавляет списки бестселлеров.

Рихард Давид Прехт (р. 1964) — немецкий писатель и публицист, автор научно-популярных книг на философские темы, наибольшую известность получило его произведение "Кто я — и если да, то сколько?" (2007), которое возглавляло список бестселлеров журнала "Шпигель" за 2008 год. В 2009 году вышла новая книга Прехта "Любовь. Беспорядочное чувство", посвященная физиологическим, психологическим, культурно-социологическим аспектам любви, она тоже включена в список бестселлеров журнала "Шпигель".

Алекса Хеннинг фон Ланге (р. 1973) — немецкая писательница и телеведущая, ее дебютный роман "Релэкс" (1997) — о взрослении, сексе, наркомании — принес ей огромный успех.

Инго Шульце (р. 1962) — немецкий прозаик, по выражению Гюнтера Грасса — один из "грандиозных рассказчиков" новых, восточных федеративных земель. Его роман "Simple Storys"[2] (1998) стал бестселлером. В октябре 2009 года вышел сборник эссе и выступлений И. Шульце "Чего мы хотим?", представляющий его автора и как критика современной германской действительности, озабоченного "повсеместным наступлением эксцессивного капитализма" и "исчезновением Запада с человеческим лицом".

Уве Телькамп (р. 1968) — немецкий прозаик, по образованию врач. Наибольшую известность принес ему его "эпохальный дрезденский роман" "Башня" (2008)[3], усложненно иносказательный и полный историко-философских рефлексий.

Дэвид Фостер Уоллес (1962—2008) — один из самых талантливых современных американских писателей. Наиболее

1. Русский перевод 2006.
2. Русский перевод 2003.
3. Отрывки из этого романа опубликованы в "ИЛ" 2009, № 10.

известен его 1000-страничный роман "Бесконечная шутка" (1996). В 2008 году Уоллес покончил собой. Весть об этом увеличила спрос на его произведения, и "Бесконечная шутка" вошла в двадцатку самых покупаемых книг. В 2009 году вышел ее немецкий перевод.

Даниэль Кельман (р. 1975) – немецкоязычный писатель, живет в Вене и Берлине, автор романов, рассказов, литературных эссе. Его роман "Измеряя мир" (2005)[1] по количеству проданных экземпляров – самый успешный роман на немецкоязычном книжном рынке. В январе 2009 года вышла новая книга Кельмана "Слава. Роман в девяти историях", вызвавшая весьма разноречивые оценки рецензентов: "литература мирового уровня", с одной стороны, и "не больше, чем опусы филолога-германиста", с другой.

Юдит Герман (р. 1970) – первый сборник рассказов "Летний домик, позже"[2] (1998) принес ей огромный успех, второй – "Сплошные приведения" (2003) – был встречен критикой холодно.

Райнхард Йиргль (р. 1953) – немецкий прозаик, инженер по образованию, с 1996 года – свободный художник, писатель[3]. Главными отличительными чертами художественного стиля его романов является, по признанию немецких критиков, исключительная образность языка и высокая смысловая нагруженность текста.

Петер Штрук (р. 1943) – бывший министр обороны ФРГ, один из лидеров СДПГ, до недавнего времени глава фракции социал-демократов в бундестаге.

Андрея Налес (р. 1970) – лидер левого крыла Социал-демократической партии Германии, член фракционных группировок парламентских депутатов левой ориентации, бывший председатель "Молодых социалистов".

Frankfurter Allgemeine Zeitung zur Buchmesse
14. Okt. 2009. S. 10–11

1. Русский перевод 2009.
2. Русский перевод 2009.
3. На русский язык переведен его роман "Собачьи ночи" (2007).

Великое дело — контекст

Питер Акройд: Шекспир. Биография / Перев. с англ. О. Кельберт. — М.: Колибри, 2009. — С. 736. (Серия: Отдельные проекты. Жанр: Биографии писателей и ученых. Жизнь знаменитых людей)

Издательство "КоЛибри" выпустило перевод новейшей биографии Шекспира, написанной Питером Акройдом, знаменитым бытописателем старого Лондона, автором чудесной книги о Темзе как национальном символе Британии и многих других исторических сочинений, столь же занятных, сколь и поучительных. Взятые вместе, они составляют не просто серию физиологических очерков частного быта англичан четырех прошедших столетий — от елизаветинских времен до викторианского века, — но своего рода энциклопедию английской жизни, английского характера, английских традиций, английского взгляда на мир. Это не труды философа или социолога, предающегося поискам всеобъясняющих теоретических формул. Смысл и обаяние историографического стиля Акройда — в его восхитительном эмпиризме, в его истинно британской любви, можно даже сказать — нежности к отдельной исторической детали, которая входит в общий поток исторического процесса, но не теряет при этом своей единственности, то есть в конечном счете — к образу жизни обыкновенных людей: их бесконечно многообразными характерами, лицами, голосами, их маленькими победами и поражениями, удачами и несчастьями до отказа заполнены книги Акройда. Никто лучше этого автора не умеет передать шум движущейся жизни и нас научить слышать его за сухими строками казенных документов, составляющих традиционную историческую фактологию. Какой-нибудь Джон Смит с Окленд — мьюз для Акройда не менее важен, чем, скажем, Чарлз Диккенс или Оскар Уайльд; и дело тут не в какой-то там особой демократической любви к "простым людям Англии", а в современной исторической методологии, которая отказывается видеть в прошлом одну только галерею великих личностей, а пытается прежде всего разгадать загадки "немотствующего большинства" (термин "Школы анналов" и А. Я. Гуревича), понять, как и чем жили бесчисленные Джоны Смиты прежних времен, чьи безвестные жизни в совокупности складывались в материю большой истории.

Но как в таком случае составлять жизнеописание Шекспира, принадлежавшего, казалось бы, совсем не к "немотствующему большинству", а как раз к личностям, зачисленным в список мировых гениев. Вспомним, однако, что он по-

пал в этот список лет через полтораста после смерти, когда перед изумленным человечеством постепенно, шаг за шагом стали развертываться смысловые слои созданных им текстов, до поры до времени скрытые не только от его современников, но большей частью — рискнем это утверждать — и от него самого. Что бы там сочинитель "Гамлета" ни думал о себе и своей посмертной судьбе, он писал не для потомков, не для читателей грядущих веков, не для идеальной сцены будущего, но для подмостков своего театра, для современной ему театральной публики и, добавим, для нее одной. То есть для того самого "немотствующего большинства", полуграмотной толпы, которая несла в театры свои зажатые в потных кулаках трудовые пенсы и тем самым обеспечивала существование великого сценического искусства в ренессансной Англии. Тот, кому предстояло со временем стать символом мировой культуры, должен был думать не столько об участи человечества, сколько о сборах "Глобуса" и "Блэкфраейрса". Принц Гамлет учит актеров приезжей труппы прислушиваться не к мнению злобонного простонародья, но лишь к суждениям избранных, к словам знатоков. Но, последуй автор пьесы советам своего героя, он и его труппа немедленно прогорели бы. Шекспир, актер и пайщик "Глобуса", должен был считаться со вкусами этой толпы, да и вряд ли ощущал это как тяжкий долг и обузу. Он был елизаветинцем, человеком своего времени, он жил в круге понятий о мире, сложившихся в елизаветинской Англии, и вряд ли предполагал, что когда-нибудь его Англию будут называть шекспировской.

Вот об этом Шекспире, жителе Стратфорда, актере, который играл в Лондоне и сочинял пьесы для Слуг лорда Камергера, а потом бросил сцену и вернулся в свой Стратфорд, чтобы там умереть, об этом человеке великой и бурной эпохи, прожившем жизнь, далекую от мещанского представления о том, как следует жить гению, написана книга Питера Акройда.

Шекспир вел жизнь, мало чем отличавшуюся от того, как жили прочие его современники, что вовсе не говорит о том, что он не был способен сочинить шедевры, дошедшие до нас под его именем. Чтобы написать "Отелло", не нужно непременно задушить свою жену. Гений совершенно не обязан вести некое особое существование. Об этом ясно сказано у Пушкина: "И средь детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он. / Но лишь божественный глагол / До слуха чуткого коснется..."

Акройд не покушается на открытие новых фактов шекспировской биографии, их попросту нет и, полагаю, уже не будет. Все, что можно было найти, нашли; все, что можно было узнать, узнали. В итоге трехвековых исследований нам известно о Шекспире больше, чем о большинстве его современников. И все равно, как мало мы о нем знаем, какой убогой кажется цепочка достоверных фактов его биографии рядом с тем, что он для нас значит.

Но под пером Акройда тысячу раз повторенные, на зубах навязшие факты о жизни Шекспира, погруженные биографом в живую воду исторического контекста, сопоставленные с мно-

жеством других аналогичных документальных свидетельств, неожиданно приобретают новые и безупречно достоверные смыслы или по крайней мере смысловые оттенки. Жизнь Шекспира вплетена в книге в сложную сеть других жизней, его лицо окружено великим множеством других лиц — стратфордских соседей, лондонских актеров, придворных, столичных жуликов, торговцев, подмастерьев, события его жизни помещены в среду огромных и малых, совсем крошечных обыденнейших событий, составляющих течение исторического потока. Хрестоматийные сведения складываются в многокрасочную картину, исполненную свежести, поразительной новизны и точности. И тогда "антистратфордианские" аргументы, кажущиеся столь эффектными на поверхностный взгляд, вянут и сами собой рассыпаются на глазах. Вот первый попавшийся пример. Когда до современного читателя, легко прельщающегося всякого рода разрывами с узаконенным и общепринятым, доходит известие о том, что в завещании Шекспира нет ни слова о книгах, о домашней библиотеке, будущей судьбой которой литератору, казалось бы, приличествует озаботиться в первую очередь, он, читатель, испытывает понятное сомнение: неужели автор "Гамлета" и "Бури" мог забыть о своем главном богатстве. Да он ли это, право? Но стоит только поставить шекспировское завещание в один ряд с другими подобными документами, цель которых — не оставить духовный тестамент человечеству, а вполне казенным образом распорядиться своим имуществом, все становится на свои места. Уверяю вас, между хранящимися в отделах кадров анкетами сверхгениев и распоследних обывателей мало разницы: анкета есть анкета. Вдобавок загляните в тексты завещаний, составленных другими, в том числе самыми знаменитыми, самыми образованными людьми елизаветинской эпохи, учеными, литераторами, драматургами, и вы найдете, что упоминания о книгах попадаются в них не просто редко, но только в особых, исключительных случаях. В ту пору писать о книгах в завещании — жест крайне экстравагантный, и его отсутствие вовсе не говорит о равнодушии завещателя к изящной литературе. Не говоря уж о том, что тексты завещания обычно писались специально приглашенными нотариусами, делавшими это по принятому шаблону. Как это было и в шекспировском случае.

Шекспир был человек театра, и это с неопровержимой ясностью и увлекательностью показано в книге Акройда. Шекспир прожил свою жизнь в театре, среди актерских разговоров и бутафорских мечей. Он обладал безошибочным чутьем театрального пространства и сценического времени. Каждая его пьеса представляла собой сугубо театральный текст, своего рода режиссерскую партитуру, в которой были выстроены каждая мизансцена, каждый жест, каждый миг, каждая перемена сценического действия. Обо всем этом идет речь у Акройда. На страницах книги развернута замечательно полная картина жизни елизаветинского театра. Только в давней книге А. А. Аникста, вышедшей в серии "ЖЗЛ", русский читатель

может почерпнуть сопоставимые по широте охвата исторические сведения об устройстве театра шекспировской эпохи. Но книга Аникста была написана почти полвека тому назад (кстати, в этом году ее автору – 100 лет). С тех пор в шекспироведении немало изменилось. В своей книге Акройд использует самые последние открытия историков театра. Так, ведя речь о театре "Роза" и его знаменитом владельце Филипе Хенсло, он опирается на новейшие разыскания театральных археологов, проводившиеся в процессе раскопок "Розы", когда в 1989 году перед взорами лондонцев предстали чудом сохранившиеся остатки театра конца XVI столетия – увы, лишь на короткое время, поскольку на этом месте собирались построить и, несмотря на дружное сопротивление англичан, быстро построили очередной офис-центр. Акройд (как, кстати, и автор этих строк) был среди тех счастливцев, кто успел увидеть этот изумительный памятник, выглянувший из-под земли и немедленно отправленный обратно. "Розу", увы, никто больше никогда не увидит, но кратковременное ее воскресение породило целую литературу и помогло обновить традиционные воззрения шекспироведов.

Книга Акройда – настоящий театральный роман. Как и вся жизнь Шекспира.

Временами, особенно во второй части книги, Акройд, строгий документалист, уступает искушению пересечь черту, отделяющую жизнеописание от филологически-философского анализа, поддается понятному, но в данном случае непростительному соблазну взглянуть на предмет не с точки зрения создавшей его эпохи, а с позиции вечных ценностей – sub specie aeternis, то есть попытаться изъяснить творчество Шекспира в той полноте их содержания, которая начала открываться с течением времен – вплоть до наших дней. Я вовсе не хочу сказать, что в принципе этого делать не стоит, и что нам следует, отказавшись от всего, что увидели в Шекспире и его пьесах потомки, искусственно ограничить себя кругом представлений, свойственных людям шекспировской эпохи, то есть тем, что они способны были вычитать в шекспировских текстах. Потомки проникли в смысл пьес Шекспира куда глубже, чем его современники. Но писать об этом – это другой жанр, другая работа – та, в которой автор книги, надо признаться, не очень-то силен. Когда он вдруг ни с того ни с сего предается философствованию (не слишком глубокому) и пускается рассуждать "о высоком и прекрасном", это часто приводит к конфузам и банальности. То, что он пишет, скажем, о "Гамлете", немногим содержательнее школьных учебников. Он идеальный фактолог и талантливый реставратор давно ушедшего мира, и лучше бы он не брался не за свое дело, не выступал в несвойственном ему роде, не покушался на миссию открывателя глубинных смыслов, которые еще не были доступны ни современникам автора, ни большей частью ему самому.

К счастью, таких страниц в огромной книге не так уж много. Правда, сказать, что они совсем ее не портят, никак нельзя. Совет: когда обнаружите эти страницы, можете с чистой со-

вестью пропустить их. Найти же эти места в книге Акройда очень легко: как только уровень информативности текста падает, ритм становится вялым, лексика невыразительной, а новизна высказываний — сомнительной, перед вами — попытки биографа стать толкователем. Смело спешите дальше — до тех пор, пока речь снова не зайдет о деле.

Каждому следует занимать внимание читателей тем, чем он (сочинитель) силен.

Полагаю, эта сентенция нисколько не унизительна для автора книги (суди, дескать, не выше сапога), это всего только иной способ передать восхищение истинными достоинствами его труда, богатством его реальных знаний, безупречным чувством исторического времени и замечательной способностью это чувство выразить. Среди авторов биографических сочинений соперников ему мало.

Я читал великое множество жизнеописаний Шекспира. Поверьте мне, книга Акройда — лучшее из них.

Если вы еще не купили и не прочли эту книгу, не откладывайте покупки в долгий ящик, поспешите в книжную лавку: изданная приличным по нашим временам тиражом (4000 экземпляров), книга, тем не менее, быстро исчезает с прилавков.

Обещаю Вам несколько дней сплошного удовольствия, которого не смогут испортить даже чудовищные ошибки перевода. Их пруд пруди, нет ни места, ни времени, ни охоты перечислять. Приведу только один пример из длинного списка (если готовят переиздание, могу прислать весь список). Слово playhouse (театр, театральное здание) переведено как "игорный дом". В этом доме и вправду играют, но совсем не в карты.

Алексей Бартошевич

У книжной витрины

с Михаилом Визелем

Милорад Павич *Биография Белграда* / Пер. с сербского Ларисы Савельевой. — СПб.: Амфора, 2010. — 320 с. — 5000 экз.

Первая книга Милорада Павича, вышедшая по-русски после кончины автора, отнюдь не является его последней книгой. Более того, она вообще является не цельным произведением, а собранием эссе, литературоведческих статей и выступлений. Сочинение, давшее название всему сборнику, появилось еще в 1990 году и начинается характерной фразой: "Писатель я уже более двух сотен лет". Впрочем, несмотря на подобное начало, это действительно история родного города Павича — поэтическая и пристальная. Другие тексты книги гораздо короче, но не менее любопытны, особенно для русского читателя. Названия их говорят сами за себя: "Романы без слов", "Есть ли будущее у карандаша", "Захарий Орфелин, один из писателей библиотеки Пушкина".

Сэм Сэвидж *Фирмин: Из жизни городских низов* / Пер. с англ. Елены Суриц. — М.: Иностранка, 2010. — 224 с. — 5000 экз.

Автор и протагонист этой книги, можно сказать, соревнуются в экстравагантности. Первый — 66-летний (на момент выхода книги в 2006 году) дебютант, обладатель длинной бороды и докторской степени Йельского университета, изучавший философию в Гейдельберге и не понаслышке знающий о битниках и интеллектуалах-маргиналах. Второй — крысеныш, родившийся и проживший жизнь в угасающем районе Бостона 60-х. Его "предсмертные записки" — нечто среднее между "Житейскими воззрениями кота Мурра" и "Записками из подполья". Больше, конечно, от Мурра. Только живущий в книжной лавке Фирмин — не самодовольный обыватель, а, наоборот, вполне вуди-алленовский персонаж, тонко чувствующий и все подмечающий городской невротик, комплексующий по поводу того, какой он маленький и невзрачный. Но отнюдь не лишенный самоиронии. А главное — начитанный сверх всякой меры. Помимо бесконечных реминисценций и цитат, которым нашпигованы "мемуары" Фирмина, он предваряет каждую главу обложкой какой-то книги — от "Лолиты" до "Отцов и детей", от "Ветра в ивах" до "Гроздьев гнева" — и в главах

возникает перекличка с этими "Большими книгами", как называет их автор.

Павел Хюлле *Тайная вечеря* / Пер. с польского Ксении Старосельской. — М.: НЛО, 2009. — 240 с. — 1000 экз.

Однажды, в начале 80-х, в ресторанчике гданьского отделения Союза кинематографистов Польши собралась на ночь пестрая компания, в которой оказались — не то чтобы случайно — художник и писатель. Место по тем временам считалось "элитным" и "богемным", компания ощущала и вела себя соответственно. Двадцать лет спустя, в другую эпоху, художник, приступая к огромной картине на тему евангельской Тайной вечери, решает собрать участников той давней вечеринки, чтобы те попозировали ему для апостолов. В их числе — и писатель, автор романа, повествующего, как герои добираются до гданьского костела, а заодно и до самих себя двадцатилетней давности. И сравнивают с собой — нынешними. Рефлексии о личном прошлом персонажей переплетаются с историческими экскурсами, а лирические отступления — с публицистически-футуристическими пассажами. И все это — на пространстве 240 страниц. Роман вышел в серии "Новое европейское письмо", и, действительно, вот оно, перед нами — в лучшем своем проявлении.

Эудженио Монтале *Динарская бабочка* / Пер. с итальянского Евгения Солоновича. — М.: Река времён, 2010. — 248 с. — 3000 экз.

Выражение "проза поэта" может звучать как высшая похвала и как вежливый уход от обсуждения качеств этой самой прозы. В данном случае оно звучит скорее как ключ. Эссеистические, мемуарные, пейзажные, фантазийные миниатюры одного из самых известных — и одного из самых "темных" — итальянских поэтов XX века позволяют понять, "из какого сора" росли его стихи. А кроме того — как порядочным людям удалось пережить "позорное двадцатилетие" муссолиниевского режима. И не просто пережить, но и жить дальше — в наступившей новой эпохе, отнюдь не для всех ставшей эпохой "сладкой жизни".

Дэвид Гранн *Затерянный город Z. Повесть о гибельной одержимости Амазонией* / Пер. с англ. Алексея Капанадзе. — М.: КоЛибри, 2010. — 480 с. — 7000 экз.

Образчик жанра нон-фикшн в том виде, в каком понимают его сейчас в англоязычном мире. С одной стороны — кропотливое и тщательно задокументированное исследование, потребовавшее от автора-журналиста перекопать сотни книг и архивных документов, опросить десятки людей и лично

отправиться по местам "боевой славы" своего героя – бесстрашного полковника Фоссета, "последнего первооткрывателя-одиночки", канувшего в 1925 году в амазонских джунглях. С другой – личная, чуть комичная история погружения автора, типичного нью-йоркского интеллектуала, в чуждый ему доселе мир суровой романтики. Усилия Гранна оказались оценены по достоинству: книга вошла в шорт-лист престижной премии (в области нонфикшн) Сэмюэла Джонсона, а голливудская суперзвезда Брэд Питт заявил, что непременно хочет ее экранизировать, так его заворожил созданный автором образ полковника. Хотя внятный хэппи-энд по понятным причинам выкроить едва ли получится.

Примо Леви *Канувшие и спасенные*[1] / Пер. с итальянского Елены Дмитриевой. – М.: Новое издательство, 2010. – 196 с. (тираж не указан)

В этой книге 1986 года итальянский химик и писатель, проведший одиннадцать месяцев в Освенциме, подытоживает свой опыт обращения к мучавшей его всю жизнь теме Холокоста – теме, одним из первооткрывателей которой он сам и выступил в книге "Человек ли это?" (1947). Мало того: оказалось, что Леви подытожил в ней и свой жизненный опыт: через несколько месяцев после ее выхода он покончил с собой, бросившись в лестничный пролет. Казалось бы, что нового мы можем найти в ней сейчас? Например, вот что: "любой бывший узник подтвердит вам, что первые удары ему нанесли не эсессовцы, а заключенные... одетые в такие же полосатые куртки, какие только что выдали им... и это было настоящим потрясением".

Морис Карем *Кошки-мышки* / Пер. с фр. Михаила Яснова. – М.: Розовый жираф, 2010. – 64 с. – 7000 экз.

До русских читателей (и родителей) добралась книга бельгийского классика французской детской литературы. Точнее, две книги: посвященная мышкам и посвященная кошкам. Этот "антагонизм" подчеркивается верстской с двумя лицевыми обложками, так что книгу следует читать – и, разумеется, рассматривать – с двух сторон. Детские книги увеличенного формата – "именины сердца" для художников-оформителей, и Анастасия Орлова "на полную катушку" – но при этом не теряя вкуса – пользуется возможностью. То же можно сказать и про детские стихи в переводах Михаила Яснова: "Ну и Луна! Какая жалость! Она совсем-совсем ужалась! Там, в небесах, мышиный пир: Луну обгрызли, словно сыр!" "Фу-ты, ну-ты, аты-баты, У кота очки из ваты. Риги-риги-ригидон, что в очках увидит он?"

1. См. рецензию на эту книгу в "ИЛ", 2010, № 5.

Новые книги Нового Света

с Мариной Ефимовой
(Совместно с радио "Свобода")

Carol Sklenicka *Raymond Carver. A Writer's Life.* — Scribner, 578 p.

Raymond Carver *Collected Stories* / Edited by W. L. Stull and M. P. Carrol. — The Library of America, 2009. — 1019 p.

Раймонд Карвер — американский поэт и прозаик, автор коротких рассказов, которые критики признают лучшими рассказами нового писательского поколения, пришедшего после Джона Чивера и Фланнери О'Коннор. Кстати сказать, тридцатишестилетний Карвер и шестидесятилетний Чивер познакомились и подружились в Айове, в 1973 году, где оба вели писательские семинары и беспробудно пили. Карвер писал в дневнике:

Мы ничего больше не делали, только пили. По-моему, ни он, ни я даже не сняли чехлов с наших пишущих машинок.

Дружба двух замечательных рассказчиков двух разных поколений продолжалась недолго, поскольку сразу после семинаров оба попали сначала в больницу, а потом в группу "Анонимных алкоголиков". Чиверу это не помогло, а Карвер пить бросил, но стал вдвое больше курить и умер от рака легких в 1988 году, едва дожив до пятидесяти лет.

Стиль Раймонда Карвера — минимализм. Наставником молодого Карвера был писатель Джон Гарднер, который учил его сокращать каждый абзац, состоявший из двадцати пяти слов, — до пятнадцати. А безжалостный редактор Карвера — Гордон Лиш — требовал довести это сокращение до пяти слов. Такой стиль в Америке получил и другое название, определяющее целое направление прозы 70—80-х годов XX века — "грязный реализм". Вот одно из его определений — само достаточно минималистское:

Грязный реализм требует такой экономии слов, что всякое описание подвергается стриптизу и доводится до базового минимума. Остальное отдается диалогу. Рассуждений нет, смысл диктуется содержанием. Персонажи, как правило, — люди не выдающиеся.

И вот при таком минимализме в каждом рассказе Карвера (размером в несколько страниц) умещается серьезная драма, или даже трагедия его "не

выдающихся" персонажей. По девяти его рассказам режиссер Роберт Олтман поставил в 1993 году замечательный фильм "Короткий монтаж" – "Short Cuts". Туда вошли такие сильные вещи Карвера, как "Самые мелкие мелочи", "Они тебе не муж", "Скажи женщинам, что мы уходим" и "Соседи".

Стиль рассказов Карвера сравнивают со стилем Хэмингуэя, но сам Карвер писал о влиянии на него Чехова и русской литературы. Он даже написал рассказ о последних часах жизни Чехова ("Errand") и сценарий фильма о Достоевском.

Карвер родился в 1938 году на американском Дальнем Западе, но его характер, стиль жизни, отношения с женщинами поразительным образом напоминают российских писателей. Он рано женился и родил двоих детей, а потом начал метаться, бросаться от одной работы к другой, лихорадочно пить и лихорадочно писать. Семью практически содержала жена Марианна, которой автор биографии отводит во всей истории незначительное место – в отличие от рецензента книги, писателя Стивена Кинга:

> Всю молодость Карвер переезжал с места на место, волоча за собой жену и детей, как пустые жестянки, которые привязывают к автомобилю новобрачных. Талантливый и созидательный в искусстве, в жизни Карвер был разрушителем. Он пропивал все, что мог и чего не мог.

Марианна встретила Раймонда – любовь своей жизни, – когда ей было четырнадцать лет, вышла за него замуж в шестнадцать, а к девятнадцати уже стала матерью двоих его детей. Четверть века она поддерживала мужа, работая официанткой, метрдотелем, коммивояжером. Однажды все лето паковала фрукты на ферме – чтобы купить мужу его первую пишущую машинку. Марианна была красавицей, а Карвер – ревнивым собственником. В 1975 году на вечеринке он так приревновал ее, что чуть не убил, ударив по голове винной бутылкой. Но Марианна так и не разлюбила – ни Карвера, ни его талант, – даже когда он ушел к другой женщине: поэтессе Тесс Галлагер.

Биограф Кэрол Скленика комментирует поведение своего героя лишь цитатой из романистки Дианы Смит, писавшей о поколении Карвера: "Это было поколение плохих мужчин". Но Скленика не отдает дань восхищения Марианне. И я с удовольствием делаю это за нее.

Зато биограф Кэрол Скленика замечательно описывает другое действующее лицо в жизни Карвера, сыгравшее поразительную роль в его писательской судьбе, – редактора издательства "Альфред Кнопф" Гордона Лиша, литературного Пигмалиона. Гордон Лиш был (и остается – ему сейчас семьдесят два года) очень хорошим редактором, но иногда он не знал удержу. Уверенные в себе писатели умели противостоять его хирургическому вмешательству

в текст. Но не Карвер. Особенно драматична история третьего сборника его рассказов — "О чем мы говорим, когда говорим о любви":

Сначала было два варианта: рукопись, посланная автором, и первая редактура Лиша. Там, среди прочего, Лиш изменил название рассказа "Начинающие" на другое — взятое из текста: "О чем мы говорим, когда говорим о любви". (Так назван и весь сборник.) Карвер был обескуражен, но согласился (идея названия ему понравилась). Но затем последовала третья версия — окончательная редактура Лиша. Карвер был потрясен: он соглашался на скальпель, но не на нож мясника. В течение работы над книгой письма Карвера Гордону Лишу сводились то к восторженному признанию гениальности редактора, то к мольбам о возврате к прежней версии и даже к просьбе остановить публикацию книги. Лиш, наконец, позвонил, наотрез отказался отменять свои переделки и дал Карверу понять, что имеет право на публикацию сборника. Книга вышла и имела грандиозный успех.

Переделки редактора Лиша были не только стилистического свойства, но и идейно-философского. Во всех рассказах Карвера он последовательно вырезал любой свет. В рассказе "Куда девается вся джинса" пожилому герою, убитому горем из-за болезни любимой жены, молитва не приносит облегчения до тех пор, пока он не молится за молодую парочку в джинсах, страшно раздражившую его в начале дня. Лиш убрал из текста молитву, и в его варианте рассказ кончается на ноте беспросветности. И так — везде.

Многие критики предпочитали версии Лиша, а не те, которые были опубликованы в журналах до его редактуры. И я была рада отметить, что Роберт Олтман для фильма "Короткий монтаж" использовал оригинальные версии Карвера. В новелле про мальчика, попавшего под машину в день своего рождения, взбешенный кондитер, у которого не выкупили дорогой заказной торт, не зная причины отказа, без конца звонит несчастным родителям, чтобы отчитать их. Этими звонками версия и кончается. У Карвера (и у Олтмана) родители мальчика приходят в кондитерскую, и после душераздирающего вопля матери кондитер неожиданно уговаривает их выпить кофе с булочками. "В такие минуты, — говорит он, — могут помочь самые мелкие мелочи". Рассказ и называется — "Самые мелкие мелочи".

Вмешательство редактора Лиша было настолько принципиальным, идеологическим, настолько сужало эмоциональный спектр Карвера, что недавно вдова писателя, Тесс Галлагер, решила вернуть покойному мужу его авторство. Решение это довольно опасное, поскольку рассказы Карвера в их отредактированном виде уже вошли в историю литера-

туры. Тем не менее с выходом книги "Собрание рассказов" читатели смогут прочесть Раймонда Карвера, освобожденного от Гордона Лиша.

MISHA GLENNY *McMAFIA. A Journey Through the Global Criminal Underworld.* — Random House, 2008

Глэнни — в недавнем прошлом европейский корреспондент Би-би-си — начинает свой тур де форс по горячим точкам международного преступного мира с республики Транснистрия, приведя в изумление рецензента "Нью-Йорк таймс" Уильяма Граймса:

Эта отколовшаяся от Молдовы крошечная республика размером с самый маленький американский штат Род-Айланд развила преступную деятельность такой мощи, которая не под силу преступным организациям больших государств. Через нее идет нелегальная торговля вооружением бывшей советской армии, а также новым оружием, поставляемым двумя полулегальными военными заводами. В своей книге Глэнни пишет, что это оружие отправляется через Одессу во все воюющие страны — на Кавказ, в Центральную Азию, на Ближний Восток, в Западную и Центральную Африку". И дальше Глэнни обрушивает на читателя не совсем последовательный, но ошеломляющий отчет о шабаше преступности в сегодняшнем мире: нелегальные интернетные операции, нелегальные сделки по продаже энергии и оружия, наркотические картели, подделка фирменных товаров, проституция, использование рабского труда, организованная кража автомобилей, контрабанда иммигрантов, браконьерство... Словом, в сегодняшнем мире "crime pays" — преступление выгодно, даже очень выгодно!

Кстати, если вернуться к Транснистрии, то любопытно вспомнить, что ее преступное настоящее перекликается с преступным прошлым. Во время войны этот район — Приднестровье — немцы отдали Румынии, и на его территории за годы войны были расстреляны и заживо сожжены десятки тысяч человек — в основном российские и румынские евреи. Однако Транснистрия — лишь первая остановка в мрачной экскурсии Миши Глэнни. За последние четверть века несколько исторических событий в мире открыли широчайшие возможности для преступников всех мест проживания, всех национальностей и всех специализаций.

Во-первых, страны Советского блока после его распада выпустили на мировой рынок труда тысячи номенклатурщиков. Работу потеряли сотрудники секретных служб, военные разведчики, командос различных спецслужб, работники угрозыска и бойцы подразделений береговой охраны... Их профессиональными занятиями были: слежка, создание агентурной сети, контрабанда, погони, военизированная охрана,

убийства, шантаж. Во-вторых, одновременная либерализация торговли и финансового рынка открыла новые возможности для всякого рода преступных синдикатов, притом что Интернет облегчает и интенсифицирует их деятельность. Немалую роль играет и растущая пропасть между бедностью и богатством — обстоятельство, которое всегда натравливает одних на других.

Сегодня, по утверждению Глэнни, теневая экономика (в основном деятельность межнациональных преступных синдикатов) составляет 15—20 % мировой экономической активности. Поэтому читатель книги "Макмафия" попадает вместе с ее автором и к наркодельцам Британской Колумбии, и в подпольные японские игорные дома "пачинко", и в бордели Тель-Авива, и в секс клубы Дубая. Рецензент пишет:

Судя по книге Глэнни, в этой криминальной крупной игре игровое поле забито игроками — часто в неожиданных сочетаниях. Например, для проведения совещания на высшем уровне на Арубе встречаются члены колумбийских картелей "Меделин" и "Кали", представители московской солнцевской "элиты", болгарские контрабандисты и наркодельцы с Карибских островов. Преступные схемы иногда дьявольски сложны: читателю, сумевшему понять суть энергетической аферы венгерской компании "Юрал транс газ", нужно присудить специальный приз. Иногда, наоборот, эти схемы просты и дерзки: одно из преступлений, ставшее знаменитым, заключалось в том, что нигерийский аферист перевел на свой счет 242 миллиона долларов из Бразильского частного банка "Банко нороэсте", просто выдав себя за директора нигерийского Центробанка.

Самую страшную область теневой экономики — торговлю людьми — Глэнни называет "побочным продуктом глобализации". "Развитые страны, — пишет он, — открыли мировые рынки для своих товаров, но сохранили протекционистские субсидии в сельскохозяйственных секторах. Из-за этого появилась армия обнищавших и отчаявшихся людей и, соответственно, возник прибыльный рынок нелегальной иммиграции, рабского труда и проституции. Глэнни подробно описывает действия балканских банд, разбогатевших на перевозке из Праги в Дрезден сигарет, не облагаемых таможенным налогом, и участь славянских женщин, попавших в лапы поставщиков проституток. Причем этих женщин часто вербуют другие женщины, оплачивая таким путем свое освобождение из сексуального рабства. Рецензент подмечает такую деталь:

Среди торговцев живым товаром Глэнни с неожиданной снисходительностью относится к китайским snakeheads — "змеиным головам" — агентам по найму рабочей силы, которые контрабандой вывозят на заработки в Евро-

пу и в Америку бедных крестьян. За эту услугу "змеиные головы" требуют таких денег, что деревня вскладчину может послать только одного человека. Но тут, по мнению автора, все в выигрыше: китайское правительство довольно, потому что таким образом частично решается проблема безработицы. Наниматели на Западе получают дешевую рабочую силу. Довольны и жители деревни, потому что их "инвестмент" приносит прибыль.

Правда, судьба самих мальчишек, посланных "в люди" без знания языка, без единого знакомого человека в чужой и абсолютно непохожей стране, не очень принимается автором в расчет (между тем о них была опубликована душераздирающая информация в "NT Magazine"). Проблема нехватки рабочих рук – не только европейская: их не хватает даже в якудзе – японской мафии, где мало молодежи. Но якудза справляется с проблемой легко: она просто нанимает молодых убийц в китайской мафии и отстреливает соперников". Вывод автора:

Преступность в сфере перевозки рабочей силы проистекает из нелогичности самой глобализации. В странах Европейского союза, где население стареет и не обновляется из-за низкой рождаемости, нехватка рабочих рук стремительно увеличивается. Но иммиграционные квоты в западных странах остаются прежними. Это – открытое приглашение к интернациональной преступной деятельности.

HANNAH PAKULA *The Last Empress. Madam Chiang Kai-shek and the Birth of Modern China.* – Simon & Shuster, 787 p.

Мадам Чан Кайши говорила про себя: "Единственное китайское, что у меня есть – это лицо". Преувеличение, но не сильное. И не только потому, что она с десяти лет жила и училась в Америке, но и потому, что в Китае она росла в семье "западника". История отца мадам Чан Кайши не менее интересна, чем ее собственная.

Он был крестьянским сыном. В двенадцать лет уехал в Америку, где получил к своей китайской фамилии Сун новое, американское имя – Чарли. Он учил язык и работал на торговых судах, в порту, в типографиях, где придется. И так заработал себе на образование. В двадцать лет, окончив Вандербильдский университет, он вернулся в Китай, где начал собственное издательское дело и вскоре разбогател на издании... Библии.

Его шестеро детей, включая Мэй Лин (будущую мадам Чан Кайши), выросли под влиянием западных пристрастий отца. Вразрез с китайской традицией, он готовил достойное будущее не только своим сыновьям, но и дочерям. Они получили образова-

ние в Америке, в штате Джорджия, – сначала в хорошей школе, потом в женском Уэслиэн-колледже.

Когда в 1913 году пятнадцатилетняя Мэй Лин поступила в колледж, она была не столько китаянка, сколько американская южанка, и говорила по-английски, как Скарлетт О'Хара – героиня романа "Унесенные ветром". Ее внешность тогда не была многообещающей: пухленькая коротышка, с круглым детским лицом и с закрывающей глаза челкой, которая ее совсем не украшала. Но к окончанию колледжа в Мэй Лин появилось что-то новое – некая уверенность в том, что ее ждет незаурядная судьба. Она явно не для того получала западное образование, чтобы коротать свои дни за игрой в маджонг.

Обе сестры Сун вышли замуж удачно. Мужем старшей стал первый (после свержения императора) президент Китая – Сунь Ятсэн. А в 1927 году состоялась пышная церемония бракосочетания самой Мэй Лин с бывшим военным советником Сунь Ятсена генералом Чан Кайши. Через год он станет генералиссимусом, главой националистического правительства Китая и пробудет им до 1949 года.

Чан Кайши был закаленным и жестким солдатом. Он не курил, не пил, носил простую хлопковую форменную одежду и соломенные сандалии. Словно специально для эстетического контраста, мадам Чан стала к тому времени женщиной изящной и элегантной. Но гораздо важнее было то, что, несмотря на свою миниатюрность, она производила на мужчин действие, близкое к гипнотическому. В Америке, судя по слухам, у нее был роман с политиком Венделом Уилки – кандидатом в президенты, проигравшим Франклину Рузвельту.

Генерал Чан Кайши не говорил по-английски, поэтому жена стала его главным переводчиком, а потом и советником во всем, что касалось западной политики. Будучи воспитанницей Америки, мадам Чан Кайши сглаживала все острые углы в отношениях с Западом и самого генералиссимуса, и его правительства. И в глазах американской интеллигенции эта пара стала главной силой, модернизирующей Китай. Их подняли на щит. Журнал "Тайм" в 1938 году назвал их "мужчиной и женщиной года". В начале 40-х Мадам Чан Кайши писала для "Нью-Йорк таймс" и для журнала "Атлантик мантли". Пик ее популярности пришелся на 1943 год, во время ее тура по Америке, куда она приехала просить поддержки Гоминьдану (Национальному правительству Китая) в его борьбе с Японией. Она была первым частным лицом, получившим право выступить перед американским Сенатом и перед палатой представителей. Еще более убедительным доказательством популярности мадам Чан Кайши в Америке было то, что в Лос-

Анджелесе она выступала перед залом, битком набитым голливудскими звездами.

В книге "Последняя императрица" многие главы посвящены, как и обещает подзаголовок, политической истории Китая. Эти главы (которые, разумеется, уводят читателя от увлекательных деталей личной судьбы маленькой правительницы) сильно раздражили рецензента книги – критика Дуайта Гарнера:

Ханна Пакула вложила, конечно, гигантский труд в исследование истории Китая времен Чан Кайши, но изложение этой истории иногда похоже на изнурительный переход через однообразные монгольские степи.

Однако в том, что касается изложения китайской истории этого периода, важнее не стиль, а интерпретация событий. На действия правительства Чан Кайши (зажатого между наступающими войсками японцев и бунтующими коммунистами) оба – автор книги и ее рецензент – смотрят с безопасной колокольни своей устойчивой американской демократии. Гарнер цитирует смелого журналиста Теодора Уайта, писавшего в 40-х годах:

Поведение Гоминьдана на публике – безупречно. Его единственный недостаток – то, что его лидеры коррумпированы, его секретные службы безжалостны, его обещания ложны, и его ежедневная диета – кровь и слезы китайского народа.

Автор книги "Последняя императрица" – Ханна Пакула – упрекает в непонимании подлинной демократии и саму мадам Чан Кайши. Она согласна с мнением о ней Элеоноры Рузвельт, которая писала:

Однажды я спросила мадам Чан, что нам делать с воинственным лидером шахтерских профсоюзов Джоном Льюисом. Чан не сказала ни слова, но ее маленькая красивая рука поднялась и сделала жест, перерезающий горло. Мадам Чан могла красиво говорить о демократии, но она не имела представления о том, как с ней жить.

Супруги Чан Кайши, побежденные, как известно, коммунистами, бежали в 1949 году на Тайвань. Туда коммунистов не пустили, и правительство Гоминьдана правило там до самой смерти Чан Кайши в 1975 году. После его похорон мадам Чан уехала в Нью-Йорк, где жила уединенно, окруженная слухами и сплетнями:

В элегантной восемнадцатикомнатной квартире на Ист-Сайде с мадам Чан жили три собаки и двадцать слуг. Ее соседи по дому жаловались на сильные запахи китайской кухни и на тараканов, ползущих из ее квартиры. Ходили слухи, что шкафы в ее квартире полны золотыми слитками.

Если вернуться от легенды мадам Чан Кайши к тому политическому режиму, символами которого стали она и ее

муж, то нужно признаться, что с позиций гуманизма трудно защищать правительство, которое в 1927 году устроило "варфоломеевскую ночь" коммунистам, уничтожив за месяц двенадцать тысяч человек. Однако хотелось бы знать, что бы выбрали в 1949 году китайцы, будь у них нынешний опыт: мрак ограниченной, неполной, жесткой тайваньской демократии Чан Кайши или плакатное сияние маоцзедуновской "культурной революции", унесшей жизни миллионов, и миллионов, и миллионов?..

FRANK KERMODE. *Concerning E. M. Forster.* — Farrar, Straus & Giroaux, 2010. — 180 p.

Английский романист Эдвард Морган Форстер писал и публиковался в первой половине XX века. В 1905 году вышел в свет его первый роман "Куда боятся ступать ангелы", в 1908-м и в 1910-м — два следующих ("Комната с видом" и "Хоуэрдз-Энд"), а в 1924-м — последний роман "Дорога в Индию". Первые три романа — панорамные картины жизни Англии, наполненные личными и социальными драмами начала XX века. Но после романа "Дорога в Индию" Форстер перестал писать. Он не написал ни одного художественного произведения до самой смерти в 1970 году. И в течение этих сорока шести лет Форстера, несмотря на высочайшую литературную репутацию, можно было считать забытым писателем. Но он напомнил о себе — через год после смерти.

В 1971 году был посмертно опубликован романтический и трогательный "Морис" — роман Форстера о гомосексуальной любви аристократа и рабочего парнишки. Он был найден среди записей, из которых стало ясно, что другие свои гомосексуальные вещи (в основном рассказы) Форстер уничтожил. Из этих же записей следовало, что писать он перестал, понимая, что не сможет публиковать произведения, написанные на ту единственную тему, которая теперь была для него важна и интересна.

О личной жизни Форстера мало что известно. Из книги Кермода мы узнаем только о его привязанности к студенту-индусу, ради которого писатель и отправился в Индию.

Роман "Морис" был опубликован благодаря победе сексуальной революции на Западе, но он напомнил миру и обо всей остальной замечательной, драматической и в то же время изысканной прозе Форстера, заслоненной более яркими звездами. Начались переиздания: сначала на Западе, потом и в России, где в 1977 году был издан сборник "Избранное" — через 40 лет после предыдущей публикации — романа Форстера "Дорога в Индию". А начиная с 1984 года его книги получили свое воплощение и на экране — в целой серии фильмов режиссера Джона Айвори, ставших,

кажется, не менее знаменитыми, чем сами романы.

Однако в книге "По поводу Форстера" известнейший британский литературовед и критик сэр Фрэнк Кермод рассматривает не только романы писателя, но — и даже в большей степени — его теоретический труд 1927 года "Аспекты романа". Американский литератор Эдмунд Уайт вспоминает о том впечатлении, которое эта книга произвела на молодых писателей Америки:

В 70-х мы буквально "пожирали" книгу "Аспекты романа". Еще бы: один из лучших английских романистов, автор "Дороги в Индию", делился секретами своего ремесла. Именно из его книги мы впервые вычитали о двух способах создания характеров персонажей: "плоском" (flat) — когда персонаж рисуется штрихами и набросками, и "круглом" (round) — когда он описан полно и подробно. По Форстеру, оба эти типа должны присутствовать в романе. Кроме того, Форстер в своей книге смело высказывал в сильных (хотя и уважительных) выражениях свое мнение о писательских методах многих известных романистов прошлого.

Форстер не одобрял, например, Генри Джеймса — за жесткую конструкцию его романов, за то, что тот, по его выражению, "впихивает человеческие причуды в окоченелость шаблона, как впихивают при помощи рожка ногу в сапог". Он любил Пруста — за "спонтанное чувство ритма". Форстер писал: "Сначала думать, потом говорить — девиз критики. Сначала говорить, потом думать — девиз творчества".

В романе бывают моменты, когда мелодия прозы ничего не значит и забыта — так, по-моему, функционирует ритм в беллетристике: не постоянным присутствием, превращающим ее в привычный прием, но восхитительным нарастанием и неожиданным утиханием. Только тогда она становится сладостным сюрпризом, свежестью и надеждой.

Форстер критиковал обстоятельного Генри Джеймса и за то, что его романы написаны всегда только с одной точки зрения, но вот что подмечает Фрэнк Кермод в книге "По поводу Форстера":

Форстер отрицал писательскую манеру Генри Джеймса только отчасти, из-за того что тот не освещает сюжет с разных точек зрения разных персонажей. Главной причиной было то, что Форстер любил высказывать свою собственную точку зрения в отступлениях — как в сценических репликах "в сторону". А Генри Джеймс избегал этого старомодного приема. В замечательном романе Форстера "Хоуэрдз-Энд" персонажи, действительно, описаны чрезвычайно индивидуализированно, каждый — через свои представления о происходящем, но книга полна и авторскими мудрыми, хотя и прямолинейными рассуждениями о человеческой природе: о любви, классах, куль-

туре, о душевной панике, об одиночестве и о страсти.

Одной из серьезных претензий Форстера к Генри Джеймсу была безрелигиозность, точнее, приземленность Джеймса. "В его романах, – писал Форстер, – нет ни философии, ни религии (если не считать нескольких намеков на суеверие), нет пророчеств и вообще – нет присутствия высшего *начала*". В этом смысле героем Форстера и образцом для подражания был Герман Мелвилл:

> Мелвилл достигает универсальности чувств, он дотягивается до тьмы и печали, настолько превосходящих наши собственные, что они уже становятся неотличимыми от красоты и величия.

Другим любимцем Форстера был Д. Г. Лоуренс, поэт и прозаик, автор романов "Сыновья и любовники", "Влюбленные женщины" и "Любовник леди Чаттерлей". И опять главные критерии оценки Форстера: пророческая сила и восторженное понимание природы. "Форстер был достаточно чувствителен, – пишет Кермод, – чтобы понять, что Лоуренс был более ярким художником, чем он сам".

В чем же оригинальность и обаяние романов самого Форстера? В том, вероятно, что это – чрезвычайно реальные психологические и социальные драмы и одновременно – романтические поэмы в прозе. Этот эффект, как считает Кермод, происходит "от присутствия интуитивных, почти мистических, почти музыкальных откровений в сверхреалистической структуре его романов. Именно благодаря таким включениям, – пишет он, – романы Форстера становятся неожиданно сложными и страстными". А сложность и страстность – два свойства, которые Форстер (человек, напоминавший длинноносого бухгалтера) ценил больше всего – и в литературе, и в жизни.

Simon Critchley *The Book of Dead Philosophers*. – Vintage Books, 2009. – 265 p.

Несмотря на название, "Книга умерших философов" – чтение легкое и, по американскому выражению, "вкусное", как изысканный литературный десерт. И поскольку этот десерт очень обильный – 265 страниц, то сам автор – декан философского факультета нью-йоркского университета "Нью-скул" Саймон Критчли – рекомендует наслаждаться им не за один присест, а небольшими порциями. Мудрый совет, потому что в книге рассказывается (с отступлениями, рассуждениями, цитатами и анекдотами) об особенностях смертей ста девяноста философов всех времен и народов.

В чем идея этого странного биографического аспекта?

Смерть философа часто соответствует его убеждениям или, во всяком случае, соотносится с ними. Диоген, презиравший плотские радости, по рассказам, решив покончить жизнь самоубийством, просто перестал дышать. Жульен де Ла Меттр, атеист и гедонист, умер объевшись паштетом из трюфелей. Фрэнсис Бэкон, приверженец эмпирических методов познания, стал жертвой эффекта замораживания: он фаршировал снегом куриные тушки в морозный день, заболел пневмонией и умер. Борец с католицизмом Вольтер на смертном одре сказал, что хочет умереть католиком. Но когда священник спросил его, верит ли он в божественное происхождение Христа, Вольтер ответил: "Бога ради, мсье, не говорите мне об этом человеке. Дайте умереть спокойно". Для философа Людвига Витгенштейна жизнь и смерть были равноценными частями вечности, и он умер в ночь после празднования дня своего рождения. Друг подарил ему одеяло и сказал: "Желаю приятных снов и радостного пробуждения" — на что философ ответил: "Пробуждения не будет".

Своим тезисом Саймон Критчли выбрал слова Цицерона: "Философствовать — значит учиться умирать". Для Критчли это значит, что для познания смысла жизни философ должен попытаться понять смерть: ее смысл (или, вполне возможно, отсутствие такового). При этом Критчли — персонификатор: по его представлению, мы не можем отделять бессмертный дух философии от смертной плоти самого философа:

К истории философии можно подходить как к истории философов. Среди тех из них, кого человечество помнит, многие были добродетельными и благородными, но были и подлые, и комичные, были почти бесплотные (как Пифагор — больше персонаж легенд, чем реальный человек)... а некоторые остались просто авторским именем, за которым стоят идеи. Подробности смертей *очеловечивают* философов и показывают, что, несмотря на могучий интеллект, позволявший их мыслям взлетать над обычным уровнем человеческих идей, они должны были (говоря карточными терминами) разыгрывать ту же полученную от судьбы "взятку", что и мы — простые смертные.

За всеми рассуждениями и примерами в книге Критчли чувствуется его желание *приземлить* философов: "Философия, — пишет он, — часто пыталась подражать науке — в погоне за абсолютной истиной, за идеальной всеохватной теорией. И постепенно философия абсолютно абстрагировалась от повседневной человеческой жизни, оставив нас в тисках вселенского 'ужаса исчезновения'. В качестве дешевой замены в обществе появилось несметное количество упражнений в софистике, домашних рецептов излечения духа, пособий психологической само- и взаимопомощи и,

конечно, безотказных утешений деньгами и вещами".

Критчли — серьезный ученый, перу которого принадлежат такие теоретические труды, как "Этика свершения и политика сопротивления" или "Этика разрушения", и другие опусы в том же роде. Да и "Книга умерших философов", несмотря на свой легкий жанр, заканчивается тринадцатью страницами научной библиографии. Тем не менее, утверждение Критчли, что вся западная философия пошла не от греков (как принято считать), а от арабов, персов, китайцев и индусов, кажется некоторой натяжкой в угоду представлениям автора о задачах философии. Он пишет:

> Философия в процессе "вестернизации" отказалась от своей первоначальной цели — дарить людям мудрость и помогать им в достижении счастья.

Тем не менее, Критчли добросовестно и увлекательно описывает "появление философской мысли" именно в грекоязычном мире два с половиной тысячелетия назад. Он начинает с мудрецов Фалеса и Анаксагора, а затем обращается к таким, по его словам, "неясным" фигурам, как Пифагор, Гераклит и Эмпедокл — философам, очертившим сферу возможностей человеческого разума еще до Сократа, то есть до V века до Рождества Христова. Он предлагает заглянуть и в более ранние времена:

Конечно, можно считать, что первый греческий философ — Сфинкс, то есть женщина. Как известно, Сфинкс задавала своим посетителям загадку: "Кто ходит утром на четырех ногах, днем — на двух, а вечером — на трех?" И неотгадавших убивала. Царь Эдип отгадал загадку, сказав, что это — человек: в детстве он ползает на четвереньках, в зрелости — ходит на двух ногах, а в старости прибавляет к ним третью — палку. И когда загадка была отгадана, Сфинкс совершила философское самоубийство, бросившись со своего утеса-пьедестала.

Из описанных Критчли смертей одна мне особенно интересна — "мнимая" смерть философа с острова Крит — Эпименида, — утверждавшего (помимо прочего), что все жители Крита — лжецы, потому что они объявляют Зевса смертным, хотя всем известно, что он бессмертен.

Однажды отец послал Эпименида пасти овец, но тот спрятался от жары в пещеру, задумался, забыл об овцах, заснул и проспал пятьдесят семь лет. Проснувшись, он начал искать овец, бросился в деревню и обнаружил, что отцовской фермой владеет совершенно незнакомый человек. К счастью, еще был жив младший брат Эпименида. От него-то герой и узнал, что произошло.

Так вот откуда появился Рип Ван Винкль — герой прелестной сказки Вашингтона Ирвинга. А Эпименид, после

своей мнимой смерти, обрел дар предсказывать будущее. И прожил, как утверждали на Крите, двести шестьдесят пять лет. Впрочем, как известно, "все жители Крита – лжецы". Или выдумщики и фантазеры. Или толкователи... В "Книге умерших философов" автору не удается истолковать смерти всех философов как символические, значимые и соответствующие их идеям. Кант умер от болезни желудка. Гегель – от холеры. Шопенгауэр – от паралича легких. Однако эти "неправильные" кончины не портят книги. И сто девяносто историй, связанных со смертью великих философов, в увлекательном и чуть игривом изложении Саймона Критчли, доставляют читателю (стыдно признаться) большое удовольствие.

По материалам зарубежной прессы

JODI PICOULT *Handle with Care.* — Washington: Washington Square Press, 2009, 512 p.

Американский еженедельник "Паблишерз уикли" называет новый роман Джоди Пиколт "захватывающей семейной драмой, приправленной фирменной смесью из медицины, юриспруденции и любви". Роман "Обращаться с осторожностью" рассказывает историю семейной пары, у которой рождается ребенок с серьезным заболеванием, что создает, казалось бы, непреодолимые сложности, но, как пишет американская газета "Орландо Сантинель", "Джоди Пиколт снова создает захватывающий сюжет и находит решение там, где оно кажется невозможным". "Роман хорошо написан, тщательно продуман и, что самое важное, создает образ настоящего ребенка, а не воплощенную в персонаже инвалидность, — пишет "Вашингтон пост. — 'Обращаться с осторожностью' — это увлекательное чтение, описанный судебный процесс захватывает и держит до конца, а детали из сферы медицины использованы со знанием дела". Журнал "Букпейдж" утверждает, что в этом романе "преданный читатель найдет ту вдумчивую, печальную прозу, одновременно провокационную и сложную, которую он ожидает от Пиколт". Такое же мнение высказывает опубликованный Американской библиотечной ассоциацией критический обзор "Буклист": "В своей обычной манере Пиколт обращается к тонким вопросам с вниманием и сочувствием". "Мастер семейной обстановки, она создает драматичный сюжет, — замечает журнал 'Пипл', — Пиколт приносит в семейную жизнь четы слова, сказанные им врачами при рождении ребенка: 'Невозможно прожить жизнь, не получив от нее ни одного удара'".

RON RASH *Serena.* — New York: Ecco, 2008, 384 p.

"До написания своей десятой книги Рон Раш был уже закаленным автором девяти книг художественной прозы и поэзии, с выходом в 2008 году потрясающего романа 'Серена' он заявил о себе как об одном из самых выдающихся американских романистов современности", — пишет о романе Рона Раша газета "Нью-Йорк таймс". — В 'Серене' сочетаются атмосфера Аппалачей, где разворачивается действие, резкий язык и необузданность характера главного героя, в результате чего книга наполняется мрачными и прекрасными подробностями". "Серена" — это довольно мрачная исто-

рия, происходящая в обстановке жизни простых и очень небогатых людей, с бедностью которых и связан конфликт романа. По словам британской газеты "Гардиан", американский писатель и литературный критик Джей Парини "был впечатлен кровавой историей жадности и безудержной жажды власти", которая представлена в книге. "События, как и в предыдущих произведениях, происходят в южных сельских районах Аппалачей, – рассказывает "Гардиан". – Раш не только романист, он еще и поэт и привносит в прозу чудесные свойства, которыми обладает поэзия – выразительность и изящество языка. Роман придется по вкусу и тем, кто ценит хороший сюжет".

PAUL AUSTER *Invisible.* – New York: Henry Holt and Co, 2009, 384 p.

Роман Пола Остера – это история интеллектуала, блестящего студента-филолога, который недавно пережил смерть близкого человека. "Как только ты дочитываешь роман 'Невидимый', тебе сразу хочется перечитать его, потому что он читается быстро, легко, он напоминает извилистый поток, и возникает беспокойство, что какие-то места, заслуживающие внимания, были пропущены, были незамечены эпизоды, в которых самая суть", – пишет газета "Нью-Йорк таймс". Ей вторит немецкий журнал "Шпигель": "Книги Остера, с самого первого романа, как шкатулка в шкатулке, которые ты извлекаешь по очереди". Критические отзывы, однако, тоже имеют место. Например, американский еженедельник "Нью-Йоркер" замечает, что Остер слишком серьезно к себе подходит, ему не хватает иронии, в том же, что касается языка, он, в отличие от Набокова или Беккета, которые обыгрывали клише, "лишь выстраивает ряды" избитых фраз. Чаще, однако, стремление писателя к самоанализу не воспринимается как излишне серьезный подход. Так, французская газета "Фигаро" считает эти искания философского и психологического характера "лучшей книгой Пола Остера со времен 'Стеклянного города'". На автобиографические мотивы обращает внимание и немецкое издание "Бюхер магацин": "И снова роман Остера глубоко автобиографичен – автор рассказывает о собственном опыте ревности в супружеской жизни". События разворачиваются в Америке, в Нью-Йорке, – французская газета "Ле Пуан" отмечает приверженность Остера этому городу.

Подготовила
ЕВГЕНИЯ ЛАКЕЕВА

KATHRYN STOCKETT *The Help.* – New York: Amy Einhorn Books/Putnam, 2009, 464 p.

Молодая выпускница Университета Миссисипи, Юджиния, без определенных планов на будущее возвращается на хлопковую плантацию родителей. В начале шестидесятых движе-

ние по борьбе за права человека только набирает обороты, и в родном городке главной героини неприкрытый расизм и потребительское отношение к темнокожей прислуге, которая, тем не менее, по традиции занимается воспитанием детей своих хозяев, считается нормой. Закон, запрещающий прислуге пользоваться уборной в доме, где она работает, становится последней каплей, и Юджиния решает написать книгу, в которой темнокожие девушки смогут анонимно рассказать о том, что им довелось пережить, прислуживая своим хозяевам. Поначалу желающих поделиться опытом немного, но вскоре две женщины, Эйбилин, воспитавшая за свою жизнь семнадцать детей, и Минни, теряющая одну работу за другой, так как не желает сносить оскорбления хозяев, соглашаются помочь Юджинии в ее весьма рискованной затее.

Это история о несправедливости, высокомерии, с одной стороны, и несгибаемой воле, чувстве собственного достоинства — с другой. Книга написана от лица трех главных героинь, что позволяет по-разному взглянуть на ситуацию. Даже самые неоднозначные события и личности, по словам газеты "Вашингтон пост", описаны в книге с юмором, скорее даже с иронией, без которых подчас не обойтись, когда речь идет об истории человеческой глупости и жадности.

Подготовила
Ника Бажанова

Анна Каван
Anna Kavan
[1901–1968]. Английский писатель.

Автор романов *Заколдованный круг* [*A Charmed Circle*, 1929], *Оставь меня в покое* [*Let Me Alone*, 1930], *Дом умалишенных* [*Asylum Piece*, 1940], *Джулия и базука* [*Julia and Bazooka*, 1970], *Священник* [*The Parson*, 1995], *Виновен* [*Guilty*, 2007] и др. До 1940 г. писала под псевдонимом Элен Фергюсон [Helen Ferguson].
Текст публикуется по изданию *Ice* [London: Peter Owen Publishers, 2006].

У. С. Мервин
W. S. Merwin
[р. 1927]. Американский поэт, прозаик, переводчик. Дважды лауреат Пулитцеровской премии [1970, 2009].

Автор сборников стихов *Маска для Януса* [*A Masque for Janus*, 1952], *Танцующие медведи* [*The Dancing Bears*, 1954], *Сочинения к неоконченному аккомпанементу* [*Writings to an Unfinished Accompaniment*, 1973], *Раскрывая ладонь* [*Opening the Hand*, 1983] и др.
Публикуемые стихи взяты из сборников *Тот, который несет лестницы* [*The Carrier of Ladders*. New York: Atheneum, 1971] и *Бегущая мишень* [*The Moving Target*. New York: Atheneum, 1976].

Ольга Токарчук
Tokarczuk Olga
Польский прозаик, психолог, эссеист. Лауреат премий Польского общества книгоиздателей, фонда имени Косчельских, *Ника* за роман "Бегуны" [2008] и др.

Автор романов *Путь людей Книги* [*Podróż ludzi Księgi*, 1993; рус. перев. 2002], *Э. Э.* [E. E., 1995], *Правек и другие времена* [*Prawiek i inne czasy*, 1996; рус. перев. 2004], сборника рассказов *Игра на разных барабанах* [*Gra na wielu bębenkach*, 2001; рус. перев. 2006] и др. В *ИЛ* опубликованы ее рассказ *Номера* [2000, № 8], фрагменты романа *Дом дневной, дом ночной* [2004, № 6] и роман *Последние истории* [2006, № 8].
Текст публикуется по изданию *Bieguni* [Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007].

Жоашен Дю Белле
Joachim Du Bellay
[1522–1560]. Французский поэт, член поэтической группы *Плеяда*.

Автор поэтических сборников *Олива* [*L'Olive*], *Древности Рима* [*Antiquités*], *Сельские игры* [*Divers jeux rustiques*] и др., трактата *Защита и прославление французского языка* [*La défense et l'illustration de la langue françoise*], сатиры *Придворный поэт* [*Poet courtisan*] и др.
Переводы стихов выполнены по изданию *Le Regrets* [Gallimard, 1967].

Марина Яковлевна Бородицкая
Поэт, переводчик с английского и французского языков. Лауреат премии *Единорог и Лев* [2006].

Автор стихотворных сборников *Я раздеваю солдата* [1994], *Одиночное катание* [1999], *Год лошади* [2002], *Оказывается, можно* [2005], а также многочисленных книг для детей. Переводила стихотворения и поэмы Дж. Чосера, Дж. Донна, английских поэтов-кавалеров XVII века, Дж. Китса, Р. Киплинга, Г. Лонгфелло, Р. Бёрнса, П. Ронсара, П. Верлена, А. А. Милна, Э. Фарджен и др. В *ИЛ* опубликовано ее эссе *Горсть мелочи* [2007, № 12], а также в ее переводах напечатаны стихи

Д. Паркер, Г. К. Честертона, Дж. Чосера, В. Набокова, Р. Фэйнлайт, Р. Браунинга, Р. Крили, Р. Геррика, Г. Шнакенберг и др.

Андрей Васильевич Шарый
[р. 1965]. Журналист, эссеист, сотрудник радио *Свобода*.

Автор посвященных проблемам бывшей Югославии книг *После дождя. Югославские мифы старого и нового века* [2002], *Трибунал. Хроника неоконченной войны* [2003], *Молитва о Сербии. Тайна смерти Зорана Джинджича* [2005], сборника путевых заметок *Четыре сезона* [2006] и др. В *ИЛ* опубликована его статья *Фантомные боли* [2006, № 10].

Игорь Робертович Кузнецов
[р. 1959]. Прозаик, эссеист. Член Союза российских писателей и Союза писателей Москвы.

Автор остросюжетных романов [в соавторстве с Т. Морозовой под общим псевдонимом Павел Генералов], романа в 4-х книгах *Команда. Хроника передела 1997–2004* и др., многих эссе.
Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Лариса Александровна Савельева
Филолог-славист, переводчик с сербского и хорватского языков, лауреат премии Библиотеки журнала *Иностранная литература* [1997].

В ее переводе публиковались произведения Д. Илича, Д. Угрешич, В. Драшковича, М. Павича, Г. Петровича, Н. Тодоровича, Н. Фабрио и др., работы сербских и хорватских авторов по истории, социологии и политологии. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Владимир Пиштало
Vladimir Pištalo
[р. 1960]. Сербский писатель.

Автор нескольких сборников рассказов *Витраж памяти* [*Vitraž i sećanju*, 1994], *Рассказы со всего мира* [*Приче из целог света*, 1997], романов *Миллениум в Белграде* [*Миленијум у Београду*, 2009], *О чуде* [*О чуди*, 2002], *Тесла, портрет среди масок* [*Тесла, портрет међу маскама*, 2008] и др.
Текст взят из журнала *Литературное ревю* [*Књижевна ревија*, 1983, № 213].

Леонид Гиршович
[р. 1948]. Русский писатель, музыкант. В начале 70-х эмигрировал в Израиль, позже переехал в Германию, в настоящее время работает в оркестре Ганноверской оперы. Финалист Букеровской премии [1999].

Автор романов *Перевернутый букет* [1978], *Обменные головы* [1995], *Бременские музыканты* [1997], *Прайс* [1998], *Цвишен ям унд штерн. Быт и нравы гомосексуалистов Атлантиды* [2001], *Суббота навсегда* [2001] и др. В *ИЛ* публиковались его статьи *Об уличном музицировании как следствии высокопрофессионального обучения детей музыке* [2005, № 2], *Запад есть Запад* [2006, № 5], *Квадратура круга?* [2006, № 12], *Чур меня!* [2009, № 6] и *Plaisir d'amour* [2009, № 10].

Алексей Вадимович Бартошевич

Автор книг *Шекспир на английской сцене конца XIX – середины XX в.в.* [М., 1985], *Поэтика раннего Шекспира* [М., 1987], *Шекспир. Англия XX век* [М.,

[р. 1939]. Театровед, историк театра, театральный критик, доктор искусствоведения, профессор, заслуж. деятель науки. Лауреат премии К. С. Станиславского, премии Москвы и др.

1994], *Мирозданью современный. Шекспир в театре XX века* [М., 2004].

Михаил Яковлевич Визель
[р. 1970]. Книжный обозреватель, музыкальный критик, колумнист, издатель, переводчик с итальянского.

Создатель интернет-проекта *Невидимые города online* по роману Итало Кальвино [calvino.lib.ru]. В его переводе вышли два романа Дж. Куликкьи и сборник газетных заметок У. Эко.
В *ИЛ* напечатан его перевод рассказа П. В. Тонделли *Тоже либертины* [2008, № 10].

Марина Михайловна Ефимова
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач в программах *Время и мир* и *Американский час* на радио *Свобода*.

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Автор рубрики *Новые книги Нового Света* в *ИЛ*.

Евгения Андреевна Лакеева
Студентка Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Ника Юрьевна Бажанова
Студентка Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Переводчики

Дмитрий Леонидович Симановский
[р. 1976]. Переводчик с английского и испанского языков.

В его переводе выходили произведения И. Уэлша, Б. И. Эллиса, У. Селфа и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Ольга Витальевна Волгина
Переводчик с английского, испанского и армянского языков.

В ее переводе публиковались стихи американских поэтов У. Уитмена, К. Сэндберга, Л. Ферлингетти и др., английского поэта Т. Мура, стихи латиноамериканских поэтов, проза валлийского поэта Дилана Томаса и др.
В *ИЛ* опубликованы ее переводы стихов панамского поэта Педро Корреа Васкеса [1979, № 11].

Ирина Евгеньевна Адельгейм
Литературовед, переводчик с польского, доктор филологических наук.

Автор книг *Польская проза межвоенного двадцатилетия: между Западом и Россией. Феномен психологического языка* [2000], *Поэтика "промежутка": молодая польская проза после 1989 года* [2005], а также статей по польской литературе. В ее переводе опубликованы произведения Г. Херлинга-Грудзиньского, П. Хюлле, О. Токарчук, М. Туллли, Т. Ружевича, А. Стасюка, В. Шимборской, М. Вилька, Э. Курылюк, К. Кесьлевского, К. Янды, Ф. Байона, М. Гретковской, В. Тохмана, Х. Климко-Добжанецкого, М. Лозинского, К. Грохоли и др.
В *ИЛ* публиковались ее переводы автобиографической повести К. Кесьлевского *О себе* [1998, № 11—12], стихотворений В. Шимборской *Две обезьяны Брейгеля, Утопия* [2003, № 5], повести П. Хюлле *"Мерседес-бенц". Из писем к Грабалу* [2004, № 1], эссе А. Стасюка *Сегодня умирают иначе* [2004, № 9], документальной повести В.Тохмана *Ты словно камни грызла* [2004, № 10], романа О. Токарчук *Последние истории* [2006, № 8—10], фрагмента книги А. Стасюка *Дойчланд* [2009, № 1], фрагмента книги Х. Климко-Добжанецкого *Колыбельная для висельника* [2009, № 7], а также статьи и рецензии.

Елена Вадимовна Баевская
Переводчик с французского, немецкого и английского языков. Преподаватель кафедры французского языка и литературы Мэрилендского университета, США.

В ее переводе изданы бретонские баллады и бретонские народные сказки, стихотворения в прозе и дневники Бодлера, трагедия Ж. Расина *Александр Великий*, поэмы *Виноградник и дом* А. де Ламартина и *Ролла* А. де Мюссе, стихотворные пьесы *Сирано де Бержерак* Э. Ростана, *Глупец и смерть, Смерть Тициана* Г. фон Гофмансталя, романы Т. Готье *Мадмуазель де Мопен*, Э. Ионеско *Одинокий*, Ж. Эшеноза *Один год*, первая часть романа М. Пруста *В сторону Свана*, статьи З. Фрейда, М. Элиаде, а также стихотворения Ж. Лафорга, С. Малларме, П. Верлена, П. Б. Шелли, Д. Китса, Г. Тракля, П. Флеминга и др.
В *ИЛ* опубликованы в ее переводе стихотворения Л. Арагона, Ф. Пикабиа, Ж. Арпа [2002, № 5] и *Три письма* М. Пруста [2009, № 3].

Наталья Николаевна Кудрякова
Поэт, прозаик, драматург, переводчик с французского. Член Союза писателей Москвы.

Ее стихи опубликованы в журналах *Молодая гвардия, Континент, Огонек*. В ее переводах выходили произведения Сан-Антонио, С. Кей, А. Рейно-Фунтона, К. Фрешет, М. Вишняка и др.

Юрий Михайлович Денисов
[р. 1936]. Переводчик с французского. Член Союза писателей Москвы.

Автор многожанровой книги *Утерянные ключи* [1998]. В его переводах опубликованы стихи Э. Верхарна, Ж. де Нерваля, а также проза А. Камю *Человек бунтующий* [1989; 1999] и др.

Элла Моисеевна Шапиро
Переводчик с французского, английского и итальянского языков. Член Союза писателей Москвы.

Автор поэтических книг для детей. В ее переводах опубликованы стихи Л. Лабе, Ж. де Нерваля, У. Уитмена и др.

Анна Владимировна Курт
Переводчик с английского и французского языков, журналист.

В ее переводе издавались произведения В. Н. Набокова, К. Ишервуда, У. Х. Одена, И. Берлина, П. Клоделя, Л. Блуа и др. Очерки и статьи печатались в журнале *Истина и жизнь*.

Юлия Борисовна Покровская
Поэтесса, переводчик с французского и польского языков.

Автор поэтических сборников *Выбор* [1996] и *Солнечное сплетение* [2004]. В ее переводе опубликованы стихи В. Гюго, П. Валери, П. Элюара, П. Луиса, А. Эбер, Ж. Троллье, Ц. К. Норвида, К. Галчинского, проза А. Жида. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны стихи Анн Перье [2002, № 9] и М. Уэльбека [2005, № 3].

Василий Николаевич Соколов
[р. 1946]. Литературовед, журналист, переводчик с сербского.

В его переводе опубликованы романы Боры Чосича *Роль моей семьи в мировой революции* и *За что боролись*, а также роман Момо Капора *Подходящий день для смерти*. В *ИЛ* в его переводе опубликованы фрагменты книг Боры Чосича *Словарь попа Теодора* [2004, № 3] и *Катарина* [2006, № 10] и повесть Момо Капора *Зеленое сукно Монтенегро* [2007, № 9].

Наталия Геннадиевна Васильева
Переводчик с венгерского и немецкого языков.

В ее переводе с венгерского публиковались новеллы М. Бабича, Й. Е. Тершанского, с немецкого — новеллы Э. Кестнера, А. Мушга, Сказка о Рейне и мельнике Бегколёсе К. Брентано и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы рассказов Р. Леттау, Х. Блуменберга, К. И. Тиса [1994, № 9], Г. Фрайтага [2002, № 7], эссе Г. Гессе [2004, № 10] и обзорные статьи, представляющие мюнхенский литературный журнал *Акценты* и австрийский журнал *Манускрипты*, а также пьеса Х. М. Энценсбергера *Долой Гете! Объяснение в любви* [2009, № 8].